SAN FRANCISCO PUBLIC LIBRARY
3 1223 00383 4398

DATE DUE

MAY 12 1981		SFPL FEB 22 '82	
SFPL AUG 14 '81			
JAN 9 - 1982		FEB 26 1994	
		MAR 19 1994	
FEB 16 1982		JAN 20 1996	
SFPL MAR 23 '82			
		FEB 13 1996	
SFPL OCT 22 '88		FEB 23 1996	
SFPL SEP 2 '90			
SFPL JUN - 6 '91			
SFPL JUN 26 '91			

DEMCO 38-297

SAN FRANCISCO PUBLIC LIBRARY
3 1223 00383 4398

RUSSIAN
891.7 C417s
CHEKHOV
SOBRAINIE
V.3
H65-56

INTERNATIONAL LANGUAGES
COLLECTIONS

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

RUSSIAN
8 91.7
C 417 2
v.3

Примечания *Е. М. Шуб*

65-56

San Francisco Public Library

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО

А. П. ЧЕХОВ

1885

ПРАЗДНИЧНАЯ ПОВИННОСТЬ

...лукавых простаков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором.
Грибоедов

Был новогодний полдень. Вдова бывшего черногубского вице-губернатора Лягавого-Грызлова, Людмила Семеновна, маленькая шестидесятилетняя старушка, сидела у себя в гостиной и принимала визитеров. Судя по количеству закусок и питий, приготовленных в зале, число визитеров ожидалось громадное, но пока явился поздравить с Новым годом только один — старший советник губернского правления Окуркин, дряхлый человечек с лицом желто-лимонного цвета и с кривым ртом. Он сидел в углу около бочонка с олеандрой и, осторожно нюхая табак, рассказывал «благодетельнице» городские новости.

— Вчера, матушка, с каланчи чуть было не свалился пьяный солдат,— рассказывал он.— Перевесился, знаете ли, через перилу, а перила — хрусь! Хрустнула, знаете ли... К счастию, в ту пору жена ему на каланчу обед принесла и за фалду удержала. Коли б не жена, свалился бы шельмец... Ну-с... А третьего дня, матушка ваше превосходительство, у контролера банка Перцева сборище было... Все чиноши собрались и насчет сегодняшних визитов рассуждали. В один голос порешили, шуты этакие, не делать сегодня визитов.

— Ну, уж это ты, батюшка, завираешься,— усмехнулась старуха.— Как же это без визитов обойтись?

— Ей-богу-с, ваше превосходительство. Удивительно, но верно... Согласились все заместо визитов

собраться сегодня в клубе, поздравить друг дружку и взнести по рублю в пользу бедных.

— Не понимаю...— пожала плечами хозяйка.— Диковинное что-то рассказываешь...

— Так, матушка, теперь во многих городах делается. Не ходят с поздравлениями. Дадут по рублю, и шабаш! Хе-хе-хе. Не нужно ни ездить, ни поздравлять, не нужно на извозчика тратиться... Сходил в клуб и сиди себе дома.

— Оно и лучше,— вздохнула старуха.— Пусть не ездиют. Нам же покойнее...

Окуркин испустил громкий, трескучий вздох, покачал головой и продолжал:

— За предрассудок почитают... Лень старшего почтить, с праздником его поздравить, вот и предрассудок. Нынче ведь старших за людей не считают... Не то, что прежде было.

— Что ж? — вздохнула еще раз хозяйка.— Пусть не ездиют! Не хотят, и не нужно.

— Прежде, матушка, когда либерализмы этой не было, визиты не считались за предрассудок. Ездили с визитами не то что с принуждением, а с чувством, с удовольствием... Бывало, исходишь все дома, остановишься на тротуаре и думаешь: «Кого бы это еще почтить?» Любили мы, матушка, старших... Страсть как любили! Помню, покойник Пантелей Степаныч, дай бог ему царство небесное, любил, чтоб мы почтительны были... Храни бог, бывало, ежели кто визита не сделает — скрежет зубовный! В одни святки, помню, болен я был тифом. И что ж вы думаете, матушка? Встал с постели, собрал силы свои расслабленные и пошел к Пантелею Степанычу... Прихожу. От меня так и пышет, так и пышет! Хочу сказать :«С новым годом», а у меня выходит: «Флюст бей козырем!» Хе-хе... Бред-с... А то, помню, у Змеищева оспа была. Доктора, конечно, запретили ходить к нему, а нам начхать на докторов: пошли к нему и поздравили. Не считали за предрассудок. Я выпью, матушка ваше превосходительство...

— Выпей, выпей... Все одно никто не придет, некому пить... Чай, твои-то правленские придут.

Окуркин безнадежно махнул рукой и покривил рот в презрительную усмешку.

— Хамы... Все одним миром мазаны.

— То есть как же это, Ефим Ефимыч? — удивилась старуха.— И Верхушкин, стало быть, не придет?

— Не придет... В клубе-с...

— Ведь я же ему, разбойнику этакому, крестной матерью прихожусь! Я его к месту пристроила!

— Не чувствует-с... Вчера к Перцеву первым явился.

— Ну, те так и быть уж... Забыли старуху, и пусть их, а твоим правленским грех. А Ванька Трухин? Неужто и он не придет?

Окуркин безнадежно махнул рукой.

— И Подсилкин? Тоже? Ведь я же его, подлеца этакого, из грязи за уши вытянула! А Прорехин?

Старуха назвала еще десяток имен, и всякое имя вызывало на губах Окуркина горькую улыбку.

— Все, матушка! не чувствуют!

— Спасибо...— вздохнула Лягавая-Грызлова, нервно заходив по гостиной.— Спасибо... Ежели им опротивела благодетельница... старуха... ежели я такая скверная, противная, то пусть...

Старуха опустилась в кресло. Морщинистые глазки ее замигали.

— Я вижу, что я уже больше не нужна им. И не надо... Уйди и ты, Ефим Ефимыч... Я не держу. Все уходите...

Хозяйка прижала к лицу платок и захныкала. Окуркин поглядел на нее, испуганно почесал затылок и робко подошел к ней...

— Матушка...— сказал он плачущим голосом.— Ваше превосходительство! Благодетельница!

— Уйди и ты... Ступай... Все ступайте...

— Матушка, ангельчик мой... Не плачьте-с... Голубушка! Я пошутил... Ей-богу, пошутил! Наплюйте мне в лицо, старой морде, если я не шутил... Все придут-с! Матушка!

Окуркин стал перед старухой на колени, взял ее жилистую руку и ударил ею себя по лысине.

— Бейте, матушка, ангел мой! Не шути, обра-

зина! Не шути! По щеке! по щеке! Так тебе, брехуну окаянному!

— Нет, не шутил ты, Ефим Ефимыч! Чувствует мое сердце!

— Разразись... тресни подо мной земля! Чтоб мне дня не прожить, ежели... Вот увидите-с! А пока прощайте, матушка... Не достоин за свои злые шутки продолжать ласку вашу. Скроюсь... Уйду, а вы воображайте, что прогнали меня, махамета зловредного. Ручечку... поцелую...

Окуркин поцеловал взасос старухину руку и быстро вышел...

Через пять минут он был около клуба. Чиновники уже поздравили друг друга, взнесли по рублю и выходили из клуба.

— Стойте! Вы! — замахал им руками Окуркин.— Что это вы вздумали, умники? Отчего не идете к Людмиле Семеновне?

— Нешто вы не знаете? Визитов мы нынче не делаем!..

— Знаю, знаю... Мерси вас... Ну, вот что, цивилизованные... Ежели сейчас не пойдете к ведьме, то горе вам... Рёвма ревет! Такое на вас молит, что и тарарину не пожелаю.

Чиновники переглянулись и почесали затылки.

— Гм... Да ведь ежели к ней идти, так придется идти ко всем...

— Что ж делать, миленькие? И ко всем сходите. Не отвалятся ноги... Впрочем, по мне — как знаете хоть и не ходите... Только вам же хуже будет!

— Черт знает что! Ведь мы уж и по рублю заплатили! — простонал Яшкин, учитель уездного училища...

— Рубль... А место еще не потерял?

Чиновники еще раз почесались и, ропща, направились к дому Лягавой-Грызловой.

КАПИТАНСКИЙ МУНДИР

Восходящее солнце хмурилось на уездный город, петухи еще только потягивались, а между тем в кабаке дяди Рылкина уже были посетители. Их было трое: портной Меркулов, городовой Жратва и казначейский рассыльный Смехунов. Все трое были выпивши.

— Не говори! И не говори! — рассуждал Меркулов, держа городового за пуговицу.— Чин гражданского ведомства, ежели взять которого повыше, в портняжном смысле завсегда утрет нос генералу. Взять таперича хотя камергера... Что это за человек? Какого звания? А ты считай... Четыре аршина сукна наилучшего фабрики Прюнделя с сыновьями, пуговки, золотой воротник, штаны белые с золотым лампасом, все груди в золоте, на вороте, на рукавах и на клапанах блеск! Таперича ежели шить на господ гофмейстеров, шталмейстеров, церемониймейстеров и прочих министерий... Ты как понимаешь? Помню это, шили мы на гофмейстера графа Андрея Семеныча Вонляревского. Мундир — не подходи! Берешься за него руками, а в жилках пульса — цик! цик! Настоящие господа, ежели шьют, то не смей их беспокоить. Снял мерку и шей, а ходить примеривать да прифасониваться никак невозможно. Ежели ты стоющий портной, то сразу по мерке сделай... С колокольни спрыгни, в сапоги попади — во как! А около нас был,

братец ты мой, как теперь помню, жандармский корпус... Хозяин наш Осип Яклич и выбирал из жандармов, которые подходящие, чтоб заказчику под корпус подходили, для примерки. Ну-с, это самое... выбрали мы, братец ты мой, для графского мундира одного подходящего жандармика. Позвали... Надевай, харя, и чувствуй!.. Потеха! Надел он, это самое, мундир таперя, поглядел на груди — и что ж! Обомлел, знаешь, затрепетал, без чувств...

— А на исправников шили? — осведомился Смехунов.

— Экося, важная птица! В Петербурге исправников этих, как собак нерезаных... Тут перед ними шапку ломают, а там — «посторонись, чево прешь!». Шили мы на господ военных да на особ первых четырех классов. Особа особе рознь... Ежели ты, положим, пятого класса, то ты — пустяки... Приходи через неделю, и все готово — потому, окромя воротника и нарукавников, ничего... А ежели который четвертого класса, или третьего, или, положим, второго, тут уж хозяин всем в зубы, и беги в жандармский корпус. Шили мы раз, братец ты мой, на персидского консула. Нашили мы ему на грудях и на спине золотых кренделей на полторы тыщи. Думали, что не отдаст; ан нет, заплатил... В Петербурге даже и в татарах благородство есть.

Долго рассказывал Меркулов. В девятом часу он, под влиянием воспоминаний, заплакал и стал горько жаловаться на судьбу, загнавшую его в городишко, наполненный одними только купцами и мещанами. Городовой отвел уже двоих в полицию, рассыльный уходил два раза на почту и в казначейство и опять приходил, а он все жаловался. В полдень он стоял перед дьячком, бил себя кулаком по груди и роптал:

— Не желаю я на хамов шить! Не согласен! В Петербурге я самолично на барона Шпуцеля и на господ офицеров шил! Отойди от меня, длиннополая кутья, чтоб я тебя не видел своими глазами! Отойди!

— Возмечтали вы о себе высоко, Трифон Пантe-

леич,— убеждал портного дьячок.— Хоть вы и артист в своем цехе, но бога и религию не должны забывать. Арий возмечтал, вроде как вы, и помер поносной смертью. Ой, помрете и вы!

— И помру! Пущай лучше помру, чем зипуны шить!

— Мой анафема здесь? — послышался вдруг за дверью бабий голос, и в кабак вошла жена Меркулова Аксинья, пожилая баба с подсученными рукавами и перетянутым животом.— Где он, идол? — окинула она негодующим взором посетителей.— Иди домой, чтоб тебя разорвало, там тебя какой-то офицер спрашивает!

— Какой офицер? — удивился Меркулов.

— А шут его знает! Сказывает, заказать пришел.

Меркулов почесал всей пятерней свой большой нос, что он делал всякий раз, когда хотел выразить крайнее изумление, и пробормотал:

— Белены баба объелась... Пятнадцать годов не видал лица благородного, и вдруг нынче, в постный день,— офицер с заказом! Гм!.. Пойти поглядеть...

Меркулов вышел из кабака и, спотыкаясь, побрел домой... Жена не обманула его. У порога своей избы он увидел капитана Урчаева, делопроизводителя местного воинского начальника.

— Ты где это шатаешься? — встретил его капитан.— Целый час жду. Можешь мне мундир сшить?

— Ваше благор... Господи! — забормотал Меркулов, захлебываясь и срывая со своей головы шапку вместе с клочком волос.— Ваше благородие! Да нешто впервóй мне это самое? Ах, господи! На барона Шпуцеля шил... Эдуарда Карлыча... господин подпоручик Зембулатов до сей поры мне десять рублей должен. Ах! Жена, да дай же его благородию стульчик, побей меня бог... Прикажете мерочку снять или дозволите шить на глазомер?

— Ну-с... Твое сукно и чтоб через неделю было готово... Сколько возьмешь?

— Помилуйте, ваше благородие... Что вы-с,— усмехнулся Меркулов. — Я не купец какой-нибудь. Мы ведь понимаем, как с господами... Когда на консула персидского шили, и то без слов...

Снявши с капитана мерку и проводив его, Меркулов целый час стоял посреди избы и с отупением глядел на жену. Ему не верилось...

— Ведь этакая, скажи на милость, оказия! — проворчал он наконец.— Где же я денег возьму на сукно? Аксинья, дай-ка, братец ты мой, мне в кредит те деньги, что за корову выручили!

Аксинья показала ему кукиш и плюнула. Немного погодя она работала кочергой, била на мужниной голове горшки, таскала его за бороду, выбегала на улицу и кричала: «Ратуйте, кто в бога верует! Убил!..» — но ни к чему не привели эти протесты. На другое утро она лежала в постели и прятала от подмастерий свои синяки, а Меркулов ходил по лавкам и, ругаясь с купцами, выбирал подходящее сукно.

Для портного наступила новая эра. Просыпаясь утром и обводя мутными глазами свой маленький мирок, он уже не плевал с остервенением... А что диковиннее всего, он перестал ходить в кабак и занялся работой. Тихо помолившись, он надевал большие стальные очки, хмурился и священнодейственно раскладывал на столе сукно.

Через неделю мундир был готов. Выгладив его, Меркулов вышел на улицу, повесил на плетень и занялся чисткой; снимет пушинку, отойдет на сажень, щурится долго на мундир и опять снимет пушинку — и этак часа два.

— Беда с этими господами! — говорил он прохожим.— Нет уж больше моей возможности, замучился! Образованные, деликатные — поди-кась угоди!

На другой день после чистки Меркулов помазал голову маслом, причесался, завернул мундир в новый коленкор и отправился к капитану.

— Некогда мне с тобой, остолопом, разговаривать! — останавливал он каждого встречного.— Нешто не видишь, что мундир к капитану несу?

Через полчаса он воротился от капитана.

— С получением вас, Трифон Пантелеич! — встретила его Аксинья, широко ухмыляясь и застыдившись.

— Ну, и дура! — ответил ей муж.— Нешто настоящие господа платят сразу? Это не купец какой-нибудь — взял да тебе сразу и вывалил! Дура...

Два дня Меркулов лежал на печи, не пил, не ел и предавался чувству самоудовлетворения, точь-в-точь как Геркулес по совершении всех своих подвигов. На третий он отправился за получкой.

— Их благородие вставши? — прошептал он, вползая в переднюю и обращаясь к денщику.

И, получив отрицательный ответ, он стал столбом у косяка и принялся ждать.

— Гони в шею! Скажи, что в субботу! — услышал он, после продолжительного ожидания, хрипенье капитана.

То же самое услышал он в субботу, в одну, потом в другую... Целый месяц ходил он к капитану, высиживал долгие часы в передней и вместо денег получал приглашение убираться к черту и прийти в субботу. Но он не унывал, не роптал, а напротив... Он даже пополнел. Ему нравилось долгое ожидание в передней, «гони в шею» звучало в его ушах сладкой мелодией.

— Сейчас узнаешь благородного! — восторгался он всякий раз, возвращаясь от капитана домой.— У нас в Питере все такие были...

До конца дней своих согласился бы Меркулов ходить к капитану и ждать в передней, если бы не Аксинья, требовавшая обратно деньги, вырученные за корову.

— Принес деньги? — встречала она его каждый раз.— Нет? Что же ты со мной делаешь, пес лютый? А?.. Митька, где кочерга?

Однажды под вечер Меркулов шел с рынка и тащил на спине куль с углем. За ним торопилась Аксинья.

— Ужо будет тебе дома на орехи! Погоди! — бормотала она, думая о деньгах, вырученных за корову.

Вдруг Меркулов остановился как вкопанный и радостно вскрикнул. Из трактира «Веселие», мимо которого они шли, опрометью выбежал какой-то господин в цилиндре, с красным лицом и пьяными глазами. За ним гнался капитан Урчаев с кием в руке, без шапки, растрепанный, разлохмаченный. Новый мундир его был весь в мелу, одна погона глядела в сторону.

— Я заставлю тебя играть, шулер! — кричал капитан, неистово махая кием и утирая со лба пот.— Я научу тебя, протобестия, как играть с порядочными людьми!

— Погляди-кась, дура! — зашептал Меркулов, толкая жену под локоть и хихикая.— Сейчас видать благородного. Купец ежели что сошьет для своего мужицкого рыла, так и сносу нет, лет десять таскает, а этот уж истрепал мундир! Хоть новый шей!

— Поди попроси у него деньги! — сказала Аксинья.— Поди!

— Что ты, дура! На улице? И ни-ни...

Как ни противился Меркулов, но жена заставила его подойти к рассвирепевшему капитану и заговорить о деньгах.

— Пошел вон! — ответил ему капитан.— Ты мне надоел!

— Я, ваше благородие, понимаю-с... Я ничего-с... но жена... неразумная тварь... Сами знаете, какой ум в голове у ихнего бабьего звания...

— Ты мне надоел, говорят тебе! — взревел капитан, тараща на него пьяные, мутные глаза.— Пошел прочь!

— Понимаю, ваше благородие! Но я касательно бабы, потому, изволите знать, деньги-то коровьи... Отцу Иуде корову продали...

— Ааа... ты еще разговаривать, тля!

Капитан размахнулся и — трах! Со спины Меркулова посыпался уголь, из глаз — искры, из рук выпала шапка... Аксинья обомлела. Минуту стояла она неподвижно, как Лотова жена, обращенная в соляной столб, потом зашла вперед и робко взглянула на лицо мужа... К ее великому удивлению, на лице

Меркулова плавала блаженная улыбка, на смеющихся глазах блестели слезы...

— Сейчас видать настоящих господ! — бормотал он.— Люди деликатные, образованные... Точь-в-точь, бывало... по самому этому месту, когда носил шубу к барону Шпуцелю, Эдуарду Карлычу... Размахнулись и — трах! И господин подпоручик Зембулатов тоже... Пришел к ним, а они вскочили и изо всей мочи... Эх, прошло, жена, мое время! Не понимаешь ты ничего! Прошло мое время!

Меркулов махнул рукой и, собрав уголь, побрел домой.

У ПРЕДВОДИТЕЛЬШИ

Первого февраля каждого года, в день св. мученика Трифона, в имении вдовы бывшего уездного предводителя Трифона Львовича Завзятова бывает необычайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а после панихиды — благодарственное господу богу молебствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите теперешнего предводителя Хрумова, председателя земской управы Марфуткина, непременного члена Потрашкова, обоих участковых мировых, исправника Кринолинова, двух становых, земского врача Дворнягина, пахнущего йодоформом, всех помещиков, больших и малых, и проч. Всего набирается человек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, пробираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бесшумны, но торжественность случая заставляет инстинктивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале уже все готово. Отец Евмений, маленький старичок, в высокой полинявшей камилавке, надевает черные ризы. Дьякон Конкордиев, красный как рак и уже облаченный, бесшумно перелистывает требник и закладывает в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, надув широко щеки и выпучив глаза, раздувает кадило. Зала постепенно наполняется синеватым, про-

зрачным дымком и запахом ладана. Народный учитель Геликонский, молодой человек в новом, мешковатом сюртуке и с большими угрями на испуганном лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица у всех натянутые, торжественные...

Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо потрескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, вскоре, когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим условиям комнат, делается тихим, стройным... Мотивы всё печальные, заунывные... Гости мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, суете мирской... Припоминается покойный Завзятов, плотный, краснощекий, выпивавший залпом бутылку шампанского и разбивавший лбом зеркала. А когда поют «со святыми упокой» и слышатся всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствительных начинает почесываться в горле и около век. Председатель земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, нагибается к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча... С Петром Петровичем большой шлем на без козырях взяли... Ей-богу... Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусственный зуб выпал.

Но вот поется «вечная память». Геликонский почтительно отбирает свечи, и панихида кончается. Засим следует минутная суматоха, перемена риз и молебен. После молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте покойного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рассказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на ноги, спешат в столовую... Тут ожидает их завтрак. Этот завтрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, при взгляде на него, считает своею обязанностью развести руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые богам.

Завтрак действительно необыкновенен. На столе есть все, что только могут дать флора и фауна, сверхъестественного же в нем разве только одно: на столе есть все, кроме... спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, словно на смех и в наказание завтракающим, всплошную состоящим из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша.— Только, извините, водки у меня нет... Не держу...

Гости приближаются к столу и нерешительно приступают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в резанье, в жевании видна какая-то лень, апатия... Видимо, чего-то не хватает.

— Чувство, словно потерял что-то...— шепчет один мировой другому.— Такое же чувство было у меня, когда жена с инженером бежала... Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карманах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу,— вспоминает он громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать? — шепчет он отцу Евмению.— Ступай, батя, в переднюю, там у меня в шубе бутылка есть... Только смотри, поосторожней, бутылкой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова... по секрету! — догоняет его Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хвастает Хрумов.— Стоит тысячу, а я дал... вы не поверите... двести пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это известие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не верят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть на шубу и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не выносит тайком из передней пяти пустых бутылок... Когда подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы одному не скучно было идти, он берет с собою дьякона, которому кстати же нужно поглядеть на лошадь...

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в кабинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет,— пишет она между прочим,— у меня была панихида по покойном. Были на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, ma chére[1], если б ты знала, как любят меня мои медведи! Председатель земской управы Марфуткин после завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно замотав головой, заплакал: много чувства, но нет слов! Отец Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять искреннее чув-

[1] моя дорогая *(франц.)*.

ство я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал передо мной на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения (он у нас поэт), но... не хватило сил... покачнулся и упал... С великаном сделалась истерика... Можешь представить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалыкин, человек полный и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал на диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось отливать его водой... Спасибо доктору Дворнягину: принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя и был увезен...»

Гостиная статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень à la «украинская ночь» стены, мебель, лица... Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющее полено и на мгновение заливает лица цветом пожарного зарева; но это не портит общей световой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан.

Перед камином в кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит сам Шарамыкин, пожилой господин с седыми чиновничьими бакенами и с кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нежность, губы сложены в грустную улыбку. У его ног, протянув к камину ноги и лениво потягиваясь, сидит на скамеечке вице-губернатор Лопнев, бравый мужчина лет сорока. Около пианино возятся дети Шарамыкина: Нина, Коля, Надя и Ваня. Из слегка отворенной двери, ведущей в кабинет г-жи Шарамыкиной, робко пробивается свет. Там за дверью, за своим письменным столом, сидит жена Шарамыкина, Анна Павловна, председательница местного дамского комитета, живая и пикантная дамочка, лет тридцати с хвостиком. Ее черные, бойкие глазки бегают сквозь пенсне по страницам французского романа. Под романом лежит растрепанный комитетский отчет за прошлый год.

— Прежде наш город в этом отношении был счастливее,— говорит Шарамыкин, щуря свои кроткие глаза на тлеющие уголья.— Ни одной зимы не проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь звезда. Бывали и знаменитые актеры, и певцы, а нынче... черт знает что! кроме фокусников да шарманщиков, никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия... Живем, как в лесу. Да-с... А помните, ваше превосходительство, того итальянского трагика... как его?.. еще такой брюнет, высокий... Дай бог память... Ах да! Луиджи Эрнесто де Руджиеро... Талант замечательный... Сила! Одно слово скажет, бывало, и театр ходором ходит. Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выхлопотала, и билеты на десять спектаклей распродала... Он ее за это декламации и мимике учил. Душа человек! Приезжал он сюда... чтоб не соврать... лет двенадцать тому назад... Нет, вру... Меньше, лет десять... Анюточка, сколько нашей Нине лет?

— Десятый год! — кричит из своего кабинета Анна Павловна.— А что?

— Ничего, мамочка, это я так... И певцы хорошие приезжали, бывало... Помните вы tenore di grazia [1] Прилипчина? Что за душа человек! Что за наружность! Блондин... лицо этакое выразительное, манеры парижские... А что за голос, ваше превосходительство! Одна только беда: некоторые ноты желудком пел и «ре» фистулой брал, а то все хорошо. У Тамберлика, говорил, учился... Мы с Анюточкой выхлопотали ему залу в общественном собрании, и в благодарность за это он, бывало, нам целые дни и ночи распевал... Анюточку петь учил... Приезжал он, как теперь помню, в великом посту, лет... лет двенадцать тому назад. Нет, больше... Вот память, прости господи! Анюточка, сколько нашей Надечке лет?

— Двенадцать!

— Двенадцать... ежели прибавить десять месяцев... Ну, так и есть... тринадцать!.. Прежде у нас

[1] лирический тенор *(итал.)*.

в городе как-то и жизни больше было... Взять, к примеру, хоть благотворительные вечера. Какие прекрасные бывали у нас прежде вечера. Что за прелесть! И поют, и играют, и читают... После войны, помню, когда здесь пленные турки стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых. Собрали тысячу сто рублей... Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкина голоса и всё ей руку целовали. Хе, хе... Хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было, как теперь помню, в... семьдесят шестом... нет! В семьдесят седьмом... Нет! Позвольте, когда у нас турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечке лет?

— Мне, папа, семь лет! — говорит Коля, черномазый мальчуган с смуглым лицом и черными, как уголь, волосами.

— Да, постарели и энергии той уж нет!..— соглашается Лопнев, вздыхая.— Вот где причина... Старость, батенька! Новых инициаторов нет, а старые состарились... Нет уж того огня. Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество скучало... Я был первым помощником вашей Анны Павловны... Вечер ли с благотворительною целью устроить, лотерею ли, приезжую ли знаменитость поддержать — все бросал и начинал хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набегался, что даже заболел... Не забыть мне этой зимы!.. Помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной Павловной в пользу погорельцев?

— Да это в каком году было?

— Не очень давно... В семьдесят девятом... Нет, в восьмидесятом, кажется! Позвольте, сколько вашему Ване лет?

— Пять! — кричит из кабинета Анна Павловна.

— Ну, стало быть, это было шесть лет тому назад... Да-с, батенька, были дела! Теперь уж не то! Нет того огня!

Лопнев и Шарамыкин задумываются. Тлеющее полено вспыхивает в последний раз и подергивается пеплом.

СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕТКИ

В книге «входящих» под литерой Д, № 8, год 80—81, на полях и пустых местах имеются карандашные пометки, сделанные разными почерками. Так как все они носят печать мудрости и полны высокого значения, то надо думать, что они принадлежат лицам начальствующим. Выбираю самые лучшие и характерные:

«Так и быть. Дать отсрочку на 2 месяца и сказать ему, чтобы он в другой раз не смел входить в присутствие в калошах».

«На прошение губернского секретаря Осетрова об единовременном пособии могу ответить указанием на Римскую империю, погибшую от роскоши. Роскошь и излишества ведут к растлению нравов; а я желаю, чтобы все были нравственны. Впрочем, пусть Осетров сходит в вицмундире к купцу Хихикину и скажет ему, что его дело близится к концу».

«Птица узнается по перьям, хороший проситель по благодарности».

«Хотя по точному смыслу ст. 64, п. I Уст. о герб. сборе прошения о выдаче свидетельств о бедности не подлежат гербовому сбору, но тем не менее объявить вдове Вониной, что в неприлеплении ею шестидесятикопеечной марки я усматриваю не столько понимание духа законов, сколько желание действовать самовольно помимо указаний надлежащего началь-

ства. Если действительно не нужна была бы марка, то отлепили бы мы ее сами, она же распоряжаться не может. Отказать».

«Делицын, расписывайся поразборчивее! Ты не тайный советник...»

«Хотя в этом прошении и нет точных указаний на чувство благодарности, но тем не менее из некоторых пунктов явствует, что к нему было кое-что приложено... Где деньги?» Под этой фразой другим почерком написано: «Честь имею донести вашему высокородию, что деньги в количестве 75 р. во время вашего отсутствия были отнесены Смирновым супруге вашей Евдокии Трифоновне. Лягавов».

На бумаге с заголовком «совершенно секретно» написано: «Надписи вроде «секретно» и «совершенно секретно» мне не понятны. К чему из сих поучительных фактов делать тайну? Пусть бы все читали и казнились...»

«Сему рапорту о болезни не верю. Шулябин пишет, что он болен, а между тем мне известно, что он сидит теперь дома и под видом геморроя пишет мещанам прошения.

Чтоб был завтра на службе!»

РАЗГОВОР ЧЕЛОВЕКА С СОБАКОЙ

Была лунная, морозная ночь. Алексей Иваныч Романсов сбил с рукава зеленого чертика, отворил осторожно калитку и вошел во двор.

— Человек,— философствовал он, обходя помойную яму и балансируя,— есть прах, мираж, пепел... Павел Николаич губернатор, но и он пепел. Видимое величие его — мечта, дым... Дунуть раз и — нет его!

— Рррр...— донеслось до ушей философа.

Романсов взглянул в сторону и в двух шагах от себя увидел громадную черную собаку из породы степных овчарок и ростом с доброго волка. Она сидела около дворницкой будки и позвякивала цепью. Романсов поглядел на нее, подумал и изобразил на своем лице удивление. Затем он пожал плечами, покачал головой и грустно улыбнулся.

— Рррр...— повторила собака.

— Нне понимаю! — развел руками Романсов.— И ты... ты можешь рычать на человека? А? Первый раз в жизни слышу. Побей бог... Да нешто тебе неизвестно, что человек есть венец мироздания? Ты погляди... Я подойду к тебе... Гляди вот... Ведь я человек? Как по-твоему? Человек я или не человек? Объясняй!

— Рррр... Гав!

— Лапу! — протянул Романсов собаке руку.—

Лапу! Не даете? Не желаете? И не нужно. Так и запишем. А пока позвольте вас по морде... Я любя...

— Гав! Гав! Ррр... гав! Авав!

— Аааа... ты кусаться? Очень хорошо, ладно. Так и будем помнить. Значит, тебе плевать на то, что человек есть венец мироздания... царь животных? Значит, из этого следует, что и Павла Николаича ты укусить можешь? Да? Перед Павлом Николаичем все ниц падают, а тебе что он, что другой предмет — все равно? Так ли я тебя понимаю? Ааа... Так, стало быть, ты социалист? Постой, ты мне отвечай... Ты социалист?

— Ррр... гав! гав!

— Постой, не кусайся... О чем, бишь, я?.. Ах да, насчет пепла. Дунуть и — нет его! Пфф!.. А для чего живем, спрашивается? Родимся в болезнях матери, едим, пьем, науки проходим, помираем... а для чего все это? Пепел! Ничего не стоит человек! Ты вот собака и ничего не понимаешь, а ежели бы ты могла... залезть в душу! Ежели бы ты могла в психологию проникнуть!

Романсов покрутил головой и сплюнул.

— Грязь... Тебе кажется, что я, Романсов, коллежский секретарь... царь природы... Ошибаешься! Я тунеядец, взяточник, лицемер!.. Я гад!

Алексей Иваныч ударил кулаком себя по груди и заплакал.

— Наушник, шептун... Ты думаешь, что Егорку Корнюшкина не через меня прогнали? А? А кто, позвольте вас спросить, комитетские двести рублей зажилил да на Сургучева свалил? Нешто не я? Гад, фарисей... Иуда! Подлипала, лихоимец... сволочь!

Романсов вытер рукавом слезы и зарыдал.

— Кусай! Ешь! Никто отродясь мне путного слова не сказал... Все только в душе подлецом считают, а в глаза, кроме хвалений да улыбок,— ни-ни! Хоть бы раз кто по морде съездил да выругал! Ешь, пес! Кусай! Ррви анафему! Лопай предателя!

Романсов покачнулся и упал на собаку.

— Так, именно так! Рви мордализацию! Не жалко! Хоть и больно, а не щади. На, и руки кусай! Ага,

кровь течет! Так тебе и нужно, шмерцу! Так! Мерси, Жучка... или как тебя? Мерси... Рви и шубу. Все одно, взятка... Продал ближнего и купил на вырученные деньги шубу... И фуражка с кокардой тоже... Однако, о чем, бишь, я?.. Пора идти... Прощай, собачечка... шельмочка...

— Рррр.

Романсов погладил собаку, и дав ей еще раз укусить себя за икру, запахнулся в шубу и, пошатываясь, побрел к своей двери...

Проснувшись на другой день в полдень, Романсов увидел нечто необычайное. Голова, руки и ноги его были в повязках. Около кровати стояли заплаканная жена и озабоченный доктор.

В БАНЕ

I

— Эй ты, фигура! — крикнул толстый, белотелый господин, завидев в тумане высокого и тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди.— Поддай пару!

— Я, ваше высокородие, не банщик, я цирульник-с. Не мое дело пар поддавать. Не прикажете ли кровососные баночки поставить?

Толстый господин погладил себя по багровым бедрам, подумал и сказал:

— Банки? Пожалуй, поставь. Спешить мне некуда.

Цирульник сбегал в предбанник за инструментом, и через какие-нибудь пять минут на груди и спине толстого господина уже темнели десять банок.

— Я вас помню, ваше благородие,— начал цирульник, ставя одиннадцатую банку.— Вы у нас в прошлую субботу изволили мыться, и тогда же еще я вам мозоли срезывал. Я цирульник Михайло... Помните-с? Тогда же вы еще изволили меня насчет невест расспрашивать.

— Ага... Так что же?

— Ничего-с... Говею я теперь, и грех мне осуждать, ваше благородие, но не могу не выразить вам по совести. Пущай меня бог простит за осуждения мои, но невеста нынче пошла все непутящая, несмысленая... Прежняя невеста желала выйтить за человека, который солидный, строгий, с капиталом,

который все обсудить может, религию помнит, а нынешняя льстится на образованность. Подавай ей образованного, а господина чиновника или кого из купечества и не показывай — осмеет! Образованность разная бывает... Иной образованный, конечно, до высокого чина дослужится, а другой весь век в писцах просидит, похоронить не на что. Мало ли их нынче таких? К нам сюда ходит один... образованный. Из телеграфистов... Все превзошел, депеши выдумывать может, а без мыла моется. Смотреть жалко!

— Беден, да честен! — донесся с верхней полки хриплый бас.— Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души. Невежа!

Михайло искоса поглядел на верхнюю полку... Там сидел и бил себя по животу веником тощий человек с костистыми выступами на всем теле и состоящий, как казалось, из одних только кожи да ребер. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свесившимися вниз длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрения, устремленные на Михайлу.

— Из энтих... из длинноволосых! — мигнул глазом Михайло.— С идеями... Страсть, сколько развелось нынче такого народу! Не переловишь всех... Ишь патлы распустил, шкилет! Всякий христианский разговор ему противен, все равно, как нечистому ладан. За образованность вступился! Таких вот и любит нынешняя невеста. Именно вот таких, ваше высокородие! Нешто не противно? Осенью зовет меня к себе одна священникова дочка. «Найди, говорит, мне, Мишель,— меня в домах Мишелем зовут, потому я дам завиваю,— найди, говорит, мне, Мишель, жениха, чтоб был из писателей». А у меня, на ее счастье, был такой... Ходил он в трактир к Порфирию Емельянычу и все стращал в газетах пропечатать. Подойдет к нему человек за водку деньги спрашивать, а он сейчас по уху... «Как? С меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу в газетах пропечатать, что ты душу загубил?» Плюгавый такой, оборванный. Прельстил я его поповскими деньгами, по-

казал барышнин портрет и сводил. Костюмчик ему напрокат достал... Не понравился барышне! «Меланхолии, говорит, в лице мало». И сама не знает, какого ей лешего нужно!

— Это клевета на печать! — послышался хриплый бас с той же полки.— Дрянь!

— Это я-то дрянь? Гм!.. Счастье ваше, господин, что я в эту неделю говею, а то бы я вам за «дрянь» сказал бы слово... Вы, стало быть, тоже из писателей?

— Я хотя и не писатель, но не смей говорить о том, чего не понимаешь. Писатели были в России многие и пользу принесшие. Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. Говорю я о писателях как светских, так равно и духовных.

— Духовные особы не станут такими делами заниматься.

— Тебе, невеже, не понять. Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский и прочие другие святители церкви своими творениями достаточно способствовали просвещению.

Михайло покосился на своего противника, покрутил головой и крякнул.

— Ну, уж это вы что-то тово, сударь...— пробормотал он, почесав затылок.— Что-то умственное... Недаром на вас и волосья такие. Недаром! Мы все это очень хорошо понимаем и сейчас вам покажем, какой вы человек есть. Пущай, ваше благородие, баночки на вас постоят, а я сейчас... Схожу только.

Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышел в предбанник.

— Сейчас выйдет из бани длинноволосый,— обратился он к малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло,— так ты, тово... погляди за ним. Народ смущает... С идеями... За Назаром Захарычем сбегать бы...

— Ты скажи мальчикам.

— Сейчас выйдет сюда длинноволосый,— зашептал Михайло, обращаясь к мальчикам, стоявшим около одежи.— Народ смущает. Поглядите за ним да

сбегайте к хозяйке, чтоб за Назаром Захарычем послали — протокол составить. Слова разные произносит... С идеями...

— Какой же это длинноволосый? — встревожились мальчики.— Тут никто из таких не раздевался. Всех раздевалось шестеро. Тут вот два татара, тут господин раздевшись, тут из купцов двое, тут дьякон... а больше и никого... Ты, знать, отца дьякона за длинноволосого принял?

— Выдумываете, черти! Знаю, что говорю!

Михайло посмотрел на одежу дьякона, потрогал рукой ряску и пожал плечами. По лицу его разлилось крайнее недоумение.

— А какой он из себе?

— Худенький такой, белобрысенький... Бородка чуть-чуть... Все кашляет.

— Гм!..— пробормотал Михайло.— Гм!.. Это я, значит, духовную особу облаял... Комиссия отца Денисия! Вот грех-то! Вот грех! А ведь я говею, братцы! Как я теперь исповедаться буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости меня, грешного! Пойду прощения просить...

Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню. Отца дьякона на верхней полке уже не было. Он стоял внизу у кранов и, сильно раскорячив ноги, наливал себе в шайку воды.

— Отец дьякон! — обратился к нему Михайло плачущим голосом.— Простите меня, Христа ради, окаянного!

— За что такое?

Михайло глубоко вздохнул и поклонился дьякону в ноги.

— За то, что я подумал, что у вас в голове есть идеи!

II

— Удивляюсь я, как это ваша дочь, при всей своей красоте и невинном поведении, не вышла до сих пор замуж! — сказал Никодим Егорыч Потычкин, полезая на верхнюю полку.

К рассказу «Капитанский мундир».

Художники Кукрыниксы. 1941.

Никодим Егорыч был гол, как и всякий голый человек, но на его лысой голове была фуражка. Боясь прилива к голове и апоплексического удара, он всегда парился в фуражке. Его собеседник, Макар Тарасыч Пешкин, маленький старичок с тонкими синими ножками, в ответ на его вопрос пожал плечами и сказал:

— А потому она не вышла, что характером меня бог обидел. Смирен я и кроток очень, Никодим Егорыч, а нынче кротостью ничего не возьмешь. Жених нынче лютый,— с ним и обходиться нужно сообразно.

— То есть как же лютый? С какой это вы точки?

— Балованный жених... С ним как надо? Строгость нужна, Никодим Егорыч. Стесняться с ним не следовает, Никодим Егорыч. К мировому, по мордасам, за городовым послать — вот как надо! Негодный народ. Пустяковый народ.

Приятели легли рядом на верхней полке и заработали вениками.

— Пустяковый...— продолжал Макар Тарасыч.— Натерпелся я от них, каналиев. Будь я характером посолиднее, моя Даша давно бы уже была замужем и деток рожала. Да-с... Старых девок теперь, в женском поле, сударь мой, ежели по чистой совести, половина на половину, пятьдесят процентов. И заметьте, Никодим Егорыч, каждая из этих самых девок в молодых годах женихов имела. А почему, спрашивается, не вышла? По какой причине? А потому, что удержать его, жениха-то, родители не смогли, дали ему отвертеться.

— Это верно-с.

— Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий. Любит он все это на шерамыжку да с выгодой. Задаром он тебе и шагу не ступит. Ты ему удовольствие, а он с тебя же деньги требует. Ну, и женится тоже не без мыслей. Женюсь, мол, так деньгу зашибу. Это бы еще ничего, куда ни шло — ешь, лопай, бери мои деньги, только женись на моем дите, сделай такую милость, но бывает, что и с деньгами наплачешься, натерпишься горя-гореванского. Иной сватается-сватается, а как дойдет до самой точки, до венца, то и назад оглобли, к другой идет

свататься. Женихом хорошо быть, одно удовольствие. Его и накормят, и напоят, и денег взаймы дадут — чем не жизнь? Ну, и строит из себя жениха до старости лет, покуда смерть — и жениться ему не нужно. И уж лысина во всю голову, и седой весь, и колени гнутся, а он все жених. А то бывают, которые не женятся по глупости... Глупый человек сам не знает, что ему надобно, ну и перебирает: то ему не хорошо, другое не ладно. Ходит-ходит, сватается-сватается, а потом вдруг ни с того ни с сего: «Не могу, говорит, и не желаю». Да вот хоть взять, к примеру, господина Катавасова, первого Дашиного жениха. Учитель гимназии, титулярный тоже советник... Науки все выучил, по-французски, по-немецки... математик, а на поверку вышел болван, глупый человек — и больше ничего. Вы спите, Никодим Егорыч?

— Нет, зачем же-с? Это я закрыл глаза от удовольствия...

— Ну вот... Начал он около моей Даши ходить. А надо вам заметить, Даше тогда и двадцати годочков еще не было. Такая была девица, что просто всем на удивление. Финик! Полнота, формалистика в теле и прочее. Статский советник Цицеронов-Гравианский — по духовному ведомству служит — на коленях ползал, чтоб к нему в гувернантки пошла,— не захотела! Начал Катавасов ходить к нам. Ходит каждый день и до полночи сидит, все с ней про разные науки там и физики... Книжки ей носит, музыку ее слушает... Все больше на книжки напирает. Даша-то моя сама ученая, книги ей вовсе не надобны, баловство одно только, а он — то прочти, другое прочти; надоел до смерти. Полюбил ее, вижу. И она, заметно, ничего. «Не нравится, говорит, он мне за то, что он, папаша, не военный». Не военный, а все-таки ничего. Чин есть, благородный, сытый, трезвый — чего же тут еще? Посватался. Благословили... Про приданое не спросил даже. Молчок... Словно он не человек, а дух бесплотный, и без приданого может. Назначили и день, когда венчать. И что же вы думаете? А? За три дня до свадьбы приходит ко мне в лавку этот самый Катавасов. Глаза красные, личность бледная, словно с пе-

репугу, весь дрожит. Что угодно-с? «Извините, говорит, Макар Тарасыч, но я жениться на Дарье Макаровне не могу. Я, говорит, ошибся. Я, говорит, взирая на ее цветущую молодость и наивность, думал найти в ней почву, так сказать, свежесть, говорит, душевную, а она уже успела приобрести склонности, говорит. Она наклонна, говорит, к мишуре, не знает труда, с молоком матери всосала...» И не помню, что она там всосала... Говорит, а сам плачет. А я? Я, сударь мой, побранился только, отпустил его. И к мировому не сходил, и начальству его не жаловался, по городу не срамил. Пойди я к мировому, так небось испугался бы срама, женился бы. Начальство небось не поглядело бы, что она там всосала. Коли смутил девку, так и женись. Купец, вон, Клякин,— слышали? — даром что мужик, а поди-кася какую штуку того... У него жених тоже упорствовать стал, в приданом заметил что-то как будто не то, так он, Клякин-то, завел его в кладовую, заперся, вынул, знаете ли, из кармана большой револьвер с пулями, как следует заряженный, и говорит: «Побожись, говорит, перед образом, что женишься, а то, говорит, убью сию минуту, подлец этакой. Сию минуту!» Побожился и женился молодчик. Вот видите. А я бы так не способен. И драться даже не того... Увидал мою Дашу консисторский чиновник, хохол Брюзденко. Тоже из духовного ведомства. Увидал и влюбился. Ходит за ней красный как рак, бормочет разные слова, и изо рта у него жар пышет. Днем у нас сидит, а ночью под окнами ходит. И Даша его полюбила. Глаза его хохлацкие ей понравились. В них, говорит, огонь и черная ночь. Ходил-ходил хохол и посватался. Даша, можно сказать, в восторге и восхищении, дала свое согласие. «Я, говорит, папаша, понимаю, это не военный, но все же из духовного ведомства, а это все равно, что интендантство, и поэтому я его очень люблю». Девица, а тоже поди разбирает нынче: интендантство! Осмотрел хохол приданое, поторговался со мной и только носом покрутил — на все согласен, свадьбу бы только поскорей; но в тот самый день как обручать, поглядел на гостей да как схватит себя за

голову. «Батюшки, говорит, сколько у них родни! Не согласен! Не могу! Не желаю!» И пошел и пошел... Я уж и так и этак... Да ты, говорю, ваше высокородие, с ума сошел, что ли? Ведь больше чести, ежели родни много! Не соглашается! Взял шапку, да и был таков.

Был и такой случай. Посватал мою Дашу лесничий Аляляев. Полюбил ее за ум и поведение... Ну, и Даша его полюбила. Характер его положительный ей нравился. Человек он действительно хороший, благородный. Посватался и все этак обстоятельно. Приданое все до тонкостей осмотрел, все сундуки перерыл, Матрену поругал за то, что та салопа от моли не уберегла. И мне реестрик своего имущества доставил. Благородный человек, грех про него что худое сказать. Нравился он мне, признаться, до чрезвычайности. Торговался он со мной два месяца. Я ему восемь тысяч даю, а он просит восемь с половиной. Торговались-торговались; бывало, сядем чай пить, выпьем по пятнадцати стаканов и все торгуемся. Я ему двести накинул — не хочет! Так и разошлись из-за трехсот рублей. Уходил, бедный, и плакал... Уж больно любил Дашу! Ругаю теперь себя, грешный человек, истинно говорю. Было б мне отдать ему триста, или же попугать, на весь город посрамить, или завести бы в темную комнатку да по мордасам. Прогадал я, вижу теперь, что прогадал, дурака сломал. Ничего не поделаешь, Никодим Егорыч: характер у меня тихий!

— Смирны очень. Это верно-с. Ну, я пойду, пора... Голова тяжела стала...

Никодим Егорыч в последний раз ударил себя веником и спустился вниз. Макар Тарасыч вздохнул и еще усерднее замахал веником.

ПРАВИЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ АВТОРОВ

Юбилейный подарок — вместо почтового ящика

Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!» Если же, несмотря на такую экзекуцию, оный младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим.

Путь пишущего от начала до конца усыпан тернием, гвоздями и крапивой, а потому здравомыслящий человек всячески должен отстранять себя от писательства. Если же неумолимый рок, несмотря на все предостережения, толкнет кого-нибудь на путь авторства, то для смягчения своей участи такой несчастный должен руководствоваться следующими правилами:

1) Следует помнить, что случайное авторство и авторство à propos[1] лучше постоянного писательства. Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах.

2) Следует также зарубить себе на носу, что неудача на литературном поприще в тысячу раз лучше удачи. Первая наказуется только разочарованием да

[1] между прочим *(франц.)*.

обидною откровенностью почтового ящика, вторая же влечет за собою томительное хождение за гонораром, получение гонорара купонами 1899 года, «последствия» и новые попытки.

3) Писанье, как «искусство для искусства», выгоднее, чем творчество за презренный металл. Пишущие домов не покупают, в купе первого класса не ездят, в рулетку не играют и стерляжьей ухи не едят. Пища их — мед и акриды приготовления Саврасенкова, жилище — меблированные комнаты, способ передвижения — пешее хождение.

4) Слава есть яркая заплата на ветхом рубище певца, литературная же известность мыслима только в тех странах, где за уразумением слова «литератор» не лезут в «Словарь 30 000 иностранных слов».

5) Пытаться писать могут все без различия званий, вероисповеданий, возрастов, полов, образовательных цензов и семейных положений. Не запрещается писать даже безумным, любителям сценического искусства и лишенным всех прав. Желательно, впрочем, чтобы карабкающиеся на Парнас были по возможности люди зрелые, знающие, что слова «ѣхать» и «хлѣб» пишутся через «ять».

6) Желательно, чтобы они по возможности были не юнкера и не гимназисты.

7) Предполагается, что пишущий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собою опыт. Самый высший гонорар получают люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, самый же низший — натуры нетронутые и неиспорченные. К первым относятся: женившиеся в третий раз, неудавшиеся самоубийцы, проигравшиеся в пух и прах, дравшиеся на дуэли, бежавшие от долгов и проч. Ко вторым: неимеющие долгов, женихи, непьющие, институтки и проч.

8) Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. А посему не робей... Клади перед собой бумагу, бери в руки перо и, раздражив пленную мысль, строчи. Строчи о чем хочешь: о чернослив, погоде,

говоровском квасе, Великом океане, часовой стрелке, прошлогоднем снеге... Настрочивши, бери в руки рукопись и, чувствуя в жилах священный трепет, иди в редакцию. Снявши в передней калоши и справившись, «тут ли г. редактор?», входи в святилище и, полный надежд, отдавай свое творение... После этого неделю лежи дома на диване, плюй в потолок и услаждай себя мечтами, через неделю же иди в редакцию и получай свою рукопись обратно. Засим следует обивание порогов в других редакциях... Когда все редакции уже обойдены и нигде рукопись не принята, печатай свое произведение отдельным изданием. Читатели найдутся.

9) Стать же писателем, которого печатают и читают, очень трудно. Для этого: будь безусловно грамотен и имей талант величиною хотя бы с чечевичное зерно. За отсутствием больших талантов дороги и маленькие.

10) Будь порядочен. Не выдавай краденого за свое, не печатай одного и того же в двух изданиях зараз, не выдавай себя за Курочкина и Курочкина за себя, иностранное не называй оригинальным и т. д. Вообще помни десять заповедей.

11) В печатном мире существуют приличия. Здесь так же, как и в жизни, не рекомендуется наступать на любимые мозоли, сморкаться в чужой платок, запускать пятерню в чужую тарелку и т. д.

12) Если хочешь писать, то поступай так. Избери сначала тему. Тут дана тебе полная свобода. Можешь употребить произвол и даже самоуправство. Но, дабы не открыть во второй раз Америки и не изобрести вторично пороха, избегай тем, которые давным-давно уже заезжены.

13) Избрав тему, бери в руки незаржавленное перо и разборчивым, не каракулистым почерком пиши желаемое на одной стороне листа, оставляя нетронутой другую. Последнее желательно не столько ради увеличения доходов бумажных фабрикантов, сколько ввиду иных, высших соображений.

14) Давая волю фантазии, приудержи руку. Не давай ей гнаться за количеством строк. Чем короче и

реже ты пишешь, тем больше и чаще тебя печатают. Краткость вообще не портит дела. Растянутая резинка стирает карандаш нисколько не лучше нерастянутой.

15) Написавши, подписывайся. Если не гонишься за известностью и боишься, чтобы тебя не побили, употреби псевдоним. Но памятуй, что, какое бы забрало ни скрывало тебя от публики, твоя фамилия и твой адрес должны быть известны редакции. Это необходимо на случай, ежели редактор захочет тебя с Новым годом поздравить.

16) Гонорар получай тотчас же по напечатании. Авансов избегай. Аванс — это заедание будущего.

17) Получивши гонорар, делай с ним, что хочешь: купи себе пароход, осуши болото, снимись в фотографии, закажи Финляндскому колокол, увеличь женин турнюр в три раза... одним словом, что хочешь. Редакция, давая гонорар, дает и полную свободу действий. Впрочем, ежели сотрудник пожелает доставить редакции счет, из которого будет видно, как и куда истратил он свой гонорар, то редакция ничего не будет иметь против.

18) В заключение прочти еще раз первые строки этих «Правил».

«Милостивый государь, отец и благодетель! — сочинял начерно чиновник Невыразимов поздравительное письмо.— Желаю как сей Светлый день, так и многие предбудущие провести в добром здравии и благополучии. А также и семейству жел...»

Лампа, в которой керосин был уже на исходе, коптила и воняла гарью. По столу, около пишущей руки Невыразимова, бегал встревоженно заблудившийся таракан. Через две комнаты от дежурной швейцар Парамон чистил уже в третий раз свои парадные сапоги, и с такой энергией, что его плевки и шум вакселной щетки были слышны во всех комнатах.

«Что бы еще такое ему, подлецу, написать?» — задумался Невыразимов, поднимая глаза на закопченный потолок.

На потолке увидел он темный круг — тень от абажура. Ниже были запыленные карнизы, еще ниже — стены, выкрашенные во время оно в сине-бурую краску. И дежурная комната показалась ему такой пустыней, что стало жалко не только себя, но даже таракана...

«Я-то отдежурю и выйду отсюда, а он весь свой тараканий век здесь продежурит,— подумал он, потягиваясь.— Тоска! Сапоги себе почистить, что ли?»

И, еще раз потянувшись, Невыразимов лениво поплелся в швейцарскую. Парамон уже не чистил

сапог... Держа в одной руке щетку, а другой крестясь, он стоял у открытой форточки и слушал...

— Звонют-с! — шепнул он Невыразимову, глядя на него неподвижными, широко раскрытыми глазами.— Уже-с!

Невыразимов подставил ухо к форточке и прислушался. В форточку, вместе со свежим, весенним воздухом, рвался в комнату пасхальный звон. Рев колоколов мешался с шумом экипажей, и из звукового хаоса выделялся только бойкий, теноровый звон ближайшей церкви да чей-то громкий, визгливый смех.

— Народу-то сколько! — вздохнул Невыразимов, поглядев вниз на улицу, где около зажженных плошек мелькали одна за другой человеческие тени.— Все к заутрене бегут... Наши-то теперь небось выпили и по городу шатаются. Смеху-то этого сколько, разговору! Один только я несчастный такой, что должен здесь сидеть в этакий день. И каждый год мне это приходится!

— А кто вам велит наниматься? Ведь вы не дежурный сегодня, а Заступов вас за себя нанял. Как людям гулять, так вы и нанимаетесь... Жадность!

— Какой черт, жадность? Не из чего и жадничать: всего два рубля денег да галстук на придачу... Нужда, а не жадность! А хорошо бы теперь, знаешь, пойти с компанией к заутрене, а потом разговляться... Выпить бы этак, закусить, да и спать завалиться... Сидишь ты за столом, свяченый кулич, а тут самовар шипит и сбоку какая-нибудь этакая обжешка...[1] Рюмочку выпил и за подбородочек подержал, а оно и чувствительно... человеком себя чувствуешь... Эхх... пропала жизнь! Вон какая-то шельма в коляске проехала, а ты тут сиди да мысли думай...

— Всякому свое, Иван Данилыч. Бог даст, и вы дослужитесь, в колясках ездить будете.

— Я-то? Ну нет, брат, шалишь. Мне дальше титулярного не пойти, хоть тресни... Я необразованный.

— Наш генерал тоже без всякого образования, одначе...

---

[1] предмет увлечения (от *франц:* objet).

— Ну, генерал, прежде чем этого достигнуть, сто тысяч украл. И осанка, брат, у него не та, что у меня... С моей осанкой недалеко уйдешь! И фамилия преподлейшая: Невыразимов! Одним словом, брат, положение безвыходное. Хочешь — так живи, а не хочешь — вешайся...

Невыразимов отошел от форточки и в тоске зашагал по комнатам. Рев колоколов становился все сильнее и сильнее... Чтобы слышать его, не было уж надобности стоять у окна. И чем явственнее слышался звон, чем громче стучали экипажи, тем темнее казались бурые стены и закопченные карнизы, тем сильнее коптила лампа.

«Нешто удрать с дежурства?» — подумал Невыразимов.

Но бегство это не обещало ничего путного... Выйдя из правления и пошатавшись по городу, Невыразимов отправился бы к себе на квартиру, а на квартире у него было еще серее и хуже, чем в дежурной комнате... Допустим, что этот день он провел бы хорошо, с комфортом, но что же дальше? Все те же серые стены, все те же дежурства по найму и поздравительные письма...

Невыразимов остановился посреди дежурной комнаты и задумался.

Потребность новой, лучшей жизни невыносимо больно защемила его за сердце. Ему страстно захотелось очутиться вдруг на улице, слиться с живой толпой, быть участником торжества, ради которого ревели все эти колокола и гремели экипажи. Ему захотелось того, что переживал он когда-то в детстве: семейный кружок, торжественные физиономии близких, белая скатерть, свет, тепло... Вспомнил он коляску, в которой только что проехала барыня, пальто, в котором щеголяет экзекутор, золотую цепочку, украшающую грудь секретаря... Вспомнил теплую постель, Станислава, новые сапоги, вицмундир без протертых локтей... вспомнил потому, что всего этого у него не было...

«Украсть нешто? — подумал он.— Украсть-то, положим, нетрудно, но вот спрятать-то мудрено... В Америку, говорят, с краденым бегают, а черт ее знает,

где эта самая Америка! Для того, чтобы украсть, тоже ведь надо образование иметь».

Звон утих. Слышался только отдаленный шум экипажей да кашель Парамона, а грусть и злоба Невыразимова становились все сильнее, невыносимей. В присутствии часы пробили половину первого.

«Донос написать, что ли? Прошкин донес и в гору пошел...»

Невыразимов сел за свой стол и задумался. Лампа, в которой керосин совсем уже выгорел, сильно коптила и грозила потухнуть. Заблудившийся таракан все еще сновал по столу и не находил пристанища...

«Донести-то можно, да как его сочинишь! Надо со всеми экивоками, с подходцами, как Прошкин... А куда мне! Такое сочиню, что мне же потом и влетит. Бестолочь, черт возьми меня совсем!»

И Невыразимов, ломая голову над способами, как выйти из безвыходного положения, уставился на написанное им черновое письмо. Письмо это было писано к человеку, которого он ненавидел всей душой и боялся, от которого десять лет уже добивался перевода с шестнадцатирублевого места на восемнадцатирублевое...

— А... бегаешь тут, черт! — хлопнул он со злобой ладонью по таракану, имевшему несчастье попасться ему на глаза.— Гадость этакая!

Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами... Невыразимов взял его за одну ножку и бросил в стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало...

И Невыразимову стало легче.

ПРАЗДНИЧНЫЕ

Из записок провинциального хапуги

Описываю по порядку:

Дом № 113. В квартире № 2 встретились с человеком образованным и по всем видимостям благонамеренным, но весьма странным. Давая нам праздничные, он сказал:

— Будучи состоятелен, я даю с удовольствием; но, будучи в то же время человеком науки и привыкши понимать предметы и поступки чрез изучение причин и корней, я желал бы знать, существует ли нравственное право, по которому вы ходите по домам и берете праздничные, или же тут права нет и вы действуете à vol d'oiseau? [1]

Усматривая в сем вопросе полезную любознательность, я сел около стола с закуской и объяснил:

— Благодарность есть качество, свойственное душам возвышенным и благородным. Это качество человеку врождено, и на нашей обязанности лежит всячески поддерживать его в обывателях и не давать ему заглохнуть. Обыватель, давая праздничные, тем самым упражняет себя в чувстве благодарности. Упражнять вас в этом чувстве мы, по-настоящему, должны всегда, в будень и в праздник, но так как на нас лежит много других обязанностей и помимо взимания праздничных, то обыватель должен довольствоваться

[1] как вздумается *(франц.)*.

несколькими днями в году, уповая, что в будущем с упрощением человеческих отношений праздничные будут взиматься ежедневно.

Дом № 114. Домовладелец Швеин, давая десять рублей, сладко улыбался и пожимал горячо руку. Должно полагать, у канальи двор не чист или кто-нибудь без паспорта живет.

Дом № 115. Титулярная советница Перехудова, когда я вошел в гостиную, обиделась, что на мне грязные калоши. Впрочем, дала три рубля. Жилец Брюханский, на мое требование исполнить гражданский долг, отказался, ссылаясь на неимение денег. Тогда я объяснил ему:

— Каждый обыватель накануне праздника, прежде чем делать обычные затраты на предметы роскоши, обдумывает, кому сколько дать, и совещается на сей случай с членами своего семейства, после чего берет деньги и делит их на части, соответственно числу получателей. Если же у него денег нет, то он делает заем; ежели же сделать займа почему-либо нельзя, то берет свое семейство и бежит в Египет... Удивляюсь я, как это вы можете еще со мной говорить!

Записал его фамилию.

Дом № 116. Генерал Брындин, живущий в квартире № 3, вынося нам пять руб., сказал:

— Когда-то в своей губернии я боролся с этим злом и пострадал: в конце концов мне дали по шапке. Непоборимое, знать, зло! Нате, берите! Черт с вами...

Генерал, а какие странные понятия о гражданском долге!

— Непременно же, mes enfants[1], заезжайте к баронессе Шепплинг (через два «п»)...— повторила в десятый раз теща, усаживая меня и мою молодую жену в карету.— Баронесса моя старинная приятельница... Навестите кстати и генеральшу Жеребчикову... Она обидится, если вы не сделаете ей визита...

Мы сели в карету и поехали делать послесвадебные визиты. Физиономия моей жены, казалось мне, приняла торжественное выражение, я же повесил нос и впал в меланхолию... Много несходств было между мной и женой, но ни одно из них не причиняло мне столько душевных терзаний, как несходство наших знакомств и связей. В списке женины знакомых пестрели полковницы, генеральши, баронесса Шепплинг (через два «п»), граф Дерзай-Чертовщинов и целая куча институтских подруг-аристократок; с моей же стороны было одно сплошное моветонство[2]: дядюшка, отставной тюремный смотритель, кузина, содержащая модную мастерскую, чиновники-сослуживцы — все горькие пьяницы и забулдыги, из которых ни один не был выше титулярного, купец Плевков и проч. Мне было совестно... Чтобы избегнуть срама, следовало бы вовсе не ехать к моим знакомым, но не поехать значило бы навлечь на себя множество нарека-

[1] дети мои *(франц.)*.
[2] дурной тон (от *франц.* mauvais ton).

ний и неприятностей. Кузину еще, пожалуй, можно было похерить, визиты же к дяде и Плевкову были неизбежны. У дяди я брал деньги на свадебные расходы, Плевкову был должен за мебель.

— Сейчас, душончик,— стал я подъезжать к своей супруге,— мы приедем к моему дяде Пупкину. Человек старинного дворянского рода... дядя у него викарием в какой-то епархии, но оригинал и живет по-свински; то есть не викарий живет по-свински, а он сам, Пупкин... Везу тебя, чтобы дать тебе случай посмеяться... Болван ужасный...

Карета остановилась около маленького, трехоконного домика с серыми, заржавленными ставнями. Мы вышли из кареты и позвонили... Послышался громкий собачий лай, за лаем внушительное: «Цыц, проклятая!» — визг, возня за дверью... После долгой возни дверь отворилась, и мы вошли в переднюю... Нас встретила моя кузина Маша, маленькая девочка в материнской кофте и с запачканным носом. Я сделал вид, что не узнал ее, и пошел к вешалке, на которой рядом с дядюшкиной лисьей шубой висели чьи-то панталоны и накрахмаленная юбка. Снимая калоши, я робко заглянул в залу. Там за столом сидел мой дядюшка в халате и в туфлях на босую ногу. Надежда не застать его дома обратилась во прах... Прищурив глаза и сопя на весь дом, он вынимал проволокой из водочного графина апельсинные корки. Вид имел он озабоченный и сосредоточенный, словно телефон выдумывал. Мы вошли... Увидав нас, Пупкин застыдился, выронил из рук проволоку и, подобрав полы халата, опрометью выбежал из залы...

— Я сейчас! — крикнул он.

— Ударился в бегство...— засмеялся я, сгорая со стыда и боясь взглянуть на жену.— Не правда ли, Соня, смешно? Оригинал страшный... А погляди, какая мебель! Стол о трех ножках, паралличное фортепиано, часы с кукушкой... Можно подумать, что здесь не люди живут, а мамонты...

— Это что нарисовано? — спросила жена, рассматривая картины, висевшие вперемежку с фотографическими карточками.

— Это старец Серафим в Саровской пустыни медведя кормит... А это портрет викария, когда он еще был инспектором семинарии... Видишь, Анну имеет... Личность почтенная... Я... (я высморкался).

Но ничего мне не было так совестно, как запаха... Пахло водкой, прокисшими апельсинами, скипидаром, которым дядя спасался от моли, кофейной гущей, что, в общем, давало пронзительную кислятину... Вошел мой кузен Митя, маленький гимназистик с большими, оттопыренными ушами, и шаркнул ножкой... Подобрав апельсинные корки, он взял с дивана подушку, смахнул рукавом пыль с фортепиано и вышел... Очевидно, его прислали «прибрать»...

— А вот и я! — заговорил наконец дядя, входя и застегивая жилетку.— А вот и я! Очень рад... весьма! Садитесь, пожалуйста! Только не садитесь на диван: задняя ножка сломана. Садись, Сеня!

Мы сели... Наступило молчание, во время которого Пупкин поглаживал себя по колену, а я старался не глядеть на жену и конфузился.

— Мда...— начал дядя, закуривая сигару (при гостях он всегда курит сигары).— Женился ты, стало быть... Так-с... С одной стороны, это хорошо... Милое существо около, любовь, романсы; с другой же стороны, как пойдут дети, так пуще волка взвоешь! Одному сапоги, другому штанишки, за третьего в гимназию платить надо... и не приведи бог! У меня, слава богу, жена половину мертвых рожала.

— Как ваше здоровье? — спросил я, желая переменить разговор.

— Плохо, брат! Намедни весь день провалялся... Грудь ломит, озноб, жар... Жена говорит: прими хинины и не раздражайся... А как тут не раздражаться? С утра приказал почистить снег у крыльца, и хоть бы тебе кто! Ни одна шельма ни с места... Не могу же я сам чистить! Я человек болезненный, слабый... Во мне скрытый геморрой ходит.

Я сконфузился и начал громко сморкаться.

— Или, может быть, у меня это от бани...— продолжал дядя, задумчиво глядя на окно.— Может быть! Был я, знаешь, в четверг в бане... часа три

парился. А от пару геморрой еще пуще разыгрывается... Доктора говорят, что баня для здоровья нехорошо... Это, сударыня, неправильно... Я сызмальства привык, потому — у меня отец в Киеве на Крещатике баню держал... Бывало, целый день паришься... Благо не платить...

Мне стало невыносимо совестно. Я поднялся и, заикаясь, начал прощаться.

— Куда же это так? — удивился дядя, хватая меня за рукав.— Сейчас тетка выйдет! Закусим чем бог послал, наливочки выпьем!.. Солонинка есть, Митя за колбасой побежал... Экие вы, право, церемонные! Загордился, Сеня! Нехорошо! Венчальное платье не у Глаши заказал! Моя дочь, сударыня, белошвейную держит... Шила вам, я знаю, мадам Степанид, да нешто Степанидка с нами сравняется! Мы бы и дешевле взяли...

Не помню, как я простился с дядей, как добрался до кареты... Я чувствовал, что я уничтожен, оплеван, и ждал каждое мгновение услышать презрительный смех институтки-жены...

«А какой мовежанр [1] ждет нас у Плевкова! — думал я, леденея от ужаса.— Хоть бы скорее отделаться, черт бы их взял совсем! И на мое несчастье — ни одного знакомого генерала! Есть один знакомый полковник в отставке, да и тот портерную держит! Ведь этакий я несчастный!» — Ты, Сонечка,— обратился я к жене плачущим голосом,— извини, что я возил тебя сейчас в тот хлев... Думал дать тебе случай посмеяться, понаблюдать типы... Не моя вина, что вышло так пошло, мерзко... Извиняюсь...

Я робко взглянул на жену и увидал больше, чем мог ожидать при всей моей мнительности. Глаза жены были налиты слезами, на щеках горел румянец не то стыда, не то гнева, руки судорожно щипали бахрому у каретного окна... Меня бросило в жар и передернуло...

«Ну, начинается мой срам!» — подумал я, чувствуя, как наливаются свинцом мои руки и ноги.— Но не

---

[1] дурной тон (от *франц.* mauvais genre).

виноват же я, Соня! — вырвался у меня вопль.— Как, право, глупо с твоей стороны! Свиньи они, моветоны, но ведь не я же произвел их в свои родичи!

— Если тебе не нравятся твои простяки,— всхлипнула Соня, глядя на меня умоляющими глазами,— то мои и подавно не понравятся... Мне совестно, и я никак не решусь тебе высказать... Голубчик, миленький... Сейчас баронесса Шепплинг начнет тебе рассказывать, что мама служила у нее в экономках и что мы с мамой неблагодарные, не благодарим ее за прошлые благодеяния теперь, когда она впала в бедность... Но ты не верь ей, пожалуйста! Эта нахалка любит врать... Клянусь тебе, что к каждому празднику мы посылаем ей голову сахару и фунт чаю!

— Да ты шутишь, Соня! — удивился я, чувствуя, как свинец оставляет мои члены и как по всему телу разливается живительная легкость.— Баронессе голову сахару и фунт чаю!.. Ах!

— А когда увидишь генеральшу Жеребчикову, то не смейся над ней, голубчик! Она такая несчастная! Если она постоянно плачет и заговаривается, то это оттого, что ее обобрал граф Дерзай-Чертовщинов. Она будет жаловаться на свою судьбу и попросит у тебя взаймы; но ты... тово... не давай... Хорошо бы, если б она на себя потратила, а то все равно графу отдаст!

— Мамочка... ангел! — принялся я от восторга обнимать жену.— Зюмбумбунчик мой! Да ведь это сюрприз! Скажи ты мне, что твоя баронесса Шепплинг (через два «п») нагишом по улице ходит, то ты бы меня еще больше разодолжила! Ручку!

И мне вдруг стало жаль, что я отказался у дяди от солонины, не побренчал на его параличном фортепиано, не выпил наливочки... Но тут мне вспомнилось, что у Плевкова подают хороший коньяк и поросенка с хреном.

— Валяй к Плевкову! — крикнул я во все горло вознице.

[ДОНЕСЕНИЕ]

Его благородию г. Приставу 2-го стана

Донесение.

Честь имею донести вашему благородию, что в Михалковской роще близ Старой балки, перейдя мостик, усмотрен мною без всяких признаков жизни повесившийся труп мертвого человека, назвавшийся, как видно из его бумаг, отставным рядовым Степаном Максимовым Качаговым 51 года. Из сумы и прочих рубищ явствует, что он нищий. Кроме веревки никаких последствий на теле не оказалось, вещи же полностию при нем. Причины такого самоубийства мною не обнаружены, но все от водки. Жабровские мужики видали, как он выходил из кабака. Прикажете протокол писать, или вашего благородия дожидаться?

Урядник *Денис Ч.*

Сообщ. *Человек без селезенки.*

БЕЗНАДЕЖНЫЙ

Эскиз

Председатель земской управы Егор Федорыч Шмахин стоял у окна и со злобой барабанил по стеклу пальцами. Медленность, с которой часы и минуты уходили в вечность, приводила его в злобное отчаяние... Два раза ложился он спать и просыпался, раза два принимался обедать, пил раз шесть чай, а день все еще только клонился к вечеру.

Вид, расстилавшийся перед глазами председателя, казался ему серым и скучным. Сквозь голые деревья запущенного сада виднелся крутой, глинистый берег... На пол-аршина ниже его бежала выпущенная на волю река. Она спешила и рвалась, словно боялась, чтобы ее не вернули назад и не заключили опять в ледяные оковы. Изредка на глаза Шмахина попадалась запоздавшая белая льдинка, тоже спешившая без оглядки.

— Сесть бы на эту льдину да куда-нибудь... к черту...

По берегу, понурив голову, широко шагал сторож Андриан с длинной острогой в руках и, то и дело останавливаясь, устремлял свой скучный взор на реку. Около деревьев ходила черная корова и обнюхивала прошлогодние листья... Вся эта маленькая картина, вместе с Шмахиным и его усадьбой, была покрыта, как большой мохнатой шапкой, тяжелыми, неподвижными облаками, но от нее так и веяло весной... Шмахину

же было скучно и душно. Стоял он перед окном, глядел на постылую картину и вспоминал, что под вечер у непременного члена Ряблова составляется винт, что у Марьи Николаевны в этот день празднуется рождение ее Петечки... Поезжай он в одно из этих мест, он и не заметил бы, как прошло бы скучное время... Но как было ехать, если разлившаяся река затопила все дороги и если усадьба была окружена цепью зажор и оврагов, полных воды? Шмахин чувствовал себя, как в тюрьме... Долго стоял он перед окном... Наконец, мысль, что у Ряблова сели уже без него винтить и что у Марьи Николаевны уже сидят за чаем и толкуют про холеру и Герат, стала невыносимой.

— Тьфу! — послал он по адресу погоды, отошел от окна и сел за круглый стол.

На столе около лампы и пепельницы лежал альбом. Шмахин миллион раз уже видел этот альбом, но от скуки притянул его к себе и в миллион первый раз стал рассматривать карточки. Пред его глазами замелькали сестрицы, полинявшие тетеньки, офицер с тонкой талией, бабушка в белом чепце, отец Ефимий с матушкой, какая-то актриса в трико, он сам, покойница жена с болонкой на руках... Взор его на минуту остановился на жене... приподнятые брови, удивленные глаза, тяжелый шиньон, брошка на груди — все это вызвало в нем воспоминания...

— Тьфу!

Часы пробили половину седьмого. Шмахин поднялся с дивана, прошелся из угла в угол и без всякой цели остановился посреди комнаты.

«На станции ежели сидишь и ждешь,— подумал он,— то все-таки надеешься, что вот-вот поезд придет и ты поедешь, а тут и ждать нечего... без конца... хоть вешайся, черрт... Поужинать, что ли? Нет, рано еще, и трескать не хочется... Покурю покуда...»

Идя к жестянке с табаком, он взглянул в угол и на круглом столике заметил шашечную доску.

— Нешто в шашки поиграть? А?

Расставив на доске черные и белые костяшки,

Шмахин сел у круглого столика и стал играть сам с собой. Партнерами были правая и левая руки.

— Ты как пошел... Гм... Постой, братец... А я этак! Лладно-с... увидим-с...

Но левая рука знала, что хочет правая, и скоро сам Шмахин потерял счет в руках и запутался.

— Илюшка! — крикнул он.

Вошел высокий, худой малый в потертом, засаленном сюртуке и в рваных сапогах с барскими голенищами.

— Ты что там делаешь? — спросил барин.

— Ничего-с... на сундуке сижу...

— Поди, в шашки партию сыграем! Садись!

— Что вы-с?..— ухмылялся Илюшка.— Нешто можно-с?..

— Поди, болван! садись!

— Ничего, мы постоим-с...

— Говорят — садись, ну и садись! Ты думаешь, мне приятно, ежели ты будешь дубиной торчать?

Илюшка, нерешительно и продолжая ухмыляться, сел на край стула и застенчиво замигал глазами.

— Ходи!

Илюшка подумал и сделал мизинцем первый ход.

— Вы так пошли...— задумался Шмахин, прикрывая рукой подбородок.— Так-с... Ну, а я этак! Ходи, тля!

Илюшка сделал другой ход.

— Тэк-с... Понимаем, куда ты, харя, лезешь... Понимаем... Как, однако, от тебя луком воняет! Ты этак, а я... этак!

Игра затянулась... Шмахину повезло на первых же порах... он брал шашку за шашкой и лез уже в дамки, но соображать и вникать в игру мешала ему одна неотступная мысль...

«Приятно вести борьбу и победить человека равного,— думал он,— человека, который в общественном смысле стоит с тобой на одной точке... А какой мне интерес Илюшку побеждать? Победишь его или не победишь — один черт: никакого удовольствия... О, взял шашку и улыбается! Приятно барина обыгры-

вать! Еще бы! Луком воняет, а небось рад старшему напакостить!» — Пошел вон! — крикнул Шмахин.

— Чево-с?

— Пошел вон!! — крикнул Шмахин багровея.— Расселся тут, тварь этакая!

Илюшка выронил из рук шашку, удивленно поглядел на барина и, пятясь назад, вышел из гостиной. Шмахин взглянул на часы: было только без десяти семь... До ужина и до ночи оставалось еще часов пять... В окна застучали крупные дождевые капли... В саду хрипло и тоскливо промычала черная корова, а шум бегущей реки был так же монотонен и меланхоличен, как и час тому назад. Шмахин махнул рукой и, толкаясь о дверные косяки, поплелся без всякой цели в свой кабинет.

«Боже мой! — думал он.— Другие, ежели скучно, выпиливают, спиритизмом занимаются, мужиков касторкой лечат, дневники пишут, а один я такой несчастный, что у меня нет никакого таланта... Ну, что мне сейчас делать? Что? Председатель я земской управы, почетный мировой судья, сельский хозяин и... все-таки не найду, чем убить время... Разве почитать что-нибудь?»

Шмахин подошел к этажерке, заваленной книжным хламом. Тут были всевозможные судебные указатели, путеводители, растрепанный, но не обрезанный еще журнал «Садоводство», поваренная книга, проповеди, старые журналы... Шмахин нерешительно потянул к себе номер «Современника» 1859 года и начал его перелистывать...

— «Дворянское гнездо»... Чье это? Ага! Тургенева! Читал... Помню... Забыл, в чем тут дело, стало быть еще раз можно почитать... Тургенев отлично пишет... мда...

Шмахин разлегся на софе и стал читать... И его тоскующая душа нашла успокоение в великом писателе. Через десять минут в кабинет вошел на цыпочках Илюшка, подложил под голову барина подушку и снял с его груди раскрытую книгу...

Барин храпел...

КАНИТЕЛЬ

На клиросе стоит дьячок Отлукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная с розового и кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете Цветной Триоди лежат две бумажки. На одной из них написано «о здравии», на другой — «за упокой», и под обоими заглавиями по ряду имен... Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась.

— Дальше кого? — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом.— Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.

— Сейчас, батюшка... Ну, пиши... О здравии рабов божиих: Андрея и Дарьи со чады... Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи...

— Постой, не шибко... Не за зайцем скачешь, успеешь.

— Написал Марию? Ну, таперя Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Герасима, Пантелея... Записал усопшего Пантелея?

— Постой... Пантелей помер?

— Помер...— вздыхает старуха.

— Так как же ты велишь о здравии записывать? — сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку.— Вот тоже еще... Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой?

— За упокой? Сейчас... постой... Ну, пиши... Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора... Запиши... воина Захара... Как пошел на службу в четвертом годе, так с той поры и не слыхать...

— Стало быть, он помер?

— А кто ж его знает! Может, помер, а может, и жив... Ты пиши...

— Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии. Пойми вот вашего брата!

— Гм!.. Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его ни записывай: непутящий человек... пропащий... Записал? Таперя за упокой Марка, Левонтия, Арину... ну, и Кузьму с Анной... болящую Федосью...

— Болящую-то Федосью за упокой? Тю!

— Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?

— Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего в заупокой лезть! Путаешь тут! Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать... всю бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе прочту... О здравии Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новопреставленного младенца Гер... Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новопреставленный, и вдруг — о здравии! Нет, запутала ты меня, убогая! Бог с тобой, совсем запутала!

Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел.

— Слушай! О здравии Марии, Кирилла, воина Захарии... Кого еще?

— Авдотью записал?

— Авдотью? Гм... Авдотью... Евдокию...— пересматривает дьячок обе бумажки.— Помню, записывал ее, а теперь, шут ее знает... никак не найдешь... Вот она! За упокой записана!

— Авдотью-то за упокой? — удивляется старуха.— Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь!.. Сам вот, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши, а коли

будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает...

— Постой, не мешай...

Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листке Авдотью. Перо на букве «д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.

— Авдотью, стало быть, долой отсюда...— бормочет он смущенно,— а записать ее туда... Так? Постой... Ежели ее туда, то будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой... Совсем запутала баба! И этот еще воин Захария встрял сюда... Шут его принес... Ничего не разберу! Надо сызнова...

Дьячок лезет в шкафчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.

— Выкинь Захарию, коли так...— гоьорит старуха.— Уж бог с ним, выкинь...

— Молчи!

Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок.

— Я их всех гуртом запишу,— говорит он,— а ты неси к отцу дьякону... Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый; он в семинарии обучался, а я этих самых делов... хоть убей, ничего не понимаю.

Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит к алтарю.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!

Покушающимся на самоубийство

Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным — все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже». А это нетрудно:

Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб.

Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя восклицай: «Хорошо, что это не городовые!»

Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!»

Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов или кошачий концерт.

Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская «запятая», не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп... Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный... Радуйся, что в данную минуту ты не си-

дишь на скамье подсудимых, не видишь пред собой кредитора и не беседуешь о гонораре с Турбой.

Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь отдаленные?

Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все зубы.

Радуйся, что ты имеешь возможность не читать «Гражданина», не сидеть на ассенизационной бочке, не быть женатым сразу на трех...

Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную.

Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой!»

Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.

И так далее... Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования.

НА ГУЛЯНЬЕ В СОКОЛЬНИКАХ

День 1 мая клонился к вечеру. Шепот сокольницких сосен и пение птиц заглушены шумом экипажей, говором и музыкой. Гулянье в разгаре. За одним из чайных столов Старого Гулянья сидит парочка: мужчина в лоснящемся цилиндре и дама в голубой шляпке. Пред ними на столе кипящий самовар, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порезанная колбаса, апельсинные корки и проч. Мужчина пьян жестоко... Он сосредоточенно глядит на апельсинную корку и бессмысленно улыбается.

— Натрескался, идол! — бормочет дама сердито, конфузливо озираясь.— Ты бы, прежде чем пить, рассудил бы, бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям противно на тебя глядеть, ты и себе самому всякое удовольствие испортил. Пьешь, например, чай, а какой у тебя теперь вкус? Для тебя теперь что мармелад, что колбаса — все равно... А я-то старалась, брала чего бы получше...

Бессмысленная улыбка на лице мужчины сменяется выражением крайней скорби.

— М-маша, куда это людей ведут?

— Никуда их не ведут, а они сами гуляют.

— А зачем городовой идет?

— Городовой? Для порядка, а может быть, и гуляет... Эка, до чего допился, уж ничего не смыслит!

— Я... я ничего... Я художник... жанрист...

— Молчи! Натрескался, ну и молчи... Ты, чем бормотать, рассуди лучше... Кругом деревья зеленые, травка, птички на разные голоса... А ты без внимания, словно тебя и нет тут... Глядишь, и как в тумане... Художники норовят теперь природу подмечать, а ты — как зюзя...

— Природа...— говорит мужчина и крутит головой.— Пр-рирода... Птички поют... крокодилы ползают... львы... тигры...

— Мели, мели... Все люди как люди... под ручку гуляют, музыку слушают, один ты в безобразии. И когда это ты успел? Как это я не доглядела?

— М-маша,— бормочет цилиндр бледнея.— Скорей...

— Чего тебе?

— Домой желаю... Скорей...

— Погоди... Потемнеет, тогда и пойдем, а теперь совестно идти: качаться будешь... Люди смеяться станут... Сиди и жди...

— Н-не могу! Я... я домой...

Мужчина быстро поднимается и, качаясь, выходит из-за стола. Публика, сидящая на других столах, начинает посмеиваться... Дама конфузится...

— Убей меня бог, ежели еще хоть раз с тобой пойду,— бормочет она, поддерживая мужчину.— Один срам только... Добро бы законный был, а то так... с ветру...

— М-маша, где мы?

— Молчи! Постыдился бы, все люди пальцами показывают. Тебе-то как с гуся вода, а мне-то каково? Добро бы законный был, а то... так... Даст рубль и месяц попрекает: «Я тебя кормлю! Я тебя содержу!» Очень мне нужно! Да плевать я хотела на твои деньги! Возьму и уйду к Павлу Иванычу...

— М-маша... домой... Извозчика найми...

— Ну, иди... Ступай по аллее прямо, а я пойду в сторонке... Мне с тобой совестно идти... Иди прямо!

Дама ставит своего «незаконного» лицом к выходу и дает ему легкий толчок в спину. Мужчина подается вперед и, покачиваясь, толкаясь о проходящих и скамьи, спешит вперед... Дама идет позади

и следит за его движениями. Она сконфужена и встревожена.

— Палочек, сударь, не желаете ли? — обращается к шагающему мужчине человек с вязанкой палок и тростей.— Самые лучшие... перцовые... бамбук-с...

Мужчина глупо глядит на продавца палок, потом поворачивает назад и мчится в противоположную сторону. На лице у него выражение ужаса.

— Куда это тебя нелегкая несет? — останавливает его дама, хватая за рукав.— Ну, куда?

— Где Маша?.. М-маша ушла...

— А я-то кто?..

Дама берет под руку мужчину и ведет его к выходу. Ей совестно.

— Убей меня бог, ежели хоть еще раз с тобой пойду...— бормочет она, вся красная от стыда.— Последний раз терплю такой срам... Накажи меня бог... Завтра же уйду к Павлу Иванычу!

Дама робко поднимает глаза на публику, в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами. И ей становится легче.

Я и помещик, отставной штаб-ротмистр Докукин, у которого я гостил весною, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных креслах и лениво глядели в окно. Скука была ужасная.

— Тьфу! — бормотал Докукин.— Такая тоска, что судебному приставу рад будешь!

«Спать улечься, что ли?» — думал я.

И думали мы на тему о скуке долго, очень долго, до тех пор, пока сквозь давно не мытые, отливавшие радугой оконные стекла не заметили маленькой перемены, происшедшей в круговороте вселенной: петух, стоявший около ворот на куче прошлогодней листвы и поднимавший то одну ногу, то другую (ему хотелось поднять обе ноги разом), вдруг встрепенулся и, как ужаленный, бросился от ворот в сторону.

— Кто-то идет или едет...— улыбнулся Докукин.— Хоть бы гостей нелегкая принесла. Все-таки повеселей бы...

Петух не обманул нас. В воротах показалась сначала лошадиная голова с зеленой дугой, затем целая лошадь и, наконец, темная, тяжелая бричка с большими безобразными крыльями, напоминавшими крылья жука, когда последний собирается лететь. Бричка въехала во двор, неуклюже повернула налево и с визгом и тарахтеньем покатила к конюшне. В ней сидели две человеческие фигуры: одна женская, другая, поменьше,— мужская.

— Черт возьми...— пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почесывая висок.—

Не было печали, так вот черти накачали. Недаром я сегодня во сне печь видел.

— А что? Кто это приехал?

— Сестрица с мужем, чтоб их...

Докукин поднялся и нервно прошелся по комнате.

— Даже под сердцем похолодело...— проворчал он.— Грешно не иметь к родной сестре родственных чувств, но — верите ли? — легче мне с разбойничьим атаманом в лесу встретиться, чем с нею. Не спрятаться ли нам? Пусть Тимошка соврет, что мы на съезд уехали.

Докукин стал громко звать Тимошку. Но поздно было лгать и прятаться. Через минуту в передней послышалось шушуканье: женский бас шептался с мужским тенорком.

— Поправь мне внизу оборку! — говорил женский бас.— Опять ты не те брюки надел?

— Синие брюки вы дяденьке Василию Антипычу отдали-с, а пестрые приказали мне до зимы спрятать,— оправдывался тенорок.— Шаль за вами нести, или тут прикажете оставить?

Дверь наконец отворилась, и в комнату вошла дама лет сорока, высокая, полная, рассыпчатая, в шелковом голубом платье. На ее краснощеком, весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу как-то почувствовал, почему ее так не любит Докукин. Вслед за полной дамой семенил маленький, худенький человечек, в пестром сюртучке, широких панталонах и бархатной жилетке,— узкоплечий, бритый, с красным носиком. На его жилетке болталась золотая цепочка, похожая на цепь от лампадки. В его одежде, движениях, носике, во всей его нескладной фигуре сквозило что-то рабски-приниженное, пришибленное... Барыня вошла и, как бы не замечая нас, направилась к иконам и стала креститься.

— Крестись! — обернулась она к мужу.

Человечек с красным носиком вздрогнул и начал креститься.

— Здравствуй, сестра! — сказал Докукин, обращаясь к даме, когда та кончила молиться, и вздохнул.

Дама солидно улыбнулась и потянула свои губы к губам Докукина.

Человечек тоже полез целоваться.

— Позвольте представить... Моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина... Ее муж Досифей Андреич. А это мой хороший знакомый...

— Очень рада,— сказала протяжно Олимпиада Егоровна, не подавая мне руки.— Очень рада...

Мы сели и минуту помолчали.

— Чай, не ждал гостей? — начала Олимпиада Егоровна, обращаясь к Докукину.— Я и сама не думала быть у тебя, братец, да вот к предводителю еду, так мимоездом...

— А зачем к предводителю едешь? — спросил Докукин.

— Зачем? Да вот на него жаловаться! — кивнула дама на своего мужа.

Досифей Андреич потупил глазки, поджал ноги под стул и конфузливо кашлянул в кулак.

— За что же на него жаловаться?

Олимпиада Егоровна вздохнула.

— Звание свое забывает! — сказала она.— Что ж? Жалилась я и тебе, братец, и его родителям, и к отцу Григорию его возила, чтоб наставление ему прочел, и сама всякие меры принимала, ничего же не вышло! Поневоле приходится господина предводителя беспокоить...

— Но что же он сделал такое?

— Ничего не сделал, а звания своего не помнит! Он, положим, не пьющий, смиренный, уважительный, но что с того толку, ежели он не помнит своего звания! Погляди-ка, сгорбившись сидит, словно проситель какой или разночинец. Нешто дворяне так сидят? Сиди как следует! Слышишь?

Досифей Андреич вытянул шею, поднял вверх подбородок, вероятно для того, чтобы сесть как следует, и пугливо, исподлобья поглядел на жену. Так глядят маленькие дети, когда бывают виноваты. Видя, что разговор принимает характер интимный, семейный, я поднялся, чтобы выйти. Хлыкина заметила мое движение.

— Ничего, сидите! — остановила она меня.— Молодым людям полезно это слушать. Хоть мы и не ученые, но больше вас пожили. Дай бог всем так пожить, как мы жили... А мы, братец, уж у вас и пообедаем заодно,— повернулась Хлыкина к брату.— Но небось сегодня у вас скоромное готовили. Чай, ты и не помнишь, что нынче среда...— Она вздохнула.— Нам уж прикажи постное изготовить. Скоромного мы есть не станем, это как тебе угодно, братец.

Докукин позвал Тимошку и заказал постный обед.

— Пообедаем и к предводителю...— продолжала Хлыкина.— Буду его молить, чтоб он обратил внимание. Его дело глядеть, чтоб дворяне с панталыку не сбивались...

— Да нешто Досифей сбился? — спросил Докукин.

— Словно ты в первый раз слышишь,— нахмурилась Хлыкина.— И то, правду сказать, тебе все равно... Ты-то и сам не слишком свое звание помнишь... А вот мы господина молодого человека спросим. Молодой человек,— обратилась она ко мне,— по-вашему, это хорошо, ежели благородный человек со всякою шушвалью компанию водит?

— Смотря с кем...— замялся я.

— Да хоть бы с купцом Гусевым. Я этого Гусева и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет да закусывать к нему ходит. Нешто прилично ему с писарем на охоту ходить? О чем он может с писарем разговаривать? Писарь не только что разговаривать, пискнуть при нем не смей, ежели желаете знать, милостивый государь!

— Характер у меня слабый...— прошептал Досифей Андреич.

— А вот я покажу тебе характер! — погрозила ему жена, сердито стуча перстнем о спинку стула.— Я не дозволю тебе нашу фамилию конфузить! Хоть ты и муж мне, а я тебя осрамлю! Ты должен понимать! Я тебя в люди вывела! Ихний род Хлыкиных, сударь, захудалый род, и ежели я, Докукина урожденная, вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать! Он мне, сударь, не дешево стоит, ежели желаете знать! Что мне стоило его на службу определить!

Спросите-ка у него! Ежели желаете знать, так мне один только его экзамен на первый чин триста рубликов стоил! А из-за чего хлопочу? Ты думаешь, тетеря, я из-за тебя хлопочу? Не думай! Мне фамилия рода нашего дорога! Ежели б не фамилия, так ты у меня давно бы на кухне сгнил, ежели желаешь знать!

Бедный Досифей Андреич слушал, молчал и только пожимался, не знаю отчего — от страха или срама. И за обедом не оставляла его в покое строгая супруга. Она не спускала с него глаз и следила за каждым его движением.

— Посоли себе суп! Не так ложку держишь! Отодвинь от себя салатник, а то рукавом зацепишь! Не мигай глазами!

А он торопливо ел и ежился под ее взглядом, как кролик под взглядом удава. Ел он с женой постное и то и дело взглядывал с вожделением на наши котлетки.

— Молись! — сказала ему жена после обеда.— Благодари братца.

Пообедав, Хлыкина пошла в спальню отдохнуть. По уходе ее Докукин схватил себя за волосы и заходил по комнате.

— Ну, да и несчастный же ты, братец, человек! — сказал он Досифею, тяжело переводя дух.— Я час посидел с ней — замучился; каково же тебе-то с ней дни и ночи... ах! Мученик ты, мученик несчастный! Младенец ты вифлеемский, Иродом убиенный!

Досифей замигал глазками и проговорил:

— Строги они, это действительно-с, но должен я за них денно и нощно бога молить, потому — кроме благодеяний и любви, я от них ничего не вижу.

— Пропащий человек! — махнул рукой Докукин.— А когда-то речи в собраниях говорил, новую сеялку изобретал! Заездила ведьма человека! Эхх!

— Досифей! — послышался женский бас.— Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй!

Досифей Андреич вздрогнул и на цыпочках побежал в спальню...

— Тьфу! — плюнул ему вслед Докукин.

— Послушайте, милейший! — набросилась на хозяина багровая и брызжущая жилица 47-го номера, полковница Нашатырина.— Или дайте мне другой номер, или же я совсем уеду из ваших проклятых номеров! Это вертеп! Помилуйте, у меня дочери взрослые, а тут день и ночь одни только мерзости слышишь! На что это похоже? День и ночь! Иной раз он такое выпалит, что просто уши вянут! Просто как извозчик! Хорошо еще, что мои бедные девочки ничего не понимают, а то хоть на улицу с ними беги... Он и сейчас что-то говорит! Вы послушайте!

— Я, братец ты мой, еще лучше случай знаю,— донесся хриплый бас из соседнего номера.— Помнишь ты поручика Дружкова? Так вот этот самый Дружков делает однажды клопштосом желтого в угол и, по обыкновению, знаешь, высоко ногу задрал... Вдруг что-то: трррес! Думали сначала, что он на бильярде сукно порвал, а как поглядели, братец ты мой, у него Соединенные Штаты по всем швам! Так высоко задрал, бестия, ногу, что ни одного шва не осталось... Ха-ха-ха. А тут в это время дамы были... между прочим, жена этой слюни — подпоручика Окурина... Окурин взбеленился... Как он, мол, смеет вести себя неприлично при его жене? Слово за слово... знаешь ведь наших!.. Посылает Окурин к Дружкову секундантов, а Дружков не будь глуп и скажи... ха-ха-ха... и скажи: «Пусть он посылает не ко мне, а к портному,

который шил мне эти штаны. Он ведь виноват!» — Ха-ха-ха... Ха-ха-ха!

Лиля и Мила, дочки полковницы, сидевшие у окна и подпиравшие кулаками пухлые щеки, потупили заплывшие глазки и вспыхнули.

— Теперь вы слышали? — продолжала Нашатырина, обращаясь к хозяину.— И это, по-вашему, ничего? Я, милостивый государь, полковница! Муж мой воинским начальником! Я не позволю, чтобы почти в моем присутствии какой-нибудь извозчик говорил такие мерзости!

— Он, сударыня, не извозчик, а штабс-капитан Кикин... Из благородных-с.

— Если он забыл свое благородство до такой степени, что выражается, как извозчик, то он заслуживает еще большего презрения! Одним словом, не рассуждайте, а извольте принять меры!

— Но что же я могу сделать, сударыня? Не вы одни жалуетесь, все жалуются — да что же я с ним сделаю? Придешь к нему в номер и начнешь стыдить: «Ганнибал Иваныч! Бога побойтесь! Совестно!» — а он сейчас к лицу с кулаками и разные слова: «Накося выкуси» — и прочее. Безобразие! Проснется утром и давай ходить по коридору в одном, извините, нижнем. А то вот возьмет револьвер в пьяном виде и давай садить пули в стену. Днем винище трескает, ночью в карты режется... А после карт драка... От жильцов совестно!

— Что же вы не откажете этому негодяю?

— Да нешто выкуришь этакого? Задолжал за три месяца, уж мы и денег не просим, уходи только, сделай милость... Мировой присудил ему номер очистить, а он и на апелляцию, и на кассацию, да так и тянет... Горе, да и только! Господи, а человек-то какой! Молодой, красивый, умственный... Когда не выпивши, лучше и человека не надо. Намедни пьян не был и весь день родителям письма писал.

— Бедные родители! — вздохнула полковница.

— Известно, бедные! Нешто приятно иметь такого лодыря? И ругают его, и из номеров гонят, и нет того дня, чтоб за скандалы не судился. Горе!

— Бедная, несчастная жена! — вздохнула полковница.

— Он, сударыня, не женат. Где уж ему! Была бы цела одна голова — и за то благодарить бога...

Полковница прошлась из угла в угол.

— Не женатый, вы говорите? — спросила она.

— Никак нет, сударыня.

Полковница опять прошлась из угла в угол и подумала немного.

— Гм!.. Не женат...— проговорила она в раздумье.— Гм!.. Лиля и Мила, не сидите у окна — сквозит! Как жаль! Молодой человек и так себя распустил! А все отчего? Влияния хорошего нет! Нет матери, которая бы... Не женат? Ну вот... так и есть... Пожалуйста, будьте так добры,— продолжала полковница мягко, подумав,— сходите к нему и от моего имени попросите, чтобы он... воздержался от выражений... Скажите, полковница Нашатырина просила... С дочерями, скажите, в сорок седьмом номере живет... из своего имения приехала...

— Слушаю-с.

— Так и скажите: полковница с дочерями. Пусть хоть придет извиниться... Мы после обеда всегда дома. Ах, Мила, закрой окно!

— Ну на что вам, мама, сдался этот... забулдыга? — протянула Лиля по уходе хозяина.— Нашли кого приглашать! Пьяница, буян, оборванец!

— Ах, не говори, ma chère... [1] Вы вечно так говорите, ну и... сидите вот! Что ж? Какой бы он ни был, а все же пренебрегать не следует... Всяк злак на пользу человека. Кто знает? — вздохнула полковница, заботливо оглядывая дочерей.— Может быть, тут ваша судьба. Оденьтесь же на всякий случай...

---

[1] моя милая *(франц.)*.

ДИПЛОМАТ

Сцена

Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух.

— Как же теперь быть-то? — начали совещаться родственники и знакомые.— Надо бы мужа уведомить. Он хоть не жил с нею, но все-таки любил покойницу. Намеднись приезжал к ней, на коленках ползал и все: «Анночка! Когда же наконец ты простишь мне увлечение минуты?» И все в таком, знаете, роде. Надо дать знать...

— Аристарх Иваныч! — обратилась заплаканная тетенька к полковнику Пискареву, принимавшему участие в родственном совещании.— Вы друг Михаилу Петровичу. Сделайте милость, съездите к нему в правление и дайте ему знать о таком несчастье!.. Только вы, голубчик, не сразу, не оглоушьте, а то как бы и с ним чего не случилось. Болезненный. Вы подготовьте его сначала, а потом уж...

Полковник Пискарев надел фуражку и отправился в правление дороги, где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса.

— Михайлу Петровичу...— начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот.— Здорово, голубчик! Да и пыль же на улицах, прости господи! Пиши, пиши... Я мешать не стану... Посижу и уйду... Шел, знаешь, мимо и думаю: а ведь здесь Миша служит! Дай зайду! Кстати же и тово... дельце есть...

— Посидите, Аристарх Иваныч... Погодите... Я через четверть часика кончу, тогда и потолкуем...

— Пиши, пиши... Я ведь так только, гуляючи... Два словечка скажу и — айда!

Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал у себя за воротником и продолжал:

— Душно у вас здесь, а на улице чистый рай... Солнышко, ветерочек этакий, знаешь ли... птички... Весна! Иду себе по бульвару, и так мне, знаешь ли, хорошо!.. Человек я независимый, вдовый... Куда хочу, туда и иду... Хочу — в портерную зайду, хочу — на конке взад и вперед проедусь, и никто не смеет меня остановить, никто за мной дома не воет... Нет, брат, и лучше житья, как на холостом положении. Вольно! Свободно! Дышишь и чувствуешь, что дышишь! Приду сейчас домой, и никаких... Никто не посмеет спросить, куда ходил!. Сам себе хозяин... Многие, братец ты мой, хвалят семейную жизнь, по-моему же она хуже каторги... Моды эти, турнюры, сплетни, визг... то и дело гости... детишки один за другим так и ползут на свет божий... расходы... Тьфу!

— Я сейчас,— проговорил Кувалдин, берясь за перо.— Кончу и тогда...

— Пиши, пиши... Хорошо, если жена попадется не дьяволица, ну а ежели сатана в юбке? Ежели такая, что по целым дням стрекозит да зудит?.. Взвоешь! Взять хоть тебя к примеру... Пока холост был, на человека похож был, а как женился на своей, и захирел, в меланхолию ударился... Осрамила она тебя на весь город... из дому прогнала... Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего...

— В нашем разрыве я виноват, а не она,— вздохнул Кувалдин.

— Оставь, пожалуйста! Знаю я ее! Злющая, своенравная, лукавая! Что ни слово, то жало ядовитое, что ни взгляд, то нож острый... А что в ней, в покойнице, ехидства этого было, так и выразить невозможно!

— То есть как в покойнице? — сделал большие глаза Кувалдин.

— Да нешто я сказал: в покойнице? — спохватился Пискарев краснея.— И вовсе я этого не говорил... Что ты, бог с тобой... Уж и побледнел! Хе-хе... Ухом слушай, а не брюхом!

— Вы были сегодня у Анюты?

— Заходил утром... Лежит... Прислугой помыкает... То ей не так подали, другое... Невыносимая женщина! Не понимаю, за что ты и любишь ее, бог с ней совсем... Дал бы бог, развязала бы она тебя, несчастного... Пожил бы ты на свободе, повеселился... на другой бы оженился... Ну, ну, не буду! Не хмурься! Я ведь так только, по-стариковски... По мне, как знаешь... Хочешь — люби, хочешь — не люби, а я ведь так... добра желаючи... Не живет с тобой, знать тебя не хочет... что ж это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная... И жалеть не за что... Пущай бы...

— Легко вы рассуждаете, Аристарх Иваныч! — вздохнул Кувалдин.— Любовь — не волос, не скоро ее вырвешь.

— Есть за что любить! Акроме ехидства, ты от нее ничего не видел. Ты прости меня, старика, а не любил я ее... Видеть не мог! Еду мимо ее квартиры и глаза закрываю, чтобы не увидеть... Бог с ней! Царство ей небесное, вечный покой, но... не любил, грешный человек!

— Послушайте, Аристарх Иваныч...— побледнел Кувалдин.— Вы уже во второй раз проговариваетесь... Умерла она, что ли?

— То есть кто умерла? Никто не умирал, а только не любил я ее, покойницу... тьфу! то есть не покойницу, а ее... Аннушку-то твою...

— Да она умерла, что ли? Аристарх Иваныч, не мучайте меня! Вы как-то странно возбуждены, путаетесь... холостую жизнь хвалите... Умерла? Да?

— Уж так и умерла! — пробормотал Пискарев, кашляя.— Как ты, брат, все сразу... А хоть бы и умерла! Все помрем, и ей, стало быть, помирать надо... И ты помрешь, и я...

Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами.

— В котором часу? — спросил он тихо.

— Ни в котором... Уж ты и рюмзаешь! Да не умерла она! Кто тебе сказал, что она померла?

— Аристарх Иваныч, я... я прошу вас. Не щадите меня!

— С тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она преставилась? Ведь не говорил? Чего же слюни распускаешь? Поди полюбуйся — живехонька! Когда заходил к ней, с теткой бранилась... Тут отец Матвей панихиду служит, а она на весь дом орет.

— Какую панихиду? Зачем ее служить?

— Панихиду-то? Да так... словно как бы вместо молебствия. То есть... никакой панихиды не было, а что-то такое... ничего не было.

Аристарх Иваныч запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять.

— Кашель у меня, братец... Не знаю, где простудился...

Кувалдин тоже поднялся и нервно заходил около стола.

— Морочаете вы меня,— сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку.— Теперь понятно... все понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия! Почему же сразу не говорить? Умерла ведь?

— Гм... Как тебе сказать? — пожал плечами Пискарев.— Не то чтобы умерла, а так... Ну вот ты уж и плачешь! Все ведь умрем! Не одна она смертная, все на том свете будем! Чем плакать-то при людях, взял бы лучше да помянул! Перекрестился бы!

Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавши в кресло, залился истерическим плачем... Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. Пискарев почесал затылок и нахмурился.

— Комиссия с такими господами, ей-богу! — проворчал он, растопыривая руки.— Ревет.., ну, а отчего ревет, спрашивается? Миша, да ты в своем уме? Миша! — принялся он толкать Кувалдина.— Ведь не умерла же еще! Кто тебе сказал, что она умерла? Напротив, доктора говорят, что есть еще надежда! Миша! А, Миша! Говорю тебе, что не померла! Хо-

чешь, вместе к ней съездим? Как раз и к панихиде поспеем... то есть что я? не к панихиде, а к обеду. Мишенька! уверяю тебя, что еще жива! Накажи меня бог! Лопни мои глаза! Не веришь? В таком разе едем к ней... Назовешь тогда чем хочешь, ежели... И откуда он это выдумал, не понимаю? Сам я сегодня был у покойницы, то есть не у покойницы, а... тьфу!

Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы.

— Ступайте вы к нему сами! — проговорил он в отчаянии.— Сами его подготовляйте к известию, а меня уж избавьте! Не желаю-с! Два слова ему только сказал... Чуть только намекнул, поглядите, что с ним делается! Помирает! Без чувств!.. В другой раз ни за какие коврижки! Сами идите!..

КУЛАЧЬЕ ГНЕЗДО

Вокруг заброшенной барской усадьбы средней руки группируется десятка два деревянных, на живую нитку состроенных дач. На самой высокой и видной из них синеет вывеска «Трактир» и золотится на солнце нарисованный самовар. Вперемежку с красными крышами дач там и сям уныло выглядывают похилившиеся и поросшие ржавым мохом крыши барских конюшен, оранжерей и амбаров.

Майский полдень. В воздухе пахнет постными щами и самоварною гарью. Управляющий Кузьма Федоров, высокий, пожилой мужик в рубахе навыпуск и в сапогах гармоникой, ходит около дач и показывает их дачникам-нанимателям. На лице его написаны тупая лень и равнодушие: будут ли наниматели, или нет, для него решительно все равно. За ним шагают трое: рыжий господин в форме инженера-путейца, тощая дама в интересном положении и девочка-гимназистка.

— Какие, однако, у вас дорогие дачи,— морщится инженер.— Все в четыреста да в триста рублей... ужасно! Вы покажите нам что-нибудь подешевле.

— Есть и подешевле... Из дешевых только две остались... Пожалуйте!

Федор ведет нанимателей через барский сад. Тут торчат пни да редеет жиденький ельник; уцелело одно только высокое дерево — это стройный старик

тополь, пощаженный топором словно для того только, чтобы оплакивать несчастную судьбу своих сверстников. От каменной ограды, беседок и гротов остались одни только следы в виде разбросанных кирпичей, известки и гниющих бревен.

— Как все запущено! — говорит инженер, с грустью поглядывая на следы минувшей роскоши.— А где теперь ваш барин живет?

— Они не барин, а из купцов. В городе меблированные комнаты содержат... Пожалте-с!

Наниматели нагибаются и входят в маленькое каменное строение с тремя решетчатыми, словно острожными окошечками. Их обдает сыростью и запахом гнили. В домике одна квадратная комнатка, переделенная новой тесовой перегородкой на две. Инженер щурит глаза на темные стены и читает на одной из них карандашную надпись: «В сей обители мертвых заполучил меланхолию и покушался на самоубийство поручик Фильдекосов».

— Здесь, ваше благородие, нельзя в шапке стоять,— обращается Федоров к инженеру.

— Почему?

— Нельзя-с. Здесь был склеп, господ хоронили. Ежели которую приподнять доску и под пол поглядеть, то гробы видать.

— Какие новости! — ужасается тощая дама.— Не говоря уж о сырости, тут от одной мнительности умрешь! Не желаю жить с мертвецами!

— Мертвецы, барыня, не тронут-с. Не бродяги какие-нибудь похоронены, а ваш же брат — господа. Прошлым летом здесь, в этом самом склепе, господин военный Фильдекосов жили и остались вполне довольны. Обещались и в этом году приехать, да вот что-то не едут.

— Он на самоубийство покушался? — спросил инженер, вспомнив о надписи на стене.

— А вы откуда знаете? Действительно, это было, сударь. И из-за чего-то вся канитель вышла! Не знал он, что тут под полом, царствие им небесное, покойники лежат, ну и вздумал, значит, раз ночью под половицу четверть водки спрятать. Поднял эту доску,

да как увидал, что там гробы стоят, очумел. Выбежал наружу и давай выть. Всех дачников в сумление ввел. Потом чахнуть начал. Выехать не на что, а жить страшно. Под конец, сударь, не вытерпел, руку на себя наложил. Мое-то счастье, что я с него вперед за дачу сто рублей взял, а то так бы и уехал, пожалуй, от перепугу. Пока лежал да лечился, попривык... ничего... Опять обещался приехать: «Я, говорит, такие приключения смерть как люблю!» Чудак!

— Нет, уж вы нам другую дачу покажите.

— Извольте-с. Еще одна есть, только похуже-с.

Кузьма ведет дачников в сторону от усадьбы, к месту, где высится оборванная клуня... За клуней блестит поросший травою пруд и темнеют господские сараи.

— Здесь можно рыбу ловить? — спрашивает инженер.

— Сколько угодно-с... Пять рублей за сезон заплатите и ловите себе на здоровье. То есть удочкой в реке можно, а ежели пожелаете в пруду карасей ловить, то тут особая плата.

— Рыба пустяки,— замечает дама,— и без нее можно обойтись. А вот насчет провизии. Крестьяне носят сюда молоко?

— Крестьянам сюда не велено ходить, сударыня. Дачники провизию обязаны у нас на ферме забирать. Такое уж условие делаем. Мы недорого берем-с. Молоко четвертак за пару, яйца, как обыкновенно, три гривенника за десяток, масло полтинник... Зелень и овощь разную тоже у нас должны забирать.

— Гм... А грибы у вас есть где собирать?

— Ежели лето дождливое, то и гриб бывает. Собирать можно. Взнесете за сезон шесть рублей с человека и собирайте не только грибы, но даже и ягоды. Это можно-с. К нашему лесу дорога идет через речку. Желаете — вброд пойдете, не желаете — идите через лавы. Всего пятачок стоит через лавы перейтить. Туда пятачок и оттеда пятачок. А ежели которые господа желают охотиться, ружьем побаловаться, то наш хозяин не прекословит. Стреляй, сколько хочешь, только фитанцию при себе имей, что ты десять руб-

лей заплатил. И купанье у нас чудесное. Берег чистенький, на дне песок, глубина всякая: и по колено и по шею. Мы не стесняем. За раз пятачок, а ежели за сезон, то четыре с полтиной. Хоть целый день в воде сиди!

— А соловьи у вас поют? — спрашивает девочка.

— Намеднись за рекой пел один, да сынишка мой поймал, трактирщику продал. Пожалте-с!

Кузьма вводит нанимателей в ветхий сарайчик с новыми окнами. Внутри сарайчик разделен перегородками на три каморки. В двух каморках стоят пустые закрома.

— Нет, куда же тут жить! — заявляет тощая дама, брезгливо оглядывая мрачные стены и закрома.— Это сарай, а не дача. И смотреть нечего, Жорж... Тут, наверное, и течет и дует. Невозможно жить!

— Живут люди! — вздыхает Кузьма.— На бесптичье, как говорится, и кастрюля соловей, а когда нет дач, так и эта в добрую душу сойдет. Не вы наймете, так другие наймут, а уж кто-нибудь да будет в ней жить. По-моему, эта дача для вас самая подходящая, напрасно вы, это самое... супругу свою слушаете. Лучше нигде не найтить. А я бы с вас и взял бы подешевле. Ходит она за полтораста, а я бы сто двадцать взял.

— Нет, милый, не идет. Прощайте, извините, что обеспокоили.

— Ничего-с. Будьте здоровы-с.

И, провожая глазами уходящих дачников, Кузьма кашляет и добавляет:

— На чаек бы следовало с вашей милости. Часа два небось водил. Полтинничка-то уж не пожалейте!

УПРАЗДНИЛИ!

Недавно, во время половодья, помещик, отставной прапорщик Вывертов, угощал заехавшего к нему землемера Катавасова. Выпивали, закусывали и говорили о новостях. Катавасов, как городской житель, обо всем знал: о холере, о войне и даже об увеличении акциза в размере одной копейки на градус. Он говорил, а Вывертов слушал, ахал и каждую новость встречал восклицаниями: «Скажите однако! Ишь ты ведь! Ааа...»

— А отчего вы нынче без погончиков, Семен Антипыч? — полюбопытствовал он между прочим.

Землемер не сразу ответил. Он помолчал, выпил рюмку водки, махнул рукой и тогда уже сказал:

— Упразднили!

— Ишь ты! Ааа... Я газет-то не читаю и ничего про это не знаю. Стало быть, нынче гражданское ведомство не носит уже погонов? Скажите однако! А это, знаете ли, отчасти хорошо: солдатики не будут вас с господами офицерами смешивать и честь вам отдавать. Отчасти же, признаться, и не хорошо. Нет уже у вас того вида, сановитости! Нет того благородства!

— Ну, да что! — сказал землемер и махнул рукой.— Внешний вид наружности не составляет важного предмета. В погонах ты или без погонов — это все равно, было бы в тебе звание сохранено. Мы нисколь-

ко не обижаемся. А вот вас так действительно обидели, Павел Игнатьич! Могу посочувствовать.

— То есть как-с? — спросил Вывертов.— Кто же меня может обидеть?

— Я насчет того факта, что вас упразднили. Прапорщик хоть и маленький чин, хоть и ни то ни се, но все же он слуга отечества, офицер... кровь проливал... За что его упразднять?

— То есть... извините, я вас не совсем понимаю-с...— залепетал Вывертов, бледнея и делая большие глаза.— Кто же меня упразднял?

— Да разве вы не слыхали? Был такой указ, чтоб прапорщиков вовсе не было. Чтоб ни одного прапорщика! Чтоб и духу их не было! Да разве вы не слыхали? Всех служащих прапорщиков велено в подпоручики произвести, а вы, отставные, как знаете. Хотите, будьте прапорщиками, а не хотите, так и не надо.

— Гм... Кто же я теперь такой есть?

— А бог вас знает, кто вы. Вы теперь — ничего, недоумение, эфир! Теперь вы и сами не разберете, кто вы такой.

Вывертов хотел спросить что-то, но не смог. Под ложечкой у него похолодело, колени подогнулись, язык не поворачивался. Как жевал колбасу, так она и осталась у него во рту неразжеванной.

— Нехорошо с вами поступили, что и говорить! — сказал землемер и вздохнул.— Все хорошо, но этого мероприятия одобрить не могу. То-то небось теперь в иностранных газетах! А?

— Опять-таки я не понимаю...— выговорил Вывертов.— Ежели я теперь не прапорщик, то кто же я такой? Никто? Нуль? Стало быть, ежели я вас понимаю, мне может теперь всякий сгрубить, может на меня тыкнуть?

— Этого уж я не знаю. Нас же принимают теперь за кондукторов! Намедни начальник движения на здешней дороге идет, знаете ли, в своей инженерной шинели, по-нынешнему, без погонов, а какой-то генерал и кричит: «Кондуктор, скоро ли поезд пойдет?» Вцепились! Скандал! Об этом в газетах нельзя

писать, но ведь... всем известно! Шила в мешке не утаишь!

Вывертов, ошеломленный новостью, уж больше не пил и не ел. Раз попробовал он выпить холодного квасу, чтобы прийти в чувство, но квас остановился поперек горла и — назад.

Проводив землемера, упраздненный прапорщик заходил по всем комнатам и стал думать. Думал, думал и ничего не надумал. Ночью он лежал в постели, вздыхал и тоже думал.

— Да будет тебе мурлыкать! — сказала жена Арина Матвеевна и толкнула его локтем.— Стонет, словно родить собирается! Может быть, это еще и не правда. Ты завтра съезди к кому-нибудь и спроси. Тряпка!

— А вот как останешься без звания и титула, тогда тебе и будет тряпка. Развалилась тут, как белуга, и — тряпка! Не ты небось кровь проливала!

На другой день утром всю ночь не спавший Вывертов запряг своего каурого в бричку и поехал наводить справки. Решил он заехать к кому-нибудь из соседей, а ежели представится надобность, то и к самому предводителю. Проезжая через Ипатьево, он встретился там с протоиереем Пафнутием Амаликитянским. Отец протоиерей шел от церкви к дому и, сердито помахивая жезлом, то и дело оборачивался к шедшему за ним дьячку и бормотал: «Да и дурак же ты, братец! Вот дурак!»

Вывертов вылез из брички и подошел под благословение.

— С праздником вас, отец протоиерей! — поздравил он, целуя руку.— Обедню изволили служить-с?

— Да, литургию.

— Так-с... У всякого свое дело! Вы стадо духовное пасете, мы землю удобряем по мере сил... А отчего вы сегодня без орденов?

Батюшка вместо ответа нахмурился, махнул рукой и зашагал дальше.

— Им запретили! — пояснил дьячок шепотом.

Вывертов проводил глазами сердито шагавшего протоиерея, и сердце его сжалось от горького пред-

чувствия: сообщение, сделанное землемером, казалось теперь близким к истине!

Прежде всего заехал он к соседу майору Ижице, и, когда его бричка въезжала в майорский двор, он увидел картину. Ижица в халате и турецкой феске стоял посреди двора, сердито топал ногами и размахивал руками. Мимо него взад и вперед кучер Филька водил хромавшую лошадь.

— Негодяй! — кипятился майор.— Мошенник! Каналья! Повесить тебя мало, анафему! Афганец! Ах, мое вам почтение! — сказал он, увидев Вывертова.— Очень рад вас видеть. Как вам это понравится? Неделя уж, как ссадил лошади ногу, и молчит, мошенник! Ни слова! Не догляди я сам, пропало бы к черту копыто! А? Каков народец? И его не бить по морде? Не бить? Не бить, я вас спрашиваю?

— Лошадка славная,— сказал Вывертов, подходя к Ижице.— Жалко! Вы, майор, за коновалом пошлите. У меня, майор, на деревне есть отличный коновал!

— Майор...— проворчал Ижица, презрительно улыбаясь.— Майор!.. Не до шуток мне! У меня лошадь заболела, а вы: майор! майор! Точно галка: крр!.. крр!

— Я вас, майор, не понимаю. Нешто можно благородного человека с галкой сравнивать?

— Да какой же я майор? Нешто я майор?

— Кто же вы?

— А черт меня знает, кто я! — сказал Ижица.— Уж больше года как майоров нет. Да вы что же это? Вчера только родились, что ли?

Вывертов с ужасом поглядел на Ижицу и стал отирать с лица пот, предчувствуя что-то очень недоброе.

— Однако позвольте же...— сказал он.— Я вас все-таки не понимаю... Майор ведь чин значительный!

— Да-с!!

— Так как же это? И вы... ничего?

Майор только махнул рукой и начал рассказывать ему, как подлец Филька сшиб лошади копыто, рассказывал длинно и в конце концов даже к самому лицу его поднес больное копыто с гноящейся ссади-

ной и навозным пластырем, но Вывертов не понимал, не чувствовал и глядел на все, как сквозь решетку. Бессознательно он простился, влез в свою бричку и крикнул с отчаянием:

— К предводителю! Живо! Лупи кнутом!

Предводитель, действительный статский советник Ягодышев, жил недалеко. Через какой-нибудь час Вывертов входил уже к нему в кабинет и кланялся. Предводитель сидел на софе и читал «Новое время». Увидев входящего, он кивнул головой и указал на кресло.

— Я, ваше превосходительство,— начал Вывертов,— должен был сначала представиться вам, но, находясь в неведении касательно своего звания, осмеливаюсь прибегнуть к вашему превосходительству за разъяснением...

— Позвольте-с, почтеннейший,— перебил его предводитель.— Прежде всего не называйте меня превосходительством. Прошу-с!

— Что вы-с... Мы люди маленькие...

— Не в том дело-с! Пишут вот... (предводитель ткнул в «Новое время» и проткнул его пальцем) пишут вот, что мы, действительные статские советники, не будем уж более превосходительствами. За достоверное сообщают-с! Что ж? И не нужно, милостивый государь! Не нужно! Не называйте! И не надо!

Ягодышев встал и гордо прошелся по кабинету... Вывертов испустил вздох и уронил на пол фуражку.

«Уж ежели до них добрались,— подумал он,— то о прапорщиках да о майорах и спрашивать нечего. Уйду лучше...»

Вывертов пробормотал что-то и вышел, забыв в кабинете предводителя фуражку. Через два часа он приехал к себе домой бледный, без шапки, с тупым выражением ужаса на лице. Вылезая из брички, он робко взглянул на небо: не упразднили ли уж и солнца? Жена, пораженная его видом, забросала его вопросами, но на все вопросы он отвечал только маханием руки...

Неделю он не пил, не ел, не спал, а как шальной ходил из угла в угол и думал. Лицо его осунулось,

взоры потускнели... Ни с кем он не заговаривал, ни к кому ни за чем не обращался, а когда Арина Матвеевна приставала к нему с вопросами, он только отмахивался рукой и — ни звука... Уж чего только с ним не делали, чтобы привести его в чувство! Поили его бузиной, давали «на внутрь» масла из лампадки, сажали на горячий кирпич, но ничто не помогало — он хирел и отмахивался. Позвали наконец для вразумления отца Пафнутия. Протоиерей полдня бился, объясняя ему, что все теперь клонится не к уничижению, а к возвеличению, но доброе семя его упало на неблагодарную почву. Взял пятерку за труды, да так и уехал, ничего не добившись.

Помолчав неделю, Вывертов как будто бы заговорил.

— Что ж ты молчишь, харя? — набросился он внезапно на казачка Илюшку.— Груби! Издевайся! Тыкай на уничтоженного! Торжествуй!

Сказал это, заплакал и опять замолчал на неделю. Арина Матвеевна решила пустить ему кровь. Приехал фельдшер, выпустил из него две тарелки крови, и от этого словно бы полегчало. На другой день после кровопролития Вывертов подошел к кровати, на которой лежала жена, и сказал:

— Я, Арина, этого так не оставлю. Теперь я на все решился... Чин я свой заслужил, и никто не имеет полного права на него посягать. Я вот что надумал: напишу какому-нибудь высокопоставленному лицу прошение и подпишусь: прапорщик такой-то, пра-порщик... Понимаешь? Назло! Пра-пор-щик... Пускай! Назло!

И эта мысль так понравилась Вывертову, что он просиял и даже попросил есть. Теперь он, озаренный новым решением, ходит по комнатам, язвительно улыбается и мечтает:

— Пра-пор-щик... Назло!

Вот две маленькие были об А. С. Даргомыжском, слышанные мною о нем от одного из его почитателей и хороших знакомых, Вл. П. Б — ва.

Случилось, что Александр Сергеевич и автор «Тарантаса», граф В. А. Соллогуб, по приезде в Москву остановились в одно и то же время на квартире г. Б.

Однажды в сумерках граф лежал на диване и что-то читал, а композитор стоял посреди комнаты и думал думу.

— Послушай, Александр Сергеич,— обратился литератор к композитору,— будь другом, поставь поближе ко мне свечу, а то ничего не видно...

— В данную минуту мне приходится оригинальничать,— сказал Даргомыжский, принимая с комода свечу и ставя ее на столик перед В. А. Соллогубом.— Обыкновенно я ставлю свечи перед образами, теперь же приходится ставить свечу перед образиной...

В одно время мнительному А. С. казалось, что московское отделение Русского музыкального общества с Н. Г. Рубинштейном во главе питает к нему неприязненные чувства, и он стал избегать встреч с директором Общества, а при встречах на мнимую неприязнь отвечал холодом и сухостью. Заметив в приятеле такую перемену, Н. Г. Рубинштейн совершенно поте-

рялся в догадках и в конце концов отнес ее на долю сплетен.

— Что мне делать! — недоумевал он однажды, беседуя с г. Б — ым.— Даргомыжский совсем от рук отбился. Холоден, сентябрем глядит, избегает меня... Что я ему сделал? За что он на меня сердится?

— А ты объяснись с ним,— посоветовал г. Б.

— Где же я могу с ним объясниться? И как? Он бегает меня!

— Погоди, я это устрою. Позову его к себе, а ты придешь и объяснишься с ним... Ты подойди к нему и, знаешь, этак дружески возьми его за руку и скажи: «Дорогой мой, откуда эта холодность? Ведь вы знаете, я вас всегда так любил, так уважал ваш талант...» — и все в таком же роде, потом обойми его и поцелуй... по-дружески... Раскиснет!

Н. Г. Рубинштейн принял этот план целиком... Надо сказать, что покойный А. С. терпеть не мог целоваться с мужчинами.

— С женщиной еще так и сяк,— говаривал он,— с мужчиной же — ну тебя к черту!

Чтобы рассердить А. С. и вывести его из себя, достаточно было кому-либо из представителей непрекрасного пола подкрасться к нему и чмокнуть его в щеку...

— Дурак! — бранился он, вытирая рукавом место поцелуя.— Дурак! Болван!

Свидание было устроено.

— Дорогой мой! — начал Н. Г. Рубинштейн, беря за руку композитора.— Скажите, ради бога, за что вы на меня сердитесь? Что я вам сделал худого? Напротив, я всегда любил вас, уважал ваш талант...

И Н. Г. обнял А. С. и быстро поцеловал его в губы. Каково же было его удивление, когда А. С., вместо того чтобы раскиснуть, вырвался из объятий Н. Г. и, выбегая из комнаты, пустил по адресу директора общества и г. Б — ва внушительного «дурака».

Впоследствии, когда мир был водворен, это свидание, устроенное г. Б. на потеху, долго смешило как Н. Г., так и самого А. С.

БУМАЖНИК

Три странствующих актера Смирнов, Попов и Балабайкин шли в одно прекрасное утро по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они, к великому своему удивлению и удовольствию, увидели в нем двадцать банковых билетов, шесть выигрышных билетов 2-го займа и чек на три тысячи. Первым делом они крикнули «ура», потом же сели на насыпи и стали предаваться восторгам.

— Сколько же это на каждого приходится? — говорил Смирнов, считая деньги.— Батеньки! По пяти тысяч четыреста сорока пяти рублей! Голубчики, да ведь это умрешь от таких денег!

— Не так я за себя рад,— сказал Балабайкин,— как за вас, голубчики мои милые. Не будете вы теперь голодать да босиком ходить. Я за искусство рад... Прежде всего, братцы, поеду в Москву и прямо к Айе: шей ты мне, братец, гардероб... Не хочу пейзанов[1] играть, перейду на амплуа фатов да хлыщей. Куплю цилиндр и шапокляк. Для фатов серый цилиндр.

— Теперь бы на радостях выпить и закусить,— заметил jeune premier[2] Попов.— Ведь мы почти три дня

---

[1] поселян (от *франц.* le paysan).

[2] театральное амплуа первого любовника *(франц.)*.

питались всухомятку, надо бы теперь чего-нибудь этакого... А?..

— Да, недурно бы, голубчики мои милые...— согласился Смирнов.— Денег много, а есть нечего, драгоценные мои. Вот что, миляга Попов, ты из нас самый молодой и легкий, возьми-ка из бумажника рублевку и маршируй за провизией, ангел мой хороший... Воо-оон деревня! Видишь, за курганом белеет церковь? Верст пять будет, не больше... Видишь? Деревня большая, и ты все там найдешь... Купи водки бутылку, фунт колбасы, два хлеба и сельдь, а мы тебя подождем здесь, голубчик, любимый мой...

Попов взял рубль и собрался уходить. Смирнов со слезами на глазах обнял его, поцеловал три раза, перекрестил и назвал его голубчиком, ангелом, душой... Балабайкин тоже обнял и поклялся в вечной дружбе — и только после целого ряда излияний, самых чувствительных, трогательных, Попов спустился с насыпи и направил стопы свои к темневшей вдали деревеньке.

«Ведь этакое счастье! — размышлял он дорогой.— Не было ни гроша, да вдруг алтын. Махну теперь в родную Кострому, соберу труппу и выстрою там свой театр. Впрочем... за пять тысяч нынче и сарая путного не выстроишь. Вот если бы весь бумажник был мой, ну, тогда другое дело... Такой бы театрище закатил, такой, что мое почтение. Собственно говоря, Смирнов и Балабайкин — какие это актеры? Это бездарности, свиньи в ермолке, тупицы... Они деньги на пустяки изведут, а я бы пользу отечеству принес и себя бы обессмертил... Вот что я сделаю... Возьму и положу в водку яду. Они умрут, но зато в Костроме будет театр, какого не знала еще Россия. Кто-то, кажется Мак-Магон, сказал, что цель оправдывает средства, а Мак-Магон был великий человек».

Пока он шел и рассуждал так, спутники его Смирнов и Балабайкин сидели и вели такую речь:

— Наш друг Попов славный малый,— говорил Смирнов со слезами на глазах,— люблю я его, глубоко ценю за талант, влюблен в него, но... знаешь ли? — эти деньги сгубят его... Он или пропьет их, или же

пустится в аферу и свернет себе шею. Он так молод, что ему рано еще иметь свои деньги, голубчик ты мой хороший, родной мой...

— Да,— согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым.— К чему этому мальчишке деньги? Другое дело мы с тобой... Мы люди семейные, положительные... Для нас с тобой лишний рубль многое уж значит... (Пауза.) Знаешь что, брат? Не станем долго разговаривать и сентиментальничать: возьмем да и убьем его!.. Тогда тебе и мне придется по восьми тысяч. Убьем его, а в Москве скажем, что он под поезд попал... Я тоже люблю его, обожаю, но ведь интересы искусства, полагаю, прежде всего. К тому же он бездарен и глуп, как эта шпала.

— Что ты, что?! — испугался Смирнов.— Это такой славный, честный... Хотя, с другой стороны, откровенно говоря, голубчик ты мой, свинья он порядочная, дурррак, интриган, сплетник, пройдоха... Если мы в самом деле убьем его, то он сам же будет благодарить нас, милый ты мой, дорогой... А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем в газетах трогательный некролог. Это будет по-товарищески.

Сказано, сделано... Когда Попов вернулся из деревни с провизией, товарищи обняли его со слезами на глазах, поцеловали, долго уверяли его, что он великий артист, потом вдруг напали на него и убили. Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы... Разделив находку, Смирнов и Балабайкин, растроганные, говоря друг другу ласковые слова, стали закусывать, в полной уверенности, что преступление останется безнаказанным... Но добродетель всегда торжествует, а порок наказывается. Яд, брошенный Поповым в бутылку с водкой, принадлежал к сильно действующим: не успели друзья выпить по другой, как уже бездыханные лежали на шпалах... Через час над ними с карканьем носились вороны.

Мораль: когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной «солидарности», когда они обнимают и целуют вас, то не очень увлекайтесь.

Было не больше шести часов вечера, когда блуждавший по городу поручик Стрекачев, идя мимо большого трехэтажного дома, случайно бросил взгляд на розовые занавески бельэтажа.

— Тут мадам Дуду живет...— вспомнил он.— Давно уж я у нее не был. Не зайти ли?

Но прежде чем решить этот вопрос, Стрекачев вынул из кармана кошелек и робко взглянул в него. Увидел он там один скомканный, пахнущий керосином рубль, пуговицу, две копейки и — больше ничего.

— Мало... Ну, да ничего,— решил он.— Зайду так, посижу немножко.

Через минуту Стрекачев стоял уже в передней и полною грудью вдыхал густой запах духов и глицеринового мыла. Пахло еще чем-то, чего описать нельзя, но что можно обонять в любой женской, так называемой одинокой квартире: смесь женских пачулей с мужской сигарой. На вешалке висело несколько манто, ватерпруфов и один мужской лоснящийся цилиндр. Войдя в залу, поручик увидел то же, что видел он и в прошлом году: пианино с порванными нотами, вазочку с увядающими цветами, пятно на полу от пролитого ликера... Одна дверь вела в гостиную, другая в комнатку, где m-me Дуду спала или играла в пикет с учителем танцев Вронди, старцем, очень похожим на Оффенбаха. Если взглянуть в гостиную, то прямо вид-

на была дверь и из нее выглядывал край кровати с кисейным розовым пологом. Там жили «воспитанницы» m-me Дуду, Барб и Бланш.

В зале никого не было. Поручик направился в гостиную и тут увидел живое существо. За круглым столом, развалясь на диване, сидел какой-то молодой человек с щетинистыми волосами и синими мутными глазами, с холодным потом на лбу и с таким выражением, как будто вылезал из глубокой ямы, в которой ему было и темно и страшно. Одет он был щегольски, в новую триковую пару, которая носила еще на себе следы утюжной выправки; на груди болтался брелок; на ногах лакированные штиблеты с пряжками, красные чулки. Молодой человек подпирал кулаками свои пухлые щеки и тускло глядел на стоявшую перед ним бутылочку зельтерской. Тут же на другом столе было несколько бутылок, тарелка с апельсинами.

Взглянув на вошедшего поручика, франт вытаращил глаза, разинул рот. Удивленный Стрекачев сделал шаг назад... Во франте с трудом узнал он писаря Филенкова, которого он не далее как сегодня утром распекал в канцелярии за безграмотно написанную бумагу, за то, что слово «капуста» он написал так: «копусста».

Филенков медленно поднялся и уперся руками о стол. Минуту он не спускал глаз с лица поручика и даже посинел от внутреннего напряжения.

— Ты как же это сюда попал? — строго спросил у него Стрекачев.

— Я, ваше благородие,— залепетал писарь, потупя взор,— на дне рождения-с... При всеобщей повинной военности, когда всех уравняли, которые...

— Я тебя спрашиваю, как ты сюда попал? — возвысил голос поручик.— И что это за костюм?

— Я, ваше благородие, чувствую свою виновность, но... ежели взять, что при всеобщей повинной... военной всеобщности всех уравняли, и к тому как я все-таки человек образованный, не могу на дне рождения мамзель Барб существовать в форме нижнего чина, то я и надел оный костюм соответственно своему до-

машнему обиходу, как я, значит, потомственный почетный гражданин.

Увидев, что глаза поручика становятся все сердитее, Филенков умолк и нагнул голову, словно ожидая, что его сейчас трахнут по затылку. Поручик раскрыл рот, чтобы произнести «Пошел вон!», но в это время в гостиную вошла блондинка с поднятыми бровями, в капоте ярко-желтого цвета. Узнав поручика, она взвизгнула и бросилась к нему.

— Вася! Офицер!!

Увидев, что Барб (это была одна из воспитанниц m-me Дуду) фамильярна с поручиком, писарь оправился и ожил. Растопырив пальцы, он выскочил из-за стола и замахал руками.

— Ваше благородие! — заговорил он захлебываясь.— Со днем рождения имею честь поздравить любимого существа! В Париже такой не сыщешь! Именно-с! Огонь! Трех сотенных не пожалел, а сшил ей этот капот по случаю дня рождения любимого существа! Ваше благородие, шампанского! За новорожденную!

— А где Бланш? — спросил поручик.

— Сейчас выйдет, ваше благородие! — ответил писарь, хотя вопрос относился не к нему, а к Барб.— Сию минуту! Девица а ля компрене аревуар консоме! Намедни купец из Костромы приезжал, пятьсот отвалил... Легко ли дело, пятьсот! Я тыщу дам, только спервоначалу характер мой уважь! Так ли я рассуждаю? Ваше благородие, пожалуйте-с!

Писарь подал поручику и Барб по стакану шампанского, а сам выпил рюмку водки. Поручик выпил, но тотчас же спохватился.

— Ты, я вижу, позволяешь себе лишнее,— сказал он.— Ступай-ка отсюда и скажи Демьянову, чтобы он тебя посадил на сутки.

— Ваше благородие, да, может, вы думаете, что я какой ни на есть свинья? Так вы думаете? Господи! Да ведь мой папаша потомственный почетный гражданин, орденов кавалер! Меня, ежели желаете знать, генерал крестил. А вы думаете, что я ежели писарь, то уж и свинья?.. Пожалуйте еще стаканчик... шипучеч-

ки... Барб, лупи! Не стесняйся, за все можем заплатить. При современной образованности всех уравняли. Генеральский или купеческий сын идет на службу все равно как мужик. Я, ваше благородие, был и в гимназии, и в реальном, и в коммерческом... Везде выгоняли! Барб, лупи! Бери радужную, посылай за дюжинкой! Ваше благородие, стаканчик!

Вошла m-me Дуду, высокая, полная дама с ястребиным лицом. За ней семенил Вронди, похожий на Оффенбаха. Немного погодя вошла и Бланш, маленькая брюнетка, лет девятнадцати, со строгим лицом и с греческим носом, по-видимому еврейка. Писарь выбросил еще одну радужную.

— Жарь на все! Жги! Позвольте мне эту вазу разбить! От чувств!

Madame Дуду начала рассказывать, что теперь всякая честная девушка может составить себе приличную партию и что девушкам пить неприлично, а если она и позволяет своим девочкам пить, то только потому, что надеется, что мужчины порядочные, а будь мужчины другие, она и сидеть бы им здесь не позволила.

От вина и соседства Бланш у поручика стала кружиться голова, и он забыл о писаре.

— Музыку! — кричал отчаянным голосом писарь.— Подавай музыку! На основании приказа за номером сто двадцатым предлагаю вам танцевать! Ти-ише! — продолжал орать во все горло писарь, думая, что это не он сам кричит, а кто-то другой.— Ти-ише! Я желаю, чтоб танцевали! Вы должны мой характер уважить! Качучу! Качучу!

Барб и Бланш посоветовались с m-me Дуду, старик Вронди сел за пианино. Танец начался. Филенков, топая в такт ногами, следил за движениями четырех женских ног и ржал от удовольствия.

— Рви! Верно! Чувствуй! Отдирай, примерзло!

Немного погодя вся компания поехала в колясках в «Аркадию». Филенков ехал с Барб, поручик с Бланш, Вронди с m-me Дуду. В «Аркадии» заняли стол и потребовали ужин. Тут Филенков до того допился, что охрип и потерял способность махать рука-

К рассказу «Канитель».

Художник В. Бескаравайный. 1959.

ми. Он сидел мрачный и говорил, моргая глазами, как бы собираясь заплакать:

— Кто я? Нешто я человек? Я ворона! Потомственный почетный гражданин...— передразнил он себя.— Ворона ты, а не гра... гражданин.

Поручик, отуманенный вином, почти не замечал его. Раз только, увидев в тумане его пьяную физиономию, он нахмурил брови и сказал:

— Ты, я вижу, позволяешь себе очень...

Но тотчас же потерял способность соображать и чокнулся с ним.

Из «Аркадии» поехали в Крестовский сад. Тут m-me Дуду простилась с молодежью, сказав, что она вполне надеется на порядочность мужчин, и уехала с Вронди. Потом потребовали для освежения кофе с коньяком и ликеров. Потом квасу и водки, и зернистой икры. Писарь вымазал себе лицо икрой и сказал:

— Я теперь араб или вроде как бы нечистый дух.

На другой день утром поручик, чувствуя в голове свинец, а во рту жар и сухость, отправился к себе в канцелярию. Филенков сидел на своем месте в писарской форме и дрожащими руками сшивал какие-то бумаги. Лицо его было сумрачно, не гладко, точно булыжник, щетинистые волосы глядели в разные стороны, глаза слипались... Увидев поручика, он тяжело поднялся, вздохнул и вытянулся во фронт. Поручик, злой и не опохмелившийся, отвернулся и занялся своим делом. Минут десять длилось молчание, но вот глаза его встретились с мутными глазами писаря, и в этих глазах прочел он все: красные занавесочки, раздирательный танец, «Аркадию», профиль Бланш...

— При всеобщей повинной военности...— забормотал Филенков,— когда даже... профессоров в солдаты берут... когда всех уравняли... и даже свобода гласности...

Поручик хотел распечь его, послать к Демьянову, но махнул рукой и сказал тихо:

— А ну тебя к черту!

И вышел из канцелярии.

Один российский самодур, некий граф Рубец-Откачалов, ужасно кичился древностью своего рода и доказывал, что род его принадлежит к самым древним... Не довольствуясь историческими данными и всем тем, что он знал о своих предках, он откопал где-то два старых, завалящих портрета, изображавших мужчину и женщину, и под одним велел подписать: «Адам Рубец-Откачалов», под другим — «Ева Рубец-Откачалова»...

Другого графа, возведенного в графское достоинство за свои личные заслуги, спросили, почему на его карете нет герба.

— А потому,— отвечал он,— что моя карета гораздо старее моего графства...

Управляющий имениями одного помещика доложил своему барину, что на его землях охотятся соседи, и просил разрешения не дозволять больше подобного своевольства...

— Оставь, братец! — махнул рукой помещик.— Мне много приятнее иметь друзей, нежели зайцев.

Очень рассеянный, но любивший давать отеческие советы мировой судья спросил однажды у судившегося у него вора:

— Как это вы решились на воровство?

— С голода, ваше высокородие! Голод ведь и волка из лесу гонит!

— Напрасно, он должен работать! — строго заметил судья.

Прокурор окружного суда, узнав в одном из подсудимых своего товарища по школе, спросил его между прочим, не знает ли он, что сталось и с остальными его товарищами?

— Исключая вас и меня, все в арестантских ротах,— отвечал подсудимый.

САПОГИ

Фортепианный настройщик Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и с ватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал:

— Семен! Коридорный!

И, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка или что он только что у себя в номере увидел привидение.

— Помилуй, Семен! — закричал он, увидев бегущего к нему коридорного.— Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком! Отчего ты до сих пор не даешь мне сапог? Где они?

Семен вошел в номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги, и почесал затылок: сапог не было.

— Где ж им быть, проклятым? — проговорил Семен.— Вечером, кажись, чистил и тут поставил... Гм!.. Вчерась, признаться, выпивши был... Должно полагать, в другой номер поставил. Именно так и есть, Афанасий Егорыч, в другой номер! Сапог-то много, а черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь... Должно, к барыне поставил, что рядом живет... к актрисе...

— Изволь я теперь из-за тебя идти к барыне беспокоить! Изволь вот из-за пустяка будить честную женщину!

Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал.

— Кто там? — послышался через минуту женский голос.

— Это я-с! — начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой.— Извините за беспокойство, сударыня, но я человек болезненный, ревматический... Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать, тем более что мне сейчас нужно идти настраивать рояль к генеральше Шевелицыной. Не могу же я к ней босиком идти!..

— Да вам что нужно? Какой рояль?

— Не рояль, сударыня, а в отношении сапог! Невежда Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил в ваш номер. Будьте, сударыня, столь достолюбезны, дайте мне мои сапоги!

Послышалось шуршанье, прыжок с кровати и шлепанье туфель, после чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка бросила к ногам Муркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер.

— Странно...— пробормотал он, надевая сапог.— Словно как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога! Оба левые! Послушай, Семен, да это не мои сапоги! Мои сапоги с красными ушками и без латок, а это какие-то порванные, без ушек!

Семен поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился.

— Это сапоги Павла Александрыча...— проворчал он, глядя искоса.

Он был кос на левый глаз.

— Какого Павла Александрыча?

— Актера... каждый вторник сюда ходит... Стало быть, это он вместо своих ваши надел... Я к ней в номер поставил, значит, обе пары: его и ваши. Комиссия!

— Так поди и перемени!

— Здравствуйте! — усмехнулся Семен.— Поди и перемени... А где ж мне взять его теперь? Уж час времени, как ушел... Поди ищи ветра в поле!

— Где же он живет?

— А кто ж его знает! Приходит сюда каждый вторник, а где живет — нам неизвестно. Придет, переночует, и жди до другого вторника...

— Вот видишь, свинья, что ты наделал! Ну, что мне теперь делать! Мне к генеральше Шевелицыной пора, анафема ты этакая! У меня ноги озябли!

— Переменить сапоги недолго. Наденьте эти сапоги, походите в них до вечера, а вечером в театр... Актера Блистанова там спросите... Ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходит...

— Но почему же тут два левых сапога? — спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги.

— Какие бог послал, такие и носит. По бедности... Где актеру взять?.. «Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрыч! Чистая срамота!» А он и говорит: «Умолкни, говорит, и бледней! В этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл!» Чудно́й народ! Одно слово, артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров — и в острог.

Бесконечно кряхтя и морщась, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился к генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги с латками и с покривившимися каблуками! Кроме нравственных мук, ему пришлось еще испытать и физические: он натер себе мозоль.

Вечером он был в театре. Давали «Синюю Бороду». Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третьи курили. Синяя Борода стоял с королем Бобешом и показывал ему револьвер.

— Купи! — говорил Синяя Борода.— Сам купил в Курске по случаю за восемь, ну, а тебе отдам за шесть... Замечательный бой!

— Поосторожней... Заряжен ведь!

— Могу ли я видеть господина Блистанова? — спросил вошедший настройщик.

— Я самый! — повернулся к нему Синяя Борода.— Что вам угодно?

— Извините, сударь, за беспокойство,— начал настройщик умоляющим голосом,— но, верьте... я человек болезненный, ревматический... Мне доктора приказали ноги в тепле держать...

— Да вам, собственно говоря, что угодно?

— Видите ли-с...— продолжал настройщик, обращаясь к Синей Бороде.— Того-с... эту ночь вы изволили быть в меблированных комнатах купца Бухтеева... в шестьдесят четвертом номере...

— Ну, что врать-то! — усмехнулся король Бобеш.— В шестьдесят четвертом номере моя жена живет!

— Жена-с? Очень приятно-с...— Муркин улыбнулся.— Оне-то, ваша супруга, собственно мне и выдали ихние сапоги... Когда они,— настройщик указал на Блистанова,— от них ушли-с, я хватился своих сапог... кричу, знаете ли, коридорного, а коридорный и говорит: «Да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил!» Он по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в шестьдесят четвертый номер мои сапоги и ваши-с,— повернулся Муркин к Блистанову,— а вы, уходя вот от ихней супруги, надели мои-с...

— Да вы что же это? — проговорил Блистанов и нахмурился.— Сплетничать сюда пришли, что ли?

— Нисколько-с! Храни меня бог-с! Вы меня не поняли-с... Я ведь насчет чего? Насчет сапог! Вы ведь изволили ночевать в шестьдесят четвертом номере?

— Когда?

— В эту ночь-с.

— А вы меня там видели?

— Нет-с, не видел-с,— ответил Муркин в сильном смущении, садясь и быстро снимая сапоги.— Я не видел-с, но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила... Это вместо моих-с.

— Так какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи? Не говорю уж

о себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа!

За кулисами поднялся страшный шум. Король Бобеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и изо всей силы ударил кулаком по столу, так что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно.

— И ты веришь? — кричал ему Синяя Борода.— Ты веришь этому негодяю? О-о! Хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь? Я из него бифштекс сделаю! Я его размозжу!

И все, гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра, рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами, полными ужаса. За ним гнался человек в костюме Синей Бороды и с револьвером в руке. Что случилось далее — никто не видел. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной и к словам: «Я человек болезненный, ревматический» — стал прибавлять еще «Я человек раненый»...

МОЯ «ОНА»

Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не выказываю поползновения удрать от нее,— связь, стало быть, крепкая, прочная... Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя «она», не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой... Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом... По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все, все пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, презираю... Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи... Детей у нас пока нет... Хотите знать ее имя? Извольте... Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли...

Ее зовут — *Лень.*

НЕРВЫ

Дмитрий Осипович Ваксин, архитектор, воротился из города к себе на дачу под свежим впечатлением только что пережитого спиритического сеанса. Раздеваясь и ложась на свое одинокое ложе (мадам Ваксина уехала к троице), Ваксин стал невольно припоминать все слышанное и виденное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечер прошел в одних только страшных разговорах. Какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей. С мыслей незаметно перешли к ду́хам, от ду́хов к привидениям, от привидений к заживо погребенным... Какой-то господин прочел страшный рассказ о мертвеце, перевернувшемся в гробу. Сам Ваксин потребовал блюдечко и показал барышням, как нужно беседовать с духами. Вызвал он, между прочим, дядю своего Клавдия Мироновича и мысленно спросил у него: «Не пора ли мне дом перевести на имя жены?» — на что дядя ответил: «Во благовремении все хорошо».

«Много таинственного и... страшного в природе...— размышлял Ваксин, ложась под одеяло.— Страшны не мертвецы, а эта неизвестность...»

Пробило час ночи. Ваксин повернулся на другой бок и выглянул из-под одеяла на синий огонек лампадки. Огонь мелькал и еле освещал киот и большой портрет дяди Клавдия Мироныча, висевший против кровати.

«А что, если в этом полумраке явится сейчас дядина тень? — мелькнуло в голове Ваксина.— Нет, это невозможно!»

Привидения — предрассудок, плод умов недозрелых, но тем не менее все-таки Ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза. В воображении его промелькнул перевернувшийся в гробу труп, заходили образы умершей тещи, одного повесившегося товарища, девушки-утопленницы... Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли, но чем энергичнее он гнал, тем яснее становились образы и страшнее мысли. Ему стало жутко.

«Черт знает что... Боишься, словно маленький... Глупо!»

«Чик... чик... чик»,— стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Звон был медленный, заунывный, за душу тянущий... По затылку и по спине Ваксина пробежали холодные мурашки. Ему показалось, что над его головой кто-то тяжело дышит, точно дядя вышел из рамы и склонился над племянником... Ваксину стало невыносимо жутко. Он стиснул от страха зубы и притаил дыхание. Наконец, когда в открытое окно влетел майский жук и загудел над его постелью, он не вынес и отчаянно дернул за сонетку.

— Деметрий Осипыч, was wollen Sie?[1] — послышался через минуту за дверью голос гувернантки.

— Ах, это вы, Розалия Карловна? — обрадовался Ваксин.— Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы...

— Хаврилу ви сами в город отпустил, а Глафира куда-то с вечера ушла... Никого нет дома... Was wollen Sie doch?[2]

— Я, матушка, вот что хотел сказать... Тово... Да вы войдите, не стесняйтесь! У меня темно...

В спальную вошла толстая, краснощекая Розалия Карловна и остановилась в ожидательной позе.

— Садитесь, матушка... Видите ли, в чем дело.— «О чем бы ее спросить?» — подумал Ваксин, косясь

---

[1] что вам угодно? *(нем.)*

[2] Что же вам угодно? *(нем.)*

на портрет дяди и чувствуя, как душа его постепенно приходит в покойное состояние.— Я, собственно говоря, вот о чем хотел просить вас... Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он... тово... зашел гильз купить... Да вы садитесь!

— Гильз! Хорошо! Was wollen Sie noch? [1]

— Ich will... [2] Ничего я не will, но... Да вы садитесь! Я еще что-нибудь надумаю...

— Неприлично девице стоять в мужчинской комнат... Ви, я вижу, Деметрий Осипыч, шалюн... насмешкин... Я понимай... Из-за гильз шеловека не будят... Я понимай...

Розалия Карловна повернулась и вышла. Ваксин, несколько успокоенный беседой с ней и стыдясь своего малодушия, натянул на голову одеяло и закрыл глаза. Минут десять он чувствовал себя сносно, но потом в его голову полезла опять та же чепуха... Он плюнул, нащупал спички и, не открывая глаз, зажег свечу. Но и свет не помог. Напуганному воображению Ваксина казалось, что из угла кто-то смотрит и что у дяди мигают глаза.

— Позвоню ей опять, черрт бы ее взял...— порешил он.— Скажу ей, что я болен... Попрошу капель.

Ваксин позвонил. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз, и, словно в ответ на его звон, зазвонили на погосте. Охваченный страхом, весь холодный, он выбежал опрометью из спальной и, крестясь, браня себя за малодушие, полетел босой и в одном нижнем к комнате гувернантки.

— Розалия Карловна! — заговорил он дрожащим голосом, постучавшись в дверь.— Розалия Карловна! Вы... спите? Я... тово... болен... Капель!

Ответа не последовало. Кругом царила тишина...

— Я вас прошу... понимаете? Прошу! И к чему эта... щепетильность, не понимаю, в особенности если человек... болен? Какая же вы, право, цирлих-манирлих. В ваши годы...

---

[1] Что вам еще угодно? *(нем.)*

[2] Я хочу... *(нем.)*

— Я вашей жена буду говорил... Не дает покой честной девушк... Когда я жил у барон Анциг и барон захотел ко мне приходить за спишки, я понимай... я сразу понимай, какие спишки, и сказала баронесс... Я честный девушк...

— Ах, на какого черта сдалась мне ваша честность? Я болен... и капель прошу. Понимаете? Я болен!

— Ваша жена честный, хороший женщин, и вы должны ее любить. Ja![1] Она благородный! Я не желай быть ее враг!

— Дура вы, вот и все! Понимаете? Дура!

Ваксин оперся о косяк, сложил руки накрест и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка и глядел из рамы дядюшка, не хватало сил, стоять же у дверей гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Что было делать? Пробило два часа, а страх все еще не проходил и не уменьшался. В коридоре было темно и из каждого угла глядело что-то темное. Ваксин повернулся лицом к косяку, но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка дернул его сзади за сорочку и тронул за плечо...

— Черт подери... Розалия Карловна!

Ответа не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату. Добродетельная немка безмятежно спала. Маленький ночник освещал рельефы ее полновесного, дышащего здоровьем тела. Ваксин вошел в комнату и сел на плетеный сундук, стоявший около двери. В присутствии спящего, но живого существа он почувствовал себя легче.

«Пусть спит, немчура...— думал он.— Посижу у нее, а когда рассветет, выйду... Теперь рано светает».

В ожидании рассвета Ваксин прикорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался.

«Что значит нервы, однако! Человек развитой, мыслящий, а между тем... черт знает что! Совестно даже...»

---

[1] Да! *(нем.)*

Скоро, прислушавшись к тихому, мерному дыханию Розалии Карловны, он совсем успокоился...

В шесть часов утра жена Ваксина, воротившись от троицы и не найдя мужа в спальной, отправилась к гувернантке попросить у нее мелочи, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к немке, она увидала картину: на кровати, вся раскинувшись от жары, спала Розалия Карловна, а на сажень от нее на плетеном сундуке, свернувшись калачиком, похрапывал сном праведника ее муж. Он был бос и в одном нижнем. Что сказала жена и как глупа была физиономия мужа, когда он проснулся, предоставляю изображать другим. Я же, в бессилии, слагаю оружие.

ДАЧНИКИ

По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то, по ту сторону рельсов, кричал коростель...

— Как хорошо, Саша, как хорошо! — говорила жена.— Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок! Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди... цивилизация... А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?

— Да... Какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя... Что у нас сегодня к ужину готовили?

— Окрошку и цыпленка... Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык.

Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами...

— Поезд идет! — сказала Варя.— Как хорошо!

Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни.

— Проводим поезд и пойдем домой,— сказал Саша и зевнул.— Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно!

Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи...

— Ах! Ах! — послышалось из одного вагона.— Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька!.. Варечка! Ах!

Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная, пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.

— А вот и мы, а вот и мы, дружок! — начал господин с бачками, пожимая Сашину руку.— Чай, заждался! Небось бранил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа... дети! Целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводком, и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии.

Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина: он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла; балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду, кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят, тетушка целые дни толкует о своей болезни (солитер и боль под ложечкой) и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих...

И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей:

— Это они к тебе приехали... черт бы их побрал!

— Нет, к тебе! — отвечала она, бледная, тоже

с ненавистью и со злобой.— Это не мои, а твои родственники!

И, обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой:

— Милости просим!

Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение:

— Милости просим! Милости просим, дорогие гости!

РЫБЬЕ ДЕЛО

Густой трактат
по жидкому вопросу

Сегодняшнюю весьма передовую статью нашу мы посвящаем несчастным дачникам, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязана нитка и червяк... Мы даем (даром, заметьте!) целый трактат советов рыболовам. Чтобы придать нашему труду побольше серьезности и учености, мы глубокомысленно делим его на параграфы и пункты.

---

1) Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах, а под Москвою также в лужицах и канавах.

Примечание. Самая крупная рыба ловится в живорыбных лавках.

2) Ловить нужно вдали от населенных мест, иначе рискуешь поймать за ногу купающуюся дачницу или же услышать фразу: «Какую вы имеете полную праву ловить здесь рыбу? Или, может, по шее захотелось?»

3) Прежде чем закидывать удочку, нужно надеть на крючок приманку, какую угодно, судя по роду рыбы... Можешь ловить и без приманки, так как все равно ничего не поймаешь.

Примечание. Хорошенькие дачницы, сидящие на берегу с удочкой для того только, чтобы привлечь внимание женихов, могут удить и без приманки. Нехорошенькие же дачницы должны пускать в ход приманку: сто — двести тысяч или что-нибудь вроде...

4) Сидя с удочкой, не махай руками, не дрыгай ногами и не кричи караул, так как рыба не любит шума. Уженье не требует особенного искусства: если поплавок неподвижен, то это значит, что рыба еще не клюет; если он шевелится, то торжествуй: твою приманку начинают пробовать; если же он пошел ко дну, то не трудись тащить, так как все равно ничего не вытащишь.

Эту сторону нашего трактата мы находим достаточно вычерпанной (на дне ничего не осталось). В следующий раз мы подробно уясним животрепещущий вопрос о том, какие породы рыб можно изловить животрепещущими в мутной московской воде.

В прошлом нумере «Будильника на даче» мы с непостижимым глубокомыслием и невероятной ученостью «третировали» вопрос о способах ловить рыбу. Переходим теперь к той части нашего трактата, где говорится о рыбьих породах.

В окрестностях Москвы ловятся следующие породы рыб:

a) *Щука.* Рыба не красивая, не вкусная, но рассудительная, положительная, убежденная в своих щучьих правах. Глотает все, что только попадается ей на пути: рыб, раков, лягушек, уток, ребят... Каждая щука в отдельности съедает гораздо больше рыбы, чем все посетители Егоровского трактира. Сыта никогда не бывает и постоянно жалуется на упадок дел. Когда ей указывают на ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки, она говорит: «Поговори мне еще, так живо в моем желудке очутишься!» Когда же подобное указание делают ей старшие чином, она заявляет: «И-и, батюшка, да кто ж таперича рыбешку не ест? Так уж спокон века положено, чтоб мы, щуки, всегда сыты были». Когда ее пугают пропечатанием в газете, она говорит: «А мне плевать!»

b) *Голавль.* Рыбий интеллигент. Галантен, ловок, красив и имеет большой лоб. Состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некра-

сова, бранит щук, но тем не менее поедает рыбешек с таким же аппетитом, как и щука. Впрочем, истребление пескарей и уклеек считает горькою необходимостью, потребностью времени... Когда в интимных беседах его попрекают расхождением слова с делом, он вздыхает и говорит:

— Ничего не поделаешь, батенька! Не созрели еще пескари для безопасной жизни, и к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен?

c) *Налим.* Тяжел, неповоротлив и флегматичен, как театральный кассир. Славится своей громадной печенкой, из чего явствует, что он пьет горькую. Живет под корягами и питается всякой всячиной. По натуре хищен, но умеет довольствоваться падалью, червяками и травой. «Где уж нам со щуками да голавлями равняться? Что есть, то и едим. И на том спасибо». Пойманный на крючок, вытаскивается из воды, как бревно, не изъявляя никакого протеста... Ему на все плевать...

d) *Окунь.* Красивая рыбка с достаточно острыми зубами. Хищен. Самцы состоят антрепренерами, а самки дают концерты.

e) *Ерш.* Бойкий и шустрый индивидуй, воображающий, что он защищен от щук и голавлей «льготами», данными ему природой, но тем не менее преисправно попадающий в уху.

f) *Карась.* Сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука. Сызмальства приучается к мысли, что он хорош только в жареном виде. Поговорку «на то и щука в море, чтоб карась не дремал» понимает в смысле, благоприятном для щуки...

— Денно и нощно должны мы быть готовы, чтоб угодить госпоже щуке... Без ихних благодеяниев...

g) *Пескарь.* Преисправный посетитель ссудных касс, плохих летних увеселений и передних. Служит на Московско-Курской дороге, подносит благодарственные адресы щукам и день и ночь работает, чтобы голавли ходили в енотах.

h) *Плотва.* Маленькая, получахоточная рыбка, прозябающая в статистах или доставляющая плохие

переводы в толстые журналы. В изобилии поедается щукой и окунем. Самки живут на содержании у налимов и линей.

i) *Линь.* Ленивая, слюнявая и вялая рыба в черно-зеленом вицмундире, дослуживающая до пенсиона. Нюхает табак в одну ноздрю, объегоривает карасей и лечится от завалов.

k) *Уклейка.* Ловится на муху. Нищенка.

l) *Лещ.* Держит трактиры на большой дороге и занимается подрядами. Делает вид, что питается постной пищей. Съевши рыбку, быстро вытирает губы, чтобы «господа» не приметили...

Провинциальный советник Долбоносов, будучи однажды по делам службы в Питере, попал случайно на вечер к князю Фингалову. На этом вечере он, между прочим, к великому своему удивлению, встретил студента-юриста Щепоткина, бывшего лет пять тому назад репетитором его детей. Знакомых у него на вечере не было, и он от скуки подошел к Щепоткину.

— Вы это... тово... как же сюда попали? — спросил он, зевая в кулак.

— Так же, как и вы...

— То есть, положим, не так, как я...— нахмурился Долбоносов, оглядывая Щепоткина.— Гм... тово... дела ваши как?

— Так себе... Кончил курс в университете и служу чиновником особых поручений при Подоконникове...

— Да? Это на первых порах недурно... Но... ээ... простите за нескромный вопрос, сколько дает вам ваша должность?

— Восемьсот рублей.

— Пф!.. На табак не хватит...— пробормотал Долбоносов, опять впадая в снисходительно-покровительственный тон.

— Конечно, для безбедного прожития в Петербурге этого недостаточно, но, кроме того, ведь я состою секретарем в правлении Угаро-Дебоширской железной дороги... Это дает мне полторы тысячи...

— Дааа, в таком случае, конечно...— перебил Долбоносов, причем по лицу его разлилось нечто вроде сияния.— Кстати, милейший мой, каким образом вы познакомились с хозяином этого дома?

— Очень просто,— равнодушно отвечал Щепоткин.— Я встретился с ним у статс-секретаря Лодкина...

— Вы... бываете у Лодкина? — вытаращил глаза Долбоносов.

— Очень часто... Я женат на его племяннице...

— На пле-мян-ни-це? Гм... Скажите... Я, знаете ли... тово... всегда желал вам... пророчил блестящую будущность, высокоуважаемый Иван Петрович...

— Петр Иваныч...

— То есть Петр Иваныч... А я, знаете ли, гляжу сейчас и вижу — что-то лицо знакомое... В одну секунду узнал... Дай, думаю, позову его к себе отобедать... Хе-хе... Старику-то, думаю, небось не откажет! Отель «Европа», номер тридцать третий... от часу до шести...

СТРАЖА ПОД СТРАЖЕЙ

Сценка

Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов? Обыкновенно на бедного осла валят всё, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни громоздкостью: кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными младенцами... так что навьюченный азинус [1] представляет из себя громадный, бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хламовского окружного суда, Алексей Тимофеевич Балбинский, когда после третьего звонка спешил занять место в вагоне. Он был нагружен с головы до ног... Узелки с провизией, картонки, жестянки, чемоданчики, бутыль с чем-то, женская тальма и... черт знает чего только на нем не было! С его красного лица лился ручьями пот, ноги гнулись, в глазах светилось страдание. За ним с пестрым зонтичком шла его жена Настасья Львовна, маленькая, весноватая блондинка с выдающеюся вперед нижнею челюстью и с выпуклыми глазами — точь-в-точь молодая щука, когда ее тянут крючком из воды... Заняв после долгих странствований по вагонам место и свалив на скамьи багаж, прокурор вытер со лба пот и направился к выходу.

— Куда это ты? — спросила его жена.

---

[1] осел (от *лат.* asinus).

— Хочу, душенька, в вокзал сходить... рюмку водки выпить...

— Нечего там выдумывать... Сиди...

Балбинский вздохнул и покорно сел...

— Возьми на руки эту корзину... Тут посуда...

Балбинский взял на руки большую корзину и с тоской взглянул на окно... На четвертой станции жена послала его в вокзал за горячей водой, и тут около буфета он встретился со своим приятелем, товарищем председателя Плинского окружного суда Фляжкиным, уговорившимся вместе с ним ехать за границу.

— Батенька, да что же это такое? — налетел на него Фляжкин.— Ведь это свинство по меньшей мере. Уговорились вместе в одном вагоне ехать, а вас нелегкая в третий класс понесла! Зачем вы в третьем классе едете! Денег у вас нет, что ли?

Балбинский махнул рукой и замигал глазами.

— Мне теперь все равно...— проворчал он,— хоть на тендере ехать. Гляжу, гляжу, да, кажется, кончу тем, что с собой порешу... под поезд брошусь... Вы не можете себе, голубчик, представить, до чего заездила меня моя благоверная! То есть так заездила, что удивительно, как я еще жив до сих пор. Боже мой! Погода великолепная... воздух этот... ширь, природа... все условия для безмятежного жития. Одна мысль, что за границу едем, должна была бы, кажется, приводить в телячий восторг... Так нет! Нужно было злому року навязать мне на шею это сокровище! И ведь какая насмешка судьбы! Нарочно, чтоб избавиться от супруги, придумал я болезнь печенок... за границу хотел удрать... Всю зиму о свободе мечтал, и во сне и наяву себя одиноким видел. И что же? Навязалась со мной ехать! Уж я и так и этак — ничего! «Поеду да поеду», хоть ты тресни! Ну, вот поехали... Предлагаю ехать во втором классе... Ни за что!.. Как это, мол, можно так тратиться? Я ей все резоны представляю... Говорю, что и деньги у нас есть и престиж наш падет, ежели мы будем в третьем классе ездить, что и душно и вонь... не слушает! Бес экономии обуял... Теперь хоть этот багаж взять... Ну для чего мы такую

массу с собой тащим? Для чего все эти узелки, картонки, сундучки и прочая дрянь? Мало того, что в багажный вагон десять пудов сдали, мы еще в нашем вагоне четыре скамьи заняли. Кондуктора то и дело просят расчистить место для публики, пассажиры сердятся, она с ними в пререкания вступает... Совестно! Верите ли? в огне горю! А отойти от нее — сохрани бог! Ни на шаг от себя не отпускает. Сиди около нее и на коленях громадную корзину держи. Сейчас вот за горячей водой послала. Ну прилично ли прокурору суда с медным чайником ходить? Ведь тут в поезде небось свидетели и подсудимые мои едут! Пропал к черту престиж! А это, батенька, впредь мне наука! Чтоб знал, что значит личная свобода! Иной раз увлечешься и, знаете ли, ни за что ни про что человечину под стражу упечешь. Ну, теперь я понимаю... проникся... Понимаю, что значит быть под стражей! Ох, как понимаю!

— Небось рады бы пойти на поруки? — усмехнулся Фляжкин.

— С восторгом! Верите ли? При всей своей бедности десять тысяч залога внес бы... Но, однако, бегу... Небось уж горячку порет... Быть головомойке!

В Вержболово Фляжкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов III класса сонную физиономию Балбинского.

— На минуточку! — закивал ему прокурор.— Моя еще спит, не просыпалась. Когда она спит, я относительно свободен... Выйти-то из вагона нельзя, но зато корзинку можно пока на пол поставить... Хоть за это спасибо. Ах, да! Я вам не говорил? У меня радость!

— Какая?

— Две картонки и один мешочек у нас украли... Все-таки легче... Вчера съели гуся и все пирожки... Нарочно больше ел, чтоб меньше багажа осталось... Да и воздух же у нас в вагоне! Хоть топор вешай... Пфф... Не езда, а чистая мука...

Прокурор повернулся назад и поглядел со злобой на свою спавшую супругу.

— Варварка ты моя! — зашептал он.— Мучительница, Иродиада ты этакая! Скоро ли я, несчастный,

избавлюсь от тебя, Ксантиппа? Верите ли, Иван Никитыч? Иной раз закрою глаза и мечтаю: а что, если бы да кабы, она да попала бы ко мне в когти в качестве подсудимой? Кажется, в каторгу бы упек! Но... просыпается... Тссс...

Прокурор в мгновение ока состроил невинную физиономию и взял на руки корзину.

В Эйдкунене, идя за горячей водой, он глядел веселее.

— Еще две картонки украли! — похвастался он перед Фляжкиным.— И уже мы все калачи съели... Все-таки легче...

В Кенигсберге же он совсем преобразился. Вбежав утром в вагон к Фляжкину, он повалился на диван и залился счастливым смехом.

— Голубчик! Иван Никитич! Дай обнять! Извини, что я тебе «ты» говорю, но я так рад, так ехидно счастлив! Я сво-бо-ден! Понимаешь? Сво-бо-ден! Жена бежала!

— То есть как бежала?

— Вышла ночью из вагона, и до сих пор ее нет. Бежала ли она, свалилась ли под вагон, или, быть может, на станции где-нибудь осталась... Одним словом, нет ее!.. Ангел ты мой!

— Но послушай же,— встревожился Фляжкин.— В таком случае телеграфировать надо!

— Храни меня создатель! То есть так я теперь эту свободу чувствую, что описать тебе не могу! Пойдем по платформе пройдемся... на свободе подышим!

Приятели вышли из вагона и зашагали по платформе. Прокурор шагал и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями: «Как хорошо! Как легко дышится! Неужели же есть такие люди, которым всегда так живется?»

— Знаешь что, брат? — решил он.— Я сейчас к тебе в вагон переберусь. Развалимся и заживем на холостую ногу.

И прокурор опрометью побежал в свой вагон за вещами. Минуты через две он вышел из своего вагона, но уже не сияющий, а бледный, ошеломленный,

с медным чайником в руках. Он пошатывался и держался за сердце.

— Вернулась! — махнул он рукой, встретив вопросительный взгляд Фляжкина.— Оказывается, что ночью вагоны перепутала и по ошибке в чужой попала. Шабаш, брат!

Прокурор остановился перед Фляжкиным и вперил в него взгляд, полный тоски и отчаяния. На глазах его навернулись слезы. Минута прошла в молчании.

— Знаешь что? — сказал ему Фляжкин, нежно беря его за пуговицу.— Я на твоем месте... сам бы бежал...

— То есть как?

— Беги — вот и все... А то ведь этак зачахнешь, на тебя глядючи!

— Бежать... бежать...— задумался прокурор...— А ведь это идея! Так я, братец, вот что сделаю: сяду на встречный поезд и айда! Скажу ей потом, что по ошибке сел. Ну, прощай... В Париже встретимся...

МОИ ЖЕНЫ

Письмо в редакцию Рауля Синей Бороды

Милостивый государь!

Оперетка «Синяя Борода», возбуждающая в ваших читателях смех и созидающая лавры гг. Лодию, Чернову и проч., не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление... Искренне жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи. Не касаясь сущности оперетки, не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности — возмутительная ложь, которую и считаю нужным, м. г., опровергнуть через посредство Вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а г. Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, м. г., я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними, но виноват ли я, что homo sum et humani nihil a me alienum puto [1]? [2] Кроме права выбора, над

---

[1] я человек, и ничто человеческое мне не чуждо *(лат.)*.

[2] Замечу кстати, что, учась в гимназии, я имел по латыни всегда пятерки. *(Прим. А. П. Чехова.)*

человеком тяготеет еще «закон необходимости». Я должен был выбирать одно из двух: или поступать в разряд сорвиголов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практический, я остановился на второй. Я женился. Да, я женился и во все время моей женатой жизни денно и нощно завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, тестя, свекровь... и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы — post primam noctem [1]. Чтобы не возводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не pour plaisir [2], как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать, прежде чем я решался угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками! Не блажь, не плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, не жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая, раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал в лавочку за спичками. (Да простят мне женщины! Револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором.) Из нижеприведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и вам, м. г., станет очевид-

---

[1] после первой ночи *(лат.)*.
[2] для удовольствия *(франц.)*.

ным, насколько не опереточны были причины, заставлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой «расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню».

№ 1. Маленькая брюнетка с длинными, кудрявыми волосами и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красива. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и уменьем постоянно молчать — редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов! Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась, но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения: когда нужно было плакать, она плакала, когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но, держу пари на что хотите, ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни, от утра до вечера, она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила... Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь... Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она если спала, то видела меня во сне, если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят и чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах!

Ни у Тестова, ни в Ново-Московском никогда не едал я того, что умели приготовлять ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифштексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден или недоволен кушаньем, было для нее одним из ужасных страданий... Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы... Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара... и сколько мучительных секунд сидит в ее памяти! Когда после приятельской попойки я возвращался домой «под шефе» и, благодушествуя, располагался на диване с романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая!

Золотая муха только тогда ласкает взор и приятна, когда она летает перед вашими глазами минуту, другую и... потом улетает в пространство, но если же она начнет гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос — и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваши отмахивания, то вы в конце концов стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли заездили меня. В конце концов я не вынес... Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и голубиная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее...

№ 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько эта была непоседа, шумна и подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов, я же нимало не

ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом, и пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась, не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить... Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодные души, бешеный вальс... От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша... Увидев меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за «медведя» Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Volens nolens [1], чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться... Скоро такая жизнь утомила меня, и я послал за доктором...

№ 3. Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами. На лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего «собственного бога» и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной...

— Нечестно,— говорила она мне,— носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного!

— Боже, отчего она страдает? Что за причина?— спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам...— О, эти мне гражданские скорби!

Человек любит загадки — вот почему полюбил я

---

[1] Волей-неволей *(лат.)*.

блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нем на следующий перл: «Желание спасти бедного рара [1], запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка: я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульцинеи своей он больше уж не видел... Вместе со своими принципами она отправилась ad patres [2].

№ 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. Купеческая дочка. Вместе с 200 тыс. приданого внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь пред тобою...». Когда она не спала и не ела, она играла, когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы (я теперь без жил), а слова любимого романса «стою очарован» пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх: пришел доктор, и гаммы кончились...

№ 5. Длинноносая, гладковолосая женщина с строгим, никогда не улыбающимся лицом. Была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться одевалась просто и странно: черное платье с узкими рукавами, широкий пояс... во всей одежде какая-то плоскость, утюжность — ни одного рельефа, ни одной небрежной складки! Понравилась она мне своею оригинальностью: была не дура. Училась она за границей, где-то у немцев, проглотила всех Боклей и Миллей и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об «умном»... Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с ее языка... Беседуя с нею в первый раз, я мигал глазами и чувствовал себя дуралеем. По лицу моему

---

[1] отца *(франц.)*.
[2] к праотцам *(лат.)*.

догадалась она, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, а, напротив, наивно стала учить меня, как мне перестать быть дуралеем... Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны!

Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский; тут же кстати научила меня измерять черепа и доказала, что френология, как наука, никуда не годится. Я слушал, слушал... Дальнейшая наша жизнь состояла из слушанья... Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю... Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе...

— Не мешай мне... Я думаю...— говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями...

Через неделю же после свадьбы в моей башке сидело убеждение: умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелы! Вечно чувствовать себя, как на экзамене, видеть перед собою серьезное лицо, бояться сказать глупое слово — согласитесь, ужасно тяжело! Как вор, подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины!

№ 6. Девочка, прельстившая меня своею наивностью и нетронутостью натуры. Это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшееся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни и тысячи и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавель. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала гранд-шиком. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за два дня до свадьбы. Как-то, травя в своей кладовой крыс, я кстати уж отравил и ее...

№ 7. Эта умерла по ошибке: выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. (Тещ отравляю я нашатырным спиртом.) Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе...

Я кончил... Думаю, м. г., что всего вышеписанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и г. Лентовского, попавшего впросак, вероятно, по неведению. Во всяком случае, жду от г. Лентовского печатного разъяснения. Примите и проч.

Рауль Синяя Борода.

Ратификовал: *А. Чехонте.*

ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ БРЕВНО

Сценка

Архип Елисеич Помоев, отставной корнет, надел очки, нахмурился и прочел: «Мировой судья... округа... участка приглашает вас и так далее и так далее... в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова... Мировой судья П. Шестикрылов».

— Это от кого же? — поднял глаза Помоев на рассыльного.

— От господина мирового судьи-с, Петра Сергеича-с... Шестикрылова-с...

— Гм... От Петра Сергеича? Зачем же это он меня приглашает?

— Должно, на суд... Там написано-с...

Помоев прочел еще раз повестку, поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами.

— Псс... В качестве обвиняемого... Забавник этот Петр Сергеич! Ну, ладно, скажи: хорошо! Пусть только фриштик получше приготовит... Скажи: буду! Наталье Егоровне и деточкам кланяйся!

Помоев расписался и отправился в комнату, где жил брат его жены поручик Ниткин, приехавший к нему в отпуск.

— Посмотри-кося, какую цидулу мне Петька Шестикрылов прислал,— сказал он, подавая Ниткину повестку.— К себе в четверг зовет... Поедешь со мной?

— Да он тебя не в гости зовет,— сказал Ниткин, прочитав повестку.— Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого... Судить тебя будет...

— Меня-то? Псс... Молоко у него на губах еще не обсохло, чтоб меня судить... Мелко плавает... Это он так, в шутку...

— Вовсе не в шутку! Не понимаешь ты, что ли? Тут ясно сказано: в оскорблении действием... Ты Гришку побил, вот и суд.

— Чудак ты, ей-богу! Да как же он может меня судить, ежели мы с ним, можно сказать, друзья? Какой он мне судья, ежели мы вместе и в карты играли, и пили, и черт знает чего только не делали? И какой он судья? Ха-ха! Петька — судья! Ха-ха!

— Смейся, смейся, а вот он как засадит тебя, не по дружбе, а на основании законов, под арест, так не до смеха будет!

— Ты очумел, брат! Какое тут основание законов, ежели он у меня Ваню крестил? Поедем к нему в четверг, вот и увидишь, какие там законы...

— А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя и его в неловкое положение поставишь... Пусть решает заочно...

— Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет... Любопытно поглядеть, какой из Петьки судья вышел... Кстати же давно у него не был... неловко...

В четверг Помоев отправился с Ниткиным к Шестикрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством.

— Здорово, Петюха! — сказал Помоев, подходя к судейскому столу и подавая руку.— Судишь помаленьку? Крючкотворствуешь? Суди, суди... я погожу, погляжу... Это, рекомендую, брат моей жены... Жена здорова?

— Да... здорова... Посидите там... в публике...

Пробормотавши это, судья покраснел. Вообще начинающие судьи всегда конфузятся, когда видят в своей камере знакомых; когда же им приходится судить знакомых, то они делают впечатление людей, проваливающихся от конфуза сквозь землю. Помоев

отошел от стола и сел на передней скамье рядом с Ниткиным.

— Важности-то сколько у бестии! — зашептал он на ухо Ниткину.— Не узнаешь! И не улыбнется! В золотой цепи! Фу-ты ну-ты! Словно и не он у меня на кухне сонную Агашку чернилами разрисовал. Потеха! Да нешто такие люди могут судить? Я тебя спрашиваю: могут такие люди судить? Тут нужен человек, который с чинами, солидный... чтоб, знаешь, страх внушал, а то посадили кого-то и — на, суди! Хе-хе...

— Григорий Власов! — вызвал мировой.— Господин Помоев!

Помоев улыбнулся и подошел к столу. Из публики вылез малый в поношенном сюртуке с высокой тальей, в полосатых брючках, надетых в короткие рыжие голенища, и стал рядом с Помоевым.

— Господин Помоев! — начал мировой, потупя глаза.— Вы обвиняетесь в том, что-о-о... оскорбили действием вашего служащего... вот Григория Власова. Признаете вы себя виновным?

— Еще бы! Да ты давно таким серьезным стал? Хе-хе...

— Не признаете? — перебил его судья, ерзая от конфуза на стуле.— Власов, расскажите, как было дело!

— Очень просто-с! Я в них, изволите ли видеть, в лакеях состоял, в рассуждении как бы камельдинер... Известно, наша должность каторжная, ваше в — е... Они сами встают в девятом часу, а ты будь на ногах чуть свет... Бог их знает, наденут ли они сапоги, или щиблеты, или, может, целый день в туфлях проходят, но ты все чисть: и сапоги, и щиблеты, и ботики... Хорошо-с... Зовут это они меня утром одеваться. Я, известно, пошел... Надел на них сорочку, надел брючки, сапожки... все, как надо... Начал надевать жилет... Вот они и говорят: «Подай, Гришка, гребенку. Она, говорят, в боковом кармане, в сюртучке». Хорошо-с... Роюсь я это в боковом кармане, а гребенку словно черт слопал — нету! Рылся, рылся и говорю: «Да тут нет гребенки, Архип Елисеич!» Они

нахмурились, подошли к сюртуку и достали оттуда гребенку, но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. «А это же что? Не гребенка?» — говорят, да тык меня в нос гребенкой. Так всеми зубцами и прошлись по носу. Целый день потом кровь из носу шла. Сами изволите видеть, весь нос распухши... У меня свидетели есть. Все видели.

— Что вы скажете в свое оправдание? — поднял мировой глаза на Помоева.

Помоев поглядел вопросительно на судью, потом на Гришку, опять на судью и побагровел.

— Как я должен это понимать? — пробормотал он.— За насмешку?

— Тут никакой над вами насмешки нет-с,— заметил Гришка,— а вам по чистой совести. Не давайте воли рукам.

— Молчи! — застучал Помоев палкой о пол.— Дурак! Шваль!

Мировой быстро снял цепь, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию.

— Прерываю заседание на пять минут! — крикнул он по дороге.

Помоев пошел за ним.

— Послушай,— начал мировой, всплескивая руками,— скандал ты мне устроить хочешь, что ли? Или тебе приятно слушать, как твои же кухарки да лакеи в своих показаниях будут тебя чистить, осла этакого? Зачем ты приехал? Без тебя я не мог дела решить, что ли?

— Я же у него и виноват! — растопырил руки Помоев.— Сам комедию эту устроил и на меня же сердится! Посади этого Гришку под арест и... и все!

— Гришку под арест! Тьфу! Каким дураком был ты, таким и остался! Ну как же это можно Гришку под арест!

— Посади, вот и все! Не меня же сажать!

— Прежние времена теперь, что ли? Гришку он побил, и Гришку же под арест! Удивительная логика! Да ты имеешь какое-нибудь понятие о теперешнем судопроизводстве?

— Отродясь я не судился и судьей не был, а так я

понимаю, что, явись ко мне с жалобой на тебя этот самый Гришка, я так бы его с лестницы спустил, что и внукам запретил бы жаловаться, а не то чтобы еще позволять ему замечания свои хамские делать. Скажи просто, что насмеяться хочешь, прыть свою показать... вот и все! Жена как прочла повестку да как увидала, что ты всем кухаркам и скотницам повестки прислал, удивилась. Не ожидала она от тебя таких штук. Нельзя так, Петя! Так друзья не делают.

— Но пойми же ты мое положение!

И Шестикрылов принялся объяснять Помоеву свое положение.

— Ты посиди здесь,— кончил он,— а я пойду и заочно решу. Ради бога, не выходи! Со своими допотопными понятиями ты такое ляпнешь там, что чего доброго придется протокол составлять.

Шестикрылов пошел в камеру и занялся разбирательством. Помоев, сидя в канцелярии за одним из столиков и перечитывая от нечего делать свежеизготовленные исполнительные листы, слышал, как мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго топорщился, но наконец согласился, потребовав за обиду 10 рублей.

— Ну, слава богу! — сказал Шестикрылов, входя по прочтении приговора в канцелярию.— Спасибо, что дело так кончилось... Словно тысяча пудов с плеч свалилась. Заплатишь ты Гришке десять рублей и можешь быть покоен.

— Я Гришке... десять... рублей?! — обомлел Помоев.— Да ты в уме?..

— Ну, да ладно, ладно, я за тебя заплачу,— махнул рукой Шестикрылов, поморщившись.— Я и сто рублей готов дать, только чтоб не заводить неудовольствий. И не дай бог знакомых судить. Лучше, брат, чем Гришек бить, приезжай всякий раз ко мне и лупи меня! Это в тысячу раз легче. Пойдем к Наташе есть!

Через десять минут приятели сидели в апартаментах мирового и завтракали жареными карасями.

— Ну, хорошо,— начал Помоев, выпивая третью,— ты Грише десять рублей присудил, а на сколько же ты его в арестантскую упек?

— Я его не упекал. За что же его?

— Как за что? — вытаращил глаза Помоев.— А за то, чтоб жалобы не подавал! Нешто он смеет на меня жалобы подавать?

Мировой и Ниткин принялись объяснять Помоеву, но он не понимал и стоял на своем.

— Что ни говори, а не годится Петька в судьи! — вздохнул он, беседуя с Ниткиным на обратном пути.— Человек он добрый, образованный, услужливый такой, но... не годится! Не умеет по-настоящему судить... Хоть жалко, а придется его на следующее трехлетье забастовать! Придется!..

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИДЕАЛИСТА

Десятого мая взял я отпуск на 28 дней, выпросил у нашего казначея сто рублей вперед и порешил во что бы то ни стало «пожить», пожить во всю ивановскую, так, чтобы потом в течение десяти лет жить одними только воспоминаниями.

А вы знаете, что значит «пожить» в лучшем смысле этого слова? Это не значит отправиться в летний театр на оперетку, съесть ужин и к утру вернуться домой навеселе. Это не значит отправиться на выставку, а оттуда на скачки и повертеть там кошельком около тотализатора. Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черемухи, где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, наперегонку цветут ландыши и ночные красавицы. Там, на просторе, под голубым сводом, в виду зеленого леса и воркующих ручьев, в обществе птиц и зеленых жуков, вы поймете, что такое жизнь! Прибавьте к этому две-три встречи с широкополой шляпкой, быстрыми глазками и белым фартучком... Признаюсь, обо всем этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, обласканный щедротами казначея, перебирался на дачу.

Дачу я нанял, по совету одного приятеля, у Софьи Павловны Книгиной, отдававшей у себя на даче лиш-

нюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наем дачи совершился скорее, чем мог я думать. Приехав в Перерву и отыскав дачу Книгиной, я взошел, помню, на террасу и... сконфузился. Тераска была уютна, мила и восхитительна, но еще милее и (позвольте так выразиться) уютнее была молодая, полная дамочка, сидевшая за столом на террасе и пившая чай. Она прищурила на меня глазки.

— Что вам угодно?

— Извините, пожалуйста...— начал я.— Я... я, вероятно, не туда попал... Мне нужна дача Книгиной...

— Я Книгина и есть... Что вам угодно?

Я потерялся... Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуметь особ пожилых, ревматических, пахнущих кофейной гущей, но тут...— «спасите нас, о неба херувимы!» — как сказал Гамлет, сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная особа. Я, заикаясь, объяснил, что мне нужно.

— Ах, очень приятно! Садитесь, пожалуйста! Мне ваш друг писал уже. Не хотите ли чаю? Вам со сливками или с лимоном?

Есть порода женщин (чаще всего блондинок), с которыми достаточно посидеть две-три минуты, чтобы вы почувствовали себя как дома, словно вы давным-давно знакомы. Такой именно была и Софья Павловна. Выпивая первый стакан, я уже знал, что она не замужем, живет на проценты с капитала и ждет к себе в гости тетю; я знал причины, какие побудили Софью Павловну отдать одну комнату внаймы. Во-первых, платить сто двадцать рублей за дачу для одной тяжело и, во-вторых, как-то жутко: вдруг вор заберется ночью или днем войдет страшный мужик! И ничего нет предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина.

— Но мужчина лучше! — вздохнула хозяйка, слизывая варенье с ложечки.— С мужчиной меньше хлопот и не так страшно...

Одним словом, через какой-нибудь час я и Софья Павловна были уже друзьями.

— Ах да! — вспомнил я, прощаясь с ней.— Обо всем поговорили, а о главном ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Жить я у вас буду только двадцать восемь дней... Обед, конечно... чай и прочее.

— Ну, нашли, о чем говорить! Сколько можете, столько и дайте... Я ведь не из расчета отдаю комнату, а так... чтоб людней было... двадцать пять рублей можете дать?

Я, конечно, согласился, и дачная жизнь моя началась... Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь, и — сколько прелести в этом однообразии, какие дни, какие ночи! Читатель, я в восторге, позвольте мне вас обнять! Утром я просыпался и, нимало не думая о службе, пил чай со сливками. В одиннадцать шел к хозяйке поздравить ее с добрым утром и пил у нее кофе с жирными, топлеными сливками. От кофе до обеда болтали. В два часа обед, но что за обед! Представьте себе, что вы, голодный как собака, садитесь за стол, хватаете большую рюмку листовки и закусываете горячей солониной с хреном. Затем представьте себе окрошку или зеленые щи со сметаной и т. д. и т. д. После обеда безмятежное лежанье, чтение романа и ежеминутное вскакивание, так как хозяйка то и дело мелькает около двери — и «лежите!», «лежите!..». Потом купанье. Вечером до глубокой ночи прогулка с Софьей Павловной... Представьте себе, что в вечерний час, когда все спит, кроме соловья да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда, вы гуляете в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады и то и дело поворачивает к вам бледное от луны личико... Ужасно хорошо!

Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже ждете от меня, читатель, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ... Я не устоял... Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно давно уже ждала их,

только сделала милую гримаску губами, как бы желая сказать:

— И о чем тут долго говорить, не понимаю!

Двадцать восемь дней промелькнули как одна секунда. Когда кончился срок моего отпуска, я, тоскующий, неудовлетворенный, прощался с дачей и Соней. Хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки. Я, сам едва не плача, утешал ее, обещая наведываться к ней на дачу по праздникам и бывать у нее зимой в Москве.

— Ах... когда же мы, душа моя, с тобой посчитаемся? — вспомнил я.— Сколько с меня следует?

— Когда-нибудь после...— проговорил мой «предмет», всхлипывая.

— Зачем после? Дружба дружбой, а денежки врозь, говорит пословица, и к тому же я нисколько не желаю жить на твой счет. Не ломайся же, Соня... Сколько тебе?

— Там... пустяки какие-то...— проговорила хозяйка, всхлипывая и выдвигая из стола ящичек.— Мог бы и после заплатить...

Соня порылась в ящике, достала оттуда бумажку и подала ее мне.

— Это счет? — спросил я.— Ну, вот и отлично... и отлично (я надел очки)... расквитаемся и ладно (я пробежал счет). Итого... Постой, что же это? Итого... Да это не то, Соня! Здесь «итого двести двенадцать рублей сорок четыре копейки». Это не мой счет.

— Твой, Дудочка! Ты погляди!

— Но... откуда же столько? За дачу и стол двадцать пять рублей — согласен... За прислугу три рубля — ну, пусть, и на это согласен...

— Я не понимаю, Дудочка,— сказала протяжно хозяйка, взглянув на меня удивленно заплаканными глазами.— Неужели ты мне не веришь? Сочти в таком случае! Листовку ты пил... не могла же я подавать тебе к обеду водки за ту же цену! Сливки к чаю и кофе... потом клубника, огурцы, вишни... Насчет кофе тоже... Ведь ты не договаривался пить его, а пил каждый день! Впрочем, все это такие пустяки, что я, из-

воль, могу сбросить тебе двенадцать рублей. Пусть остается только двести.

— Но... тут поставлено семьдесят пять рублей и не обозначено, за что... За что это?

— Как за что? Вот это мило!

Я посмотрел ей в личико. Оно глядело так искренне, ясно и удивленно, что язык мой уже не мог выговорить ни одного слова. Я дал Соне сто рублей и вексель на столько же, взвалил на плечи чемодан и пошел на вокзал.

Нет ли, господа, у кого-нибудь взаймы ста рублей?

СИМУЛЯНТЫ

Генеральша Марфа Петровна Печонкина, или, как ее зовут мужики, Печончиха, десять лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и счеты гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны очень знаменитого и даже великого, и висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением: отречением от зловредной аллопатии и знанием истины. В передней сидят и ждут пациенты, все больше мужики. Все они, кроме двух-трех, босы, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе.

Марфа Петровна приняла уже десять человек и вызывает одиннадцатого:

— Гаврила Груздь!

Дверь отворяется, и вместо Гаврилы Груздя в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено.

— Что вы! Что вы, Кузьма Кузьмич! — ужасается генеральша, вся вспыхивая.— Бога ради!

— Покуда жив буду, не встану! — говорит Замухришин, прижимаясь к ручке.— Пусть весь народ видит мое коленопреклонение, ангел-хранитель наш, благодетельница рода человеческого! Пусть! Которая благодетельная фея даровала мне жизнь, указала мне путь истинный и просветила мудрование мое скептическое, перед тою согласен стоять не только на коленях, но и в огне, целительница наша чудесная, мать сирых и вдовых! Выздоровел! Воскрес, волшебница!

— Я... я очень рада...— бормочет генеральша, краснея от удовольствия.— Это так приятно слышать... Садитесь, пожалуйста! А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны!

— Да ведь как болен! Вспомнить страшно! — говорит Замухришин, садясь.— Во всех частях и органах ревматизм стоял. Восемь лет мучился, покою себе не знал... Ни днем, ни ночью, благодетельница моя! Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды пил, и чего только я не перепробовал! Состояние свое пролечил, матушка-красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою вовнутрь мне вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать — наука ихняя не дошла... Только деньги любят брать, разбойники, а ежели касательно пользы человечества, то им и горя мало. Пропишет какой-нибудь хиромантии, а ты пей. Душегубцы, одним словом. Если бы не вы, ангел наш, быть бы мне в могиле! Прихожу от вас в тот вторник, гляжу на крупинки, что вы дали тогда, и думаю: «Ну, какой в них толк? Нешто эти песчинки, еле видимые, могут излечить мою громадную застарелую болезнь?» Думаю, маловер, и улыбаюсь, а как принял крупинку — моментально! словно и болен не был или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит: «Да ты ли это, Коля?» — «Я, говорю». И стали мы с ней перед образом на коленки, и давай молиться за ангела нашего: «Пошли ты ей, господи, всего, что мы только чувствуем!»

Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова стать на

одно колено, но генеральша останавливает и усаживает его.

— Не меня благодарите! — говорит она, красная от волнения и глядя восторженно на портрет отца Аристарха.— Не меня! Я тут только послушное орудие... Действительно, чудеса! Застарелый восьмилетний ревматизм от одной крупинки скрофулозо!

— Изволили вы дать мне три крупинки. Из них одну принял я в обед — и моментально! Другую вечером, а третью на другой день — и с той поры хоть бы тебе что! Хоть бы кольнуло где! А ведь помирать уже собрался, сыну в Москву написал, чтоб приехал! Умудрил вас господь, целительница! Теперь вот хожу, и словно в раю... В тот вторник, когда у вас был, хромал, а теперь хоть за зайцем готов... Хоть еще сто лет жить. Одна только беда — недостатки наши. И здоров, а для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолела пуще болезни... К примеру взять хоть бы такое дело... Теперь время овес сеять, а как его посеешь, ежели семенов нет? Нужно бы купить, а денег... известно, какие у нас деньги.

— Я вам дам овса, Кузьма Кузьмич... Сидите, сидите! Вы так меня порадовали, такое удовольствие мне доставили, что не вы, а я должна вас благодарить!

— Радость вы наша! Создаст же господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела глядючи! А вот нам, грешным, и порадоваться у себя не на что... Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные... мелкота... Одно звание только что дворяне, а в материальном смысле те же мужики, даже хуже... Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому — крыша течет... Не на что тесу купить.

— Я дам вам тесу, Кузьма Кузьмич.

Замухришин выпрашивает еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую намерен везти в институт, и... тронутый щедротами генеральши, от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком... Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то красная бумажка и бесшумно падает на пол.

— Во веки веков не забуду...— бормочет он.— И детям закажу помнить и внукам... в род и род... Вот, дети, та, которая спасла меня от гроба, которая...

Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами, полными слез, глядит на отца Аристарха, потом ласкающим, благоговеющим взором обводит аптечку, лечебники, счета, кресло, в котором только что сидел спасенный ею от смерти человек, и взор ее падает на оброненную пациентом бумажку. Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее и видит в ней три крупинки, те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник Замухришину.

— Это те самые...— недоумевает она.— Даже бумажка та самая... Он и не разворачивал даже! Что же он принимал в таком случае? Странно... Не станет же он меня обманывать!

И в душу генеральши, в первый раз за все десять лет практики, западает сомнение... Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскальзывало мимо ее ушей. Больные, все до единого, словно сговорившись, сначала славословят ее за чудесное исцеление, восхищаются ее медицинскою мудростью, бранят докторов-аллопатов, потом же, когда она становится красной от волнения, приступают к изложению своих нужд. Один просит землицы для запашки, другой дровец, третий позволения охотиться в ее лесах и т. д. Она глядит на широкую, благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину, и новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая...

Лукав человек!

НАЛИМ

Летнее утро. В воздухе тишина; только поскрипывает на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег... Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, барахтается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивняка. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими, китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде...

— Да что ты все рукой тычешь? — кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке.— Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, анафема! Держи, говорю!

— Не уйдет... Куда ему уйтить? Он под корягу забился...— говорит Герасим охрипшим, глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота.— Скользкий, шут, и ухватить не за что.

— Ты за зебры хватай, за зебры!

— Не видать жабров-то... Постой, ухватил за что-то... За губу ухватил... Кусается, шут!

— Не тащи за губу, не тащи — выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почал рукой тыкать! Да и беспонятный же мужик, прости царица небесная! Хватай!

— «Хватай»...— дразнит Герасим.— Командер какой нашелся... Шел бы да и хватал бы сам, горбатый черт... Чего стоишь?

— Ухватил бы я, коли б можно было... Нешто при моей низкой комплекцыи можно под берегом стоять? Там глыбоко!

— Ничего, что глыбоко... Ты вплавь...

Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги он погружается с головой и пускает пузыри.

— Говорил же, что глыбоко! — говорит он, сердито вращая белками.— На шею тебе сяду, что ли?

— А ты на корягу стань... Коряг много, словно лестница...

Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее... Совладавши с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рака...

— Тебя еще тут, черта, не видали! — говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака.

Наконец рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного.

— Во-от он!..— улыбается Любим.— Зда-аровый, шут... Оттопырь-ка пальцы, я его сичас... за зебры... Постой, не толкай локтем... я его сичас... сичас, дай только взяться... Далече, шут, под корягу забился, не за что и ухватиться... Не доберешься до головы... Пузо одно только и слыхать... Убей мне на шее комара — жжет! Я сичас... под зебры его... Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцем!

Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами «под зебры», но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие,— бултых в воду! Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги, и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки.

— Утонешь еще, черт, отвечать за тебя придется!..— хрипит Герасим.— Вылазь, ну тя к лешему! Я сам вытащу!

Начинается ругань... А солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки... Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтаются под ивняком. Хриплый бас и озябший, визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня.

— Тащи его за зебры, тащи! Постой я его выпихну! Да куда суешься-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком — рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, слева, а то вправе колдобина! Угодишь к лешему на ужин! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича... По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

— Потолкай его из-под низу! — слышит он голос Любима.— Просунь палец! Да ты глухой, че-ерт, что ли? Тьфу!

— Кого это вы, братцы? — кричит Ефим.

— Налима! Никак не вытащим! Под корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лезет в портах в воду... Шагов пять-

десят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь.

— Постой, ребятушки! — кричит он.— Постой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умеючи!..

Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте... Горбатый Любим захлебывается, и воздух оглашается резким, судорожным кашлем.

— Где пастух? — слышится с берега крик.— Ефи-им! Пастух! Где ты? Стадо в сад полезло! Гони, гони из саду! Гони! Да где ж он, старый разбойник?

Слышатся мужские голоса, затем женский... Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреич в халате из персидской шали и с газетой в руке... Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит к купальне...

— Что здесь? Кто орет? — спрашивает он строго, увидав сквозь ветви ивняка три мокрые головы рыболовов.— Что вы здесь копошитесь?

— Ры... рыбку ловим...— лепечет Ефим, не поднимая головы.

— А вот я тебе задам рыбку! Стадо в сад полезло, а он рыбку!.. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете, а где ваша работа?

— Бу... будет готова...— кряхтит Герасим.— Лето велико, успеешь еще, вашескородие, помыться... Пфррр... Никак вот тут с налимом не управимся... Забрался под корягу и словно в норе: ни туда ни сюда...

— Налим? — спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком.— Так тащите его скорей!

— Ужо дашь полтинничек... Удружим ежели... Здоровенный налим, что твоя купчиха... Стоит, вашескородие, полтинник... за труды... Не мни его, Любим, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человек... как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол! Не болтайте ногами!

Проходит пять минут, десять... Барину становится невтерпеж.

— Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе.—Васька! Позовите ко мне Василия!

Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит.

— Полезай в воду,— приказывает ему барин,— помоги им вытащить налима... Налима не вытащат!

Василий быстро раздевается и лезет в воду.

— Я сичас...— бормочет он.— Где налим? Я сичас... Мы это мигом! А ты бы ушел, Ефим! Нечего тебе тут, старому человеку, не в свое дело мешаться! Который тут налим? Я его сичас... Вот он! Пустите руки!

— Да чего пустите руки? Сами знаем: пустите руки! А ты вытащи!

— Да нешто его так вытащишь? Надо за голову!

— А голова под корягой! Знамо дело, дурак!

— Ну, не лай, а то влетит! Сволочь!

— При господине барине и такие слова...— лепечет Ефим.— Не вытащите вы, братцы! Уж больно ловко он засел туда!

— Погодите, я сейчас...— говорит барин и начинает торопливо раздеваться.— Четыре вас дурака, и налима вытащить не можете!

Раздевшись, Андрей Андреич дает себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему.

— Подрубить корягу надо! — решает наконец Любим.— Герасим, сходи за топором! Топор подайте!

— Пальцев-то себе не отрубите! — говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу.— Ефим, пошел вон отсюда! Постойте, я налима вытащу... Вы не тово...

Коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут налиму под жабры.

— Тащу, братцы! Не толпитесь... стойте... тащу!

На поверхности показывается большая налимья голова и за нею черное, аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться.

— Шалишь... Дудки, брат. Попался? Ага!

По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании.

— Знатный налим! — лепечет Ефим, почесывая под ключицами.— Чай, фунтов десять будет...

— Нда...— соглашается барин.— Печенка-то так и отдувается. Так и прет ее из нутра. А... ах!

Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск... Все растопыривают руки, но уже поздно; налим — поминай как звали.

В АПТЕКЕ

Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку.

«Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику,— думал он, взбираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами.— Ступить страшно!»

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами — по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, все на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не гля-

дя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал:

— Calomeli grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem![1]

— Ja![2] — послышался из глубины аптеки резкий металлический голос.

Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру.

— Ja! — послышалось из другого угла.

Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.

— Через час будет готово,— процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.

— Нельзя ли поскорее? — пробормотал Свойкин.— Мне решительно невозможно ждать.

Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы.

Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове... Разбитость и головной туман овладевали его телом все больше и больше, так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором...

— Должно быть, у меня горячка начинается,— сказал он.— Доктор сказал, что еще трудно решить,

---

[1] Каломели два грана, сахару пять гран, десять порошков! *(лат.)*

[2] Да! *(нем.)*

какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб... Еще счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!

Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкина он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал... Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой... Стук мраморной ступки становился все громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи... Перед ним замелькали сначала всевозможные «радиксы»: [1] тенциана, пимпинелла, тормептилла, зедоариа и проч. За радиксами замелькали тинктуры, oleum'ы, semen'ы [2], с названиями одно другого мудренее и допотопнее.

«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! — подумал Свойкин.— Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время, как все это солидно и внушительно!»

С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для рощения волос...

В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 копеек бычачьей желчи.

— Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора.

Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-ученую физиономию провизора.

«Странные люди, ей-богу! — подумал он.— Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для рощения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки... Средневековое из

---

[1] «корни» (от *лат.* radix).

[2] настойки, масла, семена *(лат.)*.

себя что-то корчат... В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры...»

Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь, во что бы то ни стало, подальше от света, ученой физиономии и стука мраморной ступки... Болезненное утомление овладело всем его существом... Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил:

— Будьте так любезны, отпустите меня! Я... я болен...

— Сейчас... Пожалуйста, не облокачивайтесь!

Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.

«Полчаса еще только прошло,— подумал он.— Еще осталось столько же... Невыносимо!»

Но вот наконец к провизору подошел маленький, черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью... Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами... Засим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой...

«Ну к чему эти церемонии? — подумал Свойкин.— Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут».

Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.

— Получите! — проговорил он наконец, не глядя на Свойкина.— Взнесите в кассу рубль шесть копеек!

Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки...

— Рубль шесть копеек? — забормотал он конфузясь.— А у меня только всего один рубль. Думал, что рубля хватит... Как же быть-то?

— Не знаю! — отчеканил провизор, принимаясь за газету.

— В таком случае уж вы извините... Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю...

— Этого нельзя... У нас кредита нет...

— Как же мне быть-то?

— Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите.

— Пожалуй, но... мне тяжело ходить, а прислать некого...

— Не знаю... Не мое дело...

— Гм...— задумался учитель.— Хорошо, я схожу домой...

Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой... Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать раз пять... Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть... Какая-то сила потянула его голову к подушке... Он прилег, как бы на минутку... Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание... Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медяки высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство,— сказал он,— лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена...

— Где же он теперь?

— А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше

превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша.— Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну, ладно,— согласился Булдеев.— Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает,— сказал приказчик.— Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

— Ну?

— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Черт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

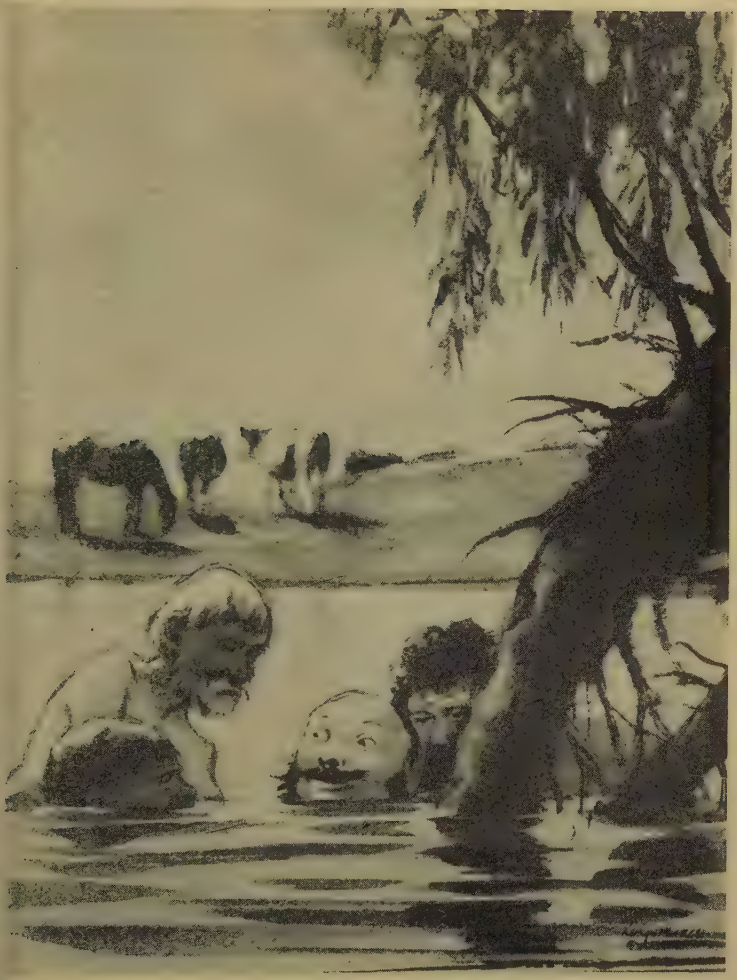
Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло...

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...



К рассказу «Налим».

Художники Кукрыниксы. 1953.

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Всё не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал.— Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он.— Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него.— Копытин? Жеребовский?

— Никак нет,— отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух: — Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

— Папа! — кричали из детской.— Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому,

кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

— Гнедов! — говорили ему.— Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство,— ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он.— Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

— Буланов... Чересседельников...— бормотал он.— Засупонин... Лошадский...

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор.— Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова,

всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу.— Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— Накося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша.— Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!

НЕ СУДЬБА!

Часу в десятом утра два помещика, Гадюкин и Шилохвостов, ехали на выборы участкового мирового судьи. Погода стояла великолепная. Дорога, по которой ехали приятели, зеленела на всем своем протяжении. Старые березы, насаженные по краям ее, тихо шептались молодой листвой. Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые криками перепелов, чибисов и куличков. На горизонте там и сям белели в синеющей дали церкви и барские усадьбы с зелеными крышами.

— Взять бы сюда нашего председателя и носом его потыкать...— проворчал Гадюкин, толстый, седовласый барин в грязной соломенной шляпе и с развязавшимся пестрым галстуком, когда бричка, подпрыгивая и звякая всеми своими суставами, объезжала мостик.— Наши земские мосты для того только и строятся, чтобы их объезжали. Правду сказал на прошлом земском собрании граф Дублевѐ, что земские мосты построены для испытания умственных способностей: ежели человек объехал мост, то, стало быть, он умный, ежели же взъехал на мостик и, как водится, шею сломал, то дурак. А все председатель виноват. Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а не пьяница, не соня, не размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием, энергический, зубастый, как ты, например...

Нелегкая тебя несет в мировые судьи! Баллотировался бы, право, в председатели!

— А вот погоди, как прокатят сегодня на вороных,— скромно заметил Шилохвостов, высокий, рыжий человек в новой дворянской фуражке,— то поневоле придется баллотироваться в председатели.

— Не прокатят...— зевнул Гадюкин.— Нам нужны образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего-навсего один — ты! Кого же и выбирать, как не тебя? Так уж и решили... Только напрасно ты в мировые лезешь... В председателях ты нужнее был бы...

— Все равно, друг... И мировой получает две тысячи четыреста и председатель две тысячи четыреста. Мировой знай сиди себе дома, а председатель то и дело трясись в бричке в управу... Мировому не в пример легче, и к тому же...

Шилохвостов не договорил... Он вдруг беспокойно задвигался и вперил взор вперед на дорогу. Затем он побагровел, плюнул и откинулся на задок.

— Так и знал! Чуяло мое сердце! — пробормотал он, снимая фуражку и вытирая со лба пот.— Опять не выберут!

— Что такое? Почему?

— Да нешто не видишь, что отец Онисим навстречу едет? Уж это как пить дать... Встретится тебе на дороге этакая фигура, можешь назад воротиться, потому ни черта не выйдет. Это уж я знаю! Митька, поворачивай назад! Господи, нарочно пораньше выехал, чтоб с этим иезуитом не встречаться, так нет, пронюхал, что еду! Чутье у него такое!

— Да полно, будет тебе! Выдумываешь, ей-богу!

— Не выдумываю! Ежели священник на дороге встретится, то быть беде, а он каждый раз, как я еду на выборы, всегда норовит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой, помирать собирается, а такая злоба, что не приведи создатель! Недаром уж двадцать лет за штатом сидит! И за что мстит-то? За образ мыслей! Мысли мои ему не нравятся! Были мы, знаешь, однажды у Ульева. После обеда, выпивши, конечно, сел я за фортепианы и давай без

всякой, знаешь, задней мысли петь «Настоечка травная» да «Грянем в хороводе при всем честном народе», а он услыхал и говорит: «Не подобает судии быть с таким образом мыслей касательно иерархии. Не допущу до избрания!» И с той поры каждый раз навстречу ездит... Уж я и ругался с ним и дороги менял — ничего не помогает! Чутьем слышит, когда я выезжаю... Что ж? Теперь надо ворочаться! Все равно не выберут! Это уж как пить дать... В прошлые разы не выбирали,— а почему? По его милости!

— Ну, полно, образованный человек, в университете кончил, а в бабьи предрассудки веришь...

— Не верю я в предрассудки, но у меня примета: как только начну что-нибудь тринадцатого числа или встречусь с этой фигурой, то всегда кончаю плохо. Все это, конечно, чепуха, вздор, нельзя этому верить, но... объясни, почему всегда так случается, как приметы говорят? Не объяснишь же вот! По-моему, верить не нужно, но на всякий случай не мешает подчиняться этим проклятым приметам... Вернемся! Ни меня, ни тебя, брат, не выберут, и вдобавок еще ось сломается или проиграемся... Вот увидишь!

С бричкой поравнялась крестьянская телега, в которой сидел маленький, дряхленький иерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусинковой ряске. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился.

— Так нехорошо делать, батюшка! — замахал ему рукой Шилохвостов.— Такие ехидные поступки неприличны вашему сану! Да-с! За это вы ответ должны дать на страшном судилище!.. Воротимся! — обратился он к Гадюкину.— Даром только едем...

Но Гадюкин не согласился вернуться...

Вечером того же дня приятели ехали обратно домой... Оба были багровы и сумрачны, как вечерняя заря перед плохой погодой.

— Говорил ведь я тебе, что нужно было вернуться! — ворчал Шилохвостов.— Говорил ведь. Отчего не послушался? Вот тебе и предрассудки! Бу-

дешь теперь не верить! Мало того что на вороных, подлецы, прокатили, но еще и на смех подняли, анафемы! «Кабак, говорят, на своей земле держишь!» Ну и держу! Кому какое дело? Держу, да!

— Ничего, через месяц в председатели будешь баллотироваться...— успокоил Гадюкин.— Тебя нарочно сегодня прокатили, чтоб в председатели тебя выбрать...

— Пой соловьем! Всегда ты меня, ехида, утешаешь, а сам первый норовишь черняков набросать! Сегодня ни одного белого не было, всё черняки, стало быть и ты, друг, черняка положил... Мерси...

Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы председателя земской управы, но уже ехали не в десятом часу утра, а в седьмом. Шилохвостов ерзал в бричке и беспокойно поглядывал на дорогу...

— Он не ожидает, что мы так рано выедем,— говорил он,— но все-таки надо спешить... Черт его знает, может быть, у него шпионы есть! Гони, Митька! Шибче!.. Вчера, брат,— обратился он к Гадюкину,— я послал отцу Онисиму два мешка овса и фунт чаю... Думал его лаской умилостивить, а он взял подарки и говорит Федору: «Кланяйся барину и поблагодари его за дар совершен, но, говорит, скажи ему, что я неподкупен. Не токмо овсом, но и золотом он не поколеблет моих мыслей». Каков? Погоди же... Поедешь и черта пухлого встретишь... Гони, Митька!

Бричка въехала в деревню, где жил отец Онисим... Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота... Отец Онисим суетился около телеги и торопился запрячь лошадь. Одной рукой он застегивал себе пояс, другой рукой и зубами надевал на лошадь шлею...

— Опоздал! — захохотал Шилохвостов. — Донесли шпионы, да поздно! Ха-ха! Накося выкуси! Что, съел? Вот тебе и неподкупен! Ха-ха!

Бричка выехала из деревни, и Шилохвостов почувствовал себя вне опасности. Он заликовал.

— Ну, у меня, брат, таких мостов не будет! — начал бравировать будущий председатель, подмигивая глазом.— Я их подтяну, этих подрядчиков! У меня, брат, не такие школы будут! Чуть замечу, что который из учителей пьяница или социалист — айда, брат! Чтоб и духу твоего не было! У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить! Я, брат... ты, брат... Гони, Митька, чтоб другой какой поп не встретился!.. Ну, кажись, благополучно доеха... Ай!

Шилохвостов вдруг побледнел и вскочил как ужаленный.

— Заяц! Заяц! — закричал он.— Заяц дорогу перебежал! Аа... черт подери, чтоб его разорвало!

Шилохвостов махнул рукой и опустил голову. Он помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному, вспотевшему лбу, прошептал:

— Не судьба, знать, мне две тысячи четыреста получать... Ворочай назад, Митька! Не судьба!

ЗАБЛУДШИЕ

Дачная местность, окутанная ночным мраком. На деревенской колокольне бьет час. Присяжные поверенные Козявкин и Лаев, оба в отменном настроении и слегка пошатываясь, выходят из лесу и направляются к дачам.

— Ну, слава создателю, пришли...— говорит Козявкин, переводя дух.— В нашем положении пройти пехтурой пять верст от полустанка — подвиг. Страшно умаялся! И, как назло, ни одного извозчика...

— Голубчик, Петя... не могу! Если через пять минут я не буду в постели, то умру, кажется...

— В по-сте-ли? Ну, это шалишь, брат! Мы сначала поужинаем, выпьем красненького, а потом уж и в постель. Мы с Верочкой не дадим тебе спать... А хорошо, братец ты мой, быть женатым! Ты не понимаешь этого, черствая душа! Приду я сейчас к себе домой утомленный, замученный... меня встретит любящая жена, попоит чайком, даст поесть и, в благодарность за мой труд, за любовь, взглянет на меня своими черненькими глазенками так ласково и приветливо, что забуду я, братец ты мой, и усталость, и кражу со взломом, и судебную палату, и кассационный департамент... Хоррошо!

— Но... у меня, кажется, ноги отломались... Я едва иду... Пить страшно хочется...

— Ну, вот мы и дома.

Приятели подходят к одной из дач и останавливаются перед крайним окном.

— Дачка славная,— говорит Козявкин.— Вот завтра увидишь, какие здесь виды! Темно в окнах. Стало быть, Верочка уже легла, не захотела дожидаться. Лежит и, должно быть, мучится, что меня до сих пор нет... (Пихает тростью окно, которое отворяется.) Этакая ведь бесстрашная, ложится в постель и не запирает окон. (Снимает крылатку и бросает ее вместе с портфелем в окно.) Жарко! Давай-ка затянем серенаду, посмешим ее... (Поет.) «Месяц плывет по ночным небесам... Ветерочек чуть-чуть дышит... ветерочек чуть колышет»... Пой, Алеша! Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта? (Поет.) «Пе-еснь моя-я-я... летит с мольбо-о-о-ю...» (Голос обрывается судорожным кашлем.) Тьфу! Верочка, скажи-ка Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! (Пауза.) Верочка! Не ленись же, встань, милая! (Становится на камень и глядит в окно.) Верунчик, мумочка моя, веревьюнчик... ангелочек, жена моя бесподобная, встань и скажи Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! Ведь не спишь же! Мамочка, ей-богу, мы так утомлены и обессилены, что нам вовсе не до шуток. Ведь мы пешком от станции шли! Да ты слышишь или нет? А, черт возьми! (Делает попытку влезть в окно и срывается.) Может быть, гостю неприятны эти шутки! Ты, я вижу, Вера, такая же институтка, как была, все бы тебе шалить...

— А может быть, Вера Степановна спит! — говорит Лаев.

— Не спит! Ей, вероятно, хочется, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей! Я уже начинаю сердиться, Вера! А, черт возьми! Подсади меня, Алеша, я влезу! Девчонка ты, школьница и больше ничего!.. Подсади!

Лаев с пыхтеньем подсаживает Козявкина. Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты.

— Верка! — слышит через минуту Лаев.— Где ты? Черррт... Тьфу, во что-то руку выпачкал! Тьфу!

Слышится шорох, хлопанье крыльев и отчаянный крик курицы.

— Вот те на! — слышит Лаев.— Вера, откуда у нас куры? Черт возьми, да тут их пропасть! Плетушка с индейкой... Клюется, п-подлая!

Из окна с шумом вылетают две курицы и, крича во все горло, мчатся по улице.

— Алеша, да мы не туда попали! — говорит Козявкин плачущим голосом.— Тут куры какие-то... Я, должно быть, обознался... Да ну вас к черту, разлетались тут, анафемы!

— Так ты выходи поскорей! Понимаешь? Умираю от жажды!

— Сейчас... Найду вот крылатку и портфель...

— Ты спичку зажги!

— Спички в крылатке... Угораздило же меня сюда забраться! Все дачи одинаковые, сам черт не различит их в потемках. Ой, индейка в щеку клюнула! П-подлая...

— Выходи поскорее, а то подумают, что мы кур воруем!

— Сейчас... Крылатки никак не найду. Тряпья здесь валяется много, и не разберешь, где тут крылатка. Брось-ка мне спички!

— У меня нет спичек!

— Положение, нечего сказать! Как же быть-то? Без крылатки и портфеля никак нельзя. Надо отыскать их.

— Не понимаю, как это можно не узнать своей собственной дачи,— возмущается Лаев.— Пьяная рожа... Если б я знал, что будет такая история, ни за что бы не поехал с тобой. Теперь бы я был дома, спал безмятежно, а тут изволь вот мучиться... Страшно утомлен, пить хочется... голова кружится!

— Сейчас, сейчас... не умрешь...

Через голову Лаева с криком пролетает большой петух. Лаев глубоко вздыхает и, безнадежно махнув рукой, садится на камень. Душа у него горит от жажды, глаза слипаются, голову клонит вниз... Проходит минут пять, десять, наконец двадцать, а Козявкин все еще возится с курами.

— Петр, скоро ли ты?

— Сейчас. Нашел было портфель, да опять потерял.

Лаев подпирает голову кулаками и закрывает глаза. Куриный крик становится все громче. Обитательницы пустой дачи вылетают из окна и, кажется ему, как совы кружатся во тьме над его головой. От их крика в ушах его стоит звон, душой овладевает ужас.

«Сскотина!..— думает он.— Пригласил в гости, обещал угостить вином да простоквашей, а вместо того заставил пройтись от станции пешком и этих кур слушать...»

Возмущаясь, Лаев сует подбородок в воротник, кладет голову на свой портфель и мало-помалу успокаивается. Утомление берет свое, и он начинает засыпать.

— Нашел портфель! — слышит он торжествующий крик Козявкина.— Найду сейчас крылатку, и — баста, идем!

Но вот сквозь сон слышит он собачий лай. Лает сначала одна собака, потом другая, третья... и собачий лай, мешаясь с куриным кудахтаньем, дает какую-то дикую музыку. Кто-то подходит к Лаеву и спрашивает о чем-то. Засим слышит он, что через его голову лезут в окно, стучат, кричат... Женщина в красном фартуке стоит около него с фонарем в руке и о чем-то спрашивает.

— Вы не имеете права говорить это! — слышит он голос Козявкина.— Я присяжный поверенный, кандидат прав Козявкин. Вот вам моя визитная карточка!

— На что мне ваша карточка! — говорит кто-то хриплым басом.— Вы у меня всех кур поразгоняли, вы подавили яйца! Поглядите, что вы наделали! Не сегодня-завтра индюшата должны были вылупиться, а вы подавили. На что же, сударь, сдалась мне ваша карточка?

— Вы не смеете меня удерживать! Да-с! Я не позволю!

«Пить хочется...» — думает Лаев, стараясь от-

крыть глаза и чувствуя, как через его голову кто-то лезет из окна.

— Я — Козявкин! Тут моя дача, меня тут все знают!

— Никакого Козявкина мы не знаем!

— Что ты мне рассказываешь? Позвать старосту! Он меня знает!

— Не горячитесь, сейчас урядник приедет... Всех дачников тутошних мы знаем, а вас отродясь не видели.

— Я уж пятый год в Гнилых Выселках на даче живу!

— Эва! Нешто это Выселки? Здесь Хилово, а Гнилые Выселки правее будут, за спичечной фабрикой. Версты за четыре отсюда.

— Черт меня возьми! Это, значит, я не той дорогой пошел!

Человеческие и птичьи крики мешаются с собачьим лаем, и из смеси звукового хаоса выделяется голос Козявкина:

— Вы не смеете! Я заплачу! Вы узнаете, с кем имеете дело!

Наконец голоса мало-помалу стихают. Лаев чувствует, что его треплют за плечо.

ЕГЕРЬ

Знойный и душный полдень. На небе ни облачка... Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей... Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то.

По краю сечи, лениво, вразвалку, плетется высокий, узкоплечий мужчина лет сорока, в красной рубахе, латаных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи... Он красен и вспотел. На его красивой, белокурой голове ухарски сидит белый картузик с прямым жокейским козырьком, очевидно подарок какого-нибудь расщедрившегося барича. Через плечо перекинут ягдташ, в котором лежит скомканный петух-тетерев. Мужчина держит в руках двухстволку со взведенными курками и щурит глаза на своего старого, тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука... Все живое попряталось от зноя.

— Егор Власыч! — слышит вдруг охотник тихий голос.

Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет тридцати, с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается.

— А, это ты, Пелагея! — говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки.— Гм!.. Как же это ты сюда попала?

— Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими... В работницах, Егор Власыч.

— Тэк...— мычит Егор Власыч и медленно идет дальше.

Пелагея за ним. Проходят молча шагов двадцать.

— Давно уж я вас не видала, Егор Власыч...— говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника.— Как заходили вы на святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали... На святой на минутку зашли, да и то бог знает как... в пьяном виде... Побранили, побили и ушли... Уж я ждала, ждала... глаза все проглядела, вас поджидаючи... Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы разочек зашли!

— Что ж мне у тебя делать-то?

— Оно, конечно, делать нечего, да так... все-таки ж хозяйство... Поглядеть, как и что... Вы хозяин... Ишь ты, тетерьку подстрелили, Егор Власыч! Да вы бы сели, отдохнули...

Говоря все это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора... От лица ее так и дышит счастьем...

— Посидеть? Пожалуй...— говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя растущими елками.— Что ж ты стоишь? Садись и ты!

Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании.

— Хоть бы разочек зашли,— говорит тихо Пелагея.

— Зачем? — вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб.— Нет никакой надобности. Зайти на час-другой — канитель одна, только тебя взбаламутишь, а постоянно жить в деревне — душа не терпит... Сама знаешь, человек я балованный... Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные... чтоб все степени мне были, а у тебя там на деревне беднота, копоть... Я и дня

не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. Сызмалетства во мне это баловство сидит, ничего не поделаешь.

— Таперя вы где живете?

— У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так... из-за удовольствия меня держит.

— Не степенное ваше дело, Егор Власыч... Для людей это баловство, а у вас оно словно как бы и ремесло... занятие настоящее...

— Не понимаешь ты, глупая,— говорит Егор, мечтательно глядя на небо.— Ты отродясь не понимала, и век тебе не понять, что я за человек... По-твоему, я шальной, заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части... А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я, окромя ружья и собак, никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадники, то прощай соха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в актеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.

— Я понимаю, Егор Власыч.

— Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься...

— Я... я не плачу...— говорит Пелагея, отворачиваясь.— Грех, Егор Власыч! Хоть бы денек со мной, несчастной, пожили. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла, а... а промеж нас ни разу любови не было!.. Я... я не плачу...

— Любови...— бормочет Егор, почесывая руку.— Никакой любови не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, а нешто это так и есть? Я для тебя дикий человек есть, ты для меня простая баба, непонимающая. Нешто мы пара? Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О себе я так понимаю, что я по охотницкой части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь... Где же тут пара?

— Да ведь венчаны, Егор Власыч! — всхлипывает Пелагея.

— Не волей венчаны... Нешто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари... и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил... Егеря на скотнице! Ты видала, что я пьяный, зачем выходила? Не крепостная ведь, могла супротив пойти! Оно, конечно, скотнице счастье за егеря выйтить, да ведь надо рассуждение иметь. Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Графу смешки, а ты плачь... бейся об стену...

Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом.

— Чем живешь? — спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею.

— Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают.

— Тэк...

Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. Жарко петь...

— Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили,— говорит Пелагея.

Егор молчит.

— Стало быть, она вам по-сердцу...

— Счастье уж твое такое, судьба! — говорит охот-

ник, потягиваясь.— Терпи, сирота. Но, одначе, прощай, заболтался... К вечеру мне в Болтово поспеть нужно...

Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея встает.

— А когда же в деревню придете? — спрашивает она тихо.

— Незачем. Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный... Прощай!

— Прощайте, Егор Власыч...

Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед... Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежную поступь, и глаза ее наполняются грустью и нежной лаской... Взгляд ее бегает по тощей, высокой фигуре мужа и ласкает, нежит его... Он словно чувствует этот взгляд, останавливается и оглядывается... Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам Пелагее видно, что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и глядит на него умоляющими глазами.

— На тебе! —говорит он, отворачиваясь.

Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит.

— Прощайте, Егор Власыч! — говорит она, машинально принимая рубль.

Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, дороге... Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк, шаги невидимы, собаку не отличишь от сапог. Виден только один картузик, но... вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу, и картузик исчезает в зелени.

— Прощайте, Егор Власыч! — шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидать белый картузик.

Молодая, только что повенчанная пара едет из церкви восвояси.

— Ну-ка Варя,— говорит муж,— возьми-ка меня за бороду и рвани изо всех сил.

— Бог знает, что ты выдумываешь!

— Нет, нет, пожалуйста! Прошу тебя! Возьми и рвани без всяких церемоний...

— Полно, для чего тебе это?

— Варя, я прошу... требую, наконец! Если ты любишь меня, то возьмешь меня за бороду и дернешь... Вот моя борода, рви!

— Ни за что! Причинять боль человеку, которого я люблю больше жизни... нет, никогда!

— Но я прошу!— начинает сердиться новоиспеченный супруг.— Понимаешь? Я прошу и... требую!

Наконец, после долгих ломаний, недоумевающая жена запускает свои маленькие ручки в мужнину бороду и рвет ее, насколько хватает сил... Муж даже не морщится...

— Представь, а мне ведь нисколько не больно!— говорит он.— Ей-богу, не больно! А ну-ка постой, теперь я тебя...

Муж берет жену за несколько волосков, что около виска, и сильно дергает. Жена громко взвизгивает.

— Теперь, мой друг,— резюмирует муж,— ты видишь, что я во много раз сильнее и выносливее тебя. Это тебе необходимо знать на случай, если когда-нибудь в будущем полезешь на меня с кулаками или пообещаешь выцарапать мне глаза... Одним словом, жена да убоится мужа своего!

ЗЛОУМЫШЛЕННИК

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь.— Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на сто сорок первой версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

— Так ли все это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы,— хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

— Кто это — мы?

— Мы, народ... Климовские мужики то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Отродясь не врал, а тут вру...— бормочет Денис, мигая глазами.— Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру...— усмехается Денис.— Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.

— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

— А то что же? Не в бабки ж играть!

— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...

— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить... И тяжелая и дыра есть.

— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с!

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

— Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов,— говорит следователь.— Теперь понятно, почему...

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

— С каким Митрофаном?

— С Митрофаном Петровым... Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много

этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять...

— Послушай... Тысяча восемьдесят первая статья Уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

— Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится... Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму... Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь,

ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина непременного члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то...

— Молчи!

— Я и так молчу...— бормочет Денис.— А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев...

— Ты мне мешаешь... Эй, Семен! — кричит следователь.— Увести его!

— Нас три брата,— бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры.— Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести...

В ВАГОНЕ

Разговорная перестрелка

— Сосед, сигарочку не угодно ли?

— Mercі... Великолепная сигара! Почем такие за десяток?

— Право, не знаю, но думаю, что из дорогих... гаванна ведь! После бутылочки Эль-де-Пердри, которую я только что выпил на вокзале, и после анчоусов недурно выкурить такую сигару. Пфф!

— Какая у вас массивная брелока!

— Мда... Триста рубликов-с! Теперь, знаете ли, недурно бы после этой сигары рейнского выпить... Шлос-Иоганнисберга, что ли, номер восемьдесят пять с половиной, десятирублевый... А? Или красного... Из красных я пью Кло-де-Вужо-вье-сек или, пожалуй, Кло-де-Руа-Кортон... Впрочем, если уж пить бургонское, то не иначе как Шамбертен номер тридцать восемь три четверти. Из бургонских оно самое здоровое...

— Извините, пожалуйста, за нескромный вопрос: вы, вероятно, принадлежите к здешним крупным землевладельцам, или вы... банкир?

— Не-ет, какой банкир! Я пакгаузный надзиратель W-й таможни...

— Жена моя читает «Новости» и «Новое время», сам же я предпочитаю московские газеты. По утрам читаю газеты, а вечером приказываю которой-нибудь из дочерей читать вслух «Русскую старину» или

«Вестник Европы». Признаться, я не охотник до толстых журналов, отдаю их знакомым читать, сам же угощаюсь больше иллюстрациями... Читаю «Ниву», «Всемирную»... ну, конечно, и юмористические...

— Неужели вы выписываете все эти газеты и журналы? Вероятно, вы содержите библиотеку?

— Нет-с, я приемщик в почтовом отделении...

— Конечно, лошадиному способу путей сообщения никогда не сравняться с железной дорогой, но и лошади, батенька, хорошая штука... Запряжешь этак пять-шесть троек, насажаешь туда бабенок и — ах вы, кони, мои кони, мчитесь сокола быстрей! Едешь, и только искры сыплются! Верст тридцать промчишься и назад... Лучшего удовольствия и выдумать нельзя, особливо зимой... Был, знаете ли, такой случай... Приказываю я однажды людям запрячь десять троек... гости у меня были...

— Виноват... вероятно, у вас свой конский завод?

— Нет-с, я брандмейстер...

— Я не корыстолюбив, не люблю денег... тьфу на них!.. Много я из-за них, поганых, выстрадал, но все-таки говорил и буду говорить: деньги хорошая штука! Ну, что может быть приятнее, когда стоишь, этак, с глазу на глаз с обывателем и вдруг чувствуешь на ладони некоторое бумажное, так сказать, соприкосновение... Так и бегают по жилам искры, когда в кулаке бумаженцию чувствуешь...

— Вы, вероятно, доктор?

— Храни бог! Я становой...

— Кондуктор! Где я нахожусь?! В каком я обществе?! В каком я веке живу?!

— Да вы сами кто такой?

— Сапожных дел мастер Егоров...

— Что ни говорите, а тяжел наш писательский труд! (Величественный вздох.) Недаром collega Некрасов сказал, что в нашей судьбе что-то лежит роковое... Правда, мы получаем большие деньги, нас всюду знают... наш удел слава, но... все это суета... Слава, по выражению одного из моих коллег, есть яркая заплата на грязном рубище слепца... Так тяжело и трудно, что, верите ли, иной раз взял бы и променял славу, деньги и все на долю пахаря...

— А вы где изволите писать?

— Пишу в «Луче» статьи по еврейскому вопросу...

— Мой муж уходил каждую субботу к министру, и я оставалась одна... Вдруг в одну из суббот приезжают от графа Фикина и спрашивают мужа. «Нужен во что бы то ни стало! Хоть из земли выкапывайте, а давайте нам вашего мужа!» Такие, ей-богу... Где же, говорю, я возьму вам мужа? Сейчас он у министра, оттуда же, чего доброго, заедет к княгине Хронской-Запятой...

— А-а-а... Сударыня, ваш супруг по какому министерству изволит служить?

— Он по парикмахерской части... В парикмахерах...

ЖЕНИХ И ПАПЕНЬКА

Нечто современное
Сценка

— А вы, я слышал, женитесь! — обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых.— Когда же мальчишник справлять будете?

— Откуда вы взяли, что я женюсь? — вспыхнул Милкин.— Какой это дурак вам сказал?

— Все говорят, да и по всему видно... Нечего скрытничать, батенька... Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем! Хе-хе-хе... По всему видно... Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете... Гуляете только с Настенькой Кондрашкиной, ей одной только букеты и таскаете... Всё видим-с! Намедни встречается мне сам Кондрашкин-папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба... Что ж? Дай бог! Не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина... Ведь семь дочек у бедняги! Семь! Шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить...

«Черт побери...— подумал Милкин...— Это уж десятый говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили, черт их возьми совсем! Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой... Не-ет, пора уж прекратить эти толки, пора, а то того и гляди, что женят, анафемы!.. Схожу завтра объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту, и — айда!»

На другой день после описанного разговора Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.

— Петру Петровичу! — встретил его хозяин.— Как живем-можем? Соскучились, ангел? Хе-хе-хе... Сейчас Настенька придет... На минутку к Гусевым побежала...

— Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне,— пробормотал Милкин, почесывая в смущении глаз,— а к вам... Мне нужно поговорить с вами кое о чем... В глаз что-то попало...

— О чем же это вы собираетесь поговорить? — мигнул глазом Кондрашкин.— Хе-хе-хе... Чего же вы смущены так, милаша? Ах, мужчина, мужчина! Беда с вами, с молодежью! Знаю, о чем это вы хотите поговорить! Хе-хе-хе... Давно пора...

— Собственно говоря, некоторым образом... дело, видите ли, в том, что я... пришел проститься с вами... Уезжаю завтра...

— То есть как уезжаете? — спросил Кондрашкин, вытаращив глаза.

— Очень просто... Уезжаю, вот и все... Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство... дочери ваши такие милые... Никогда не забуду минут, которые...

— Позвольте-с...— побагровел Кондрашкин...— Я не совсем вас понимаю... Конечно, каждый человек имеет право уезжать... можете вы делать все, что вам угодно, но, милостивый государь, вы... отвиливаете... Нечестно-с!

— Я... я... я не знаю, как же это я отвиливаю?

— Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг на́ тебе, уезжаю!

— Я... я не обнадеживал...

— Конечно, предложения вы не делали, да разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал, с Настей по целым ночам под ручку... да нешто все это спроста делается? Женихи только ежедневно обедают, а не будь вы женихом, нешто я стал бы вас кормить? Да-с! нечестно! Я и

слушать не желаю! Извольте делать предложение, иначе я... тово...

— Настасья Кирилловна очень милая... хорошая девица... Уважаю я ее и... лучшей жены не желал бы себе, но... мы не сошлись убеждениями, взглядами.

— В этом и причина? — улыбнулся Кондрашкин.— Только-то? Да, душенька ты моя, разве можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа? Ах, молодец, молодец! Зелень, зелень! Как запустит какую-нибудь теорию, так, ей-богу... хе-хе-хе... в жар даже бросает... Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости и сгладятся... Мостовая, пока новая — ездить нельзя, а как пообъездят ее немножко, то мое почтение!

— Так-то так, но... я недостоин Настасьи Кирилловны...

— Достоин, достоин! Пустяки! Ты славный парень!

— Вы не знаете всех моих недостатков... Я беден...

— Пустое! Жалованье получаете, и слава богу...

— Я... пьяница...

— Ни-ни-ни!.. Ни разу не видал пьяным!..— замахал руками Кондрашкин.— Молодежь не может не пить... Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого...

— Но ведь я запоем. Во мне наследственный порок!

— Не верю! Такой розан и вдруг — запой! Не верю!

«Не обманешь черта! — подумал Милкин.— Как ему, однако, дочек спихнуть хочется!» — Мало того, что я запоем страдаю,— продолжал он вслух,— но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру...

— Милаша, да кто же их не берет? Хе-хе-хе... Эка, поразил!

— И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решения моей судьбы... Я скрывал от вас, но теперь вы должны все узнать... Я... я состою под судом за растрату...

— Под су-дом? — обомлел Кондрашкин.— Н-да... новость... Не знал я этого. Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь... А вы много растратили?

— Сто сорок четыре тысячи.

— Н-да... сумма! Да, действительно, Сибирью история пахнет... Этак девчонка может ни за грош пропасть. В таком случае нечего делать, бог с вами...

Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе...

— Впрочем,— продолжал Кондрашкин, немного подумав,— если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, ежели она жертв боится? И к тому же Томская губерния плодородная. В Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коли б не семья. Можете делать предложение!

«Экий черт несговорчивый! — подумал Милкин.— За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть».— Но это не все...— продолжал он вслух.— Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог.

— Все равно! Одно наказание!

— Тьфу!

— Чего это вы так громко плюете?

— Так... Послушайте, я вам еще не все открыл... Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни... страшную тайну!

— Не желаю я знать ваших тайн! Пустяки!

— Не пустяки, Кирилл Трофимыч! Если вы услышите... узнаете, кто я, то отшатнетесь... Я... я беглый каторжник!!

Кондрашкин отскочил от Милкина как ужаленный и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно и глазами, полными ужаса, глядел на Милкина, потом упал в кресло и простонал:

— Не ожидал...— промычал он.— Кого согрел на груди своей! Идите! ради бога, уходите! Чтоб я и не видел вас! Ох!

Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери...

— Постойте! — остановил его Кондрашкин.— Отчего же вас до сих пор еще не задержали?

— Под чужой фамилией живу... Трудно меня задержать...

— Может быть, вы и до самой смерти этак проживете, что никто и не узнает, кто вы... Постойте! Теперь ведь вы честный человек, раскаялись уже давно... Бог с вами, так и быть уж женитесь!

Милкина бросило в пот... Врать дальше беглого каторжника было бы уже некуда, и оставалось одно только: позорно бежать, не мотивируя своего бегства... И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль...

— Послушайте, вы еще не все знаете! — сказал он.— Я... я сумасшедший, а безумным и сумасшедшим брак возбраняется...

— Не верю! Сумасшедшие не рассуждают так логично...

— Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете! Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей?

— Не верю! И не говорите!

— В таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю!

— Свидетельству поверю, а вам нет... Хорош сумасшедший!

— Через полчаса я принесу вам свидетельство... Пока прощайте...

Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через пять он уже входил к своему приятелю, доктору Фитюеву, но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою куафюру[1] после маленькой ссоры со своей женой.

— Друг мой, я к тебе с просьбой! — обратился он к доктору.— Дело вот в чем... Меня хотят окрутить во что бы то ни стало... Чтобы избегнуть этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим... Гамлетов-

---

[1] прическу (от *франц.* la coiffure).

ский прием, в некотором роде... Сумасшедшим, понимаешь, нельзя жениться... Будь другом, дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший!

— Ты не хочешь жениться? — спросил доктор.

— Ни за какие коврижки!

— В таком случае не дам я тебе свидетельства,— сказал доктор, трогаясь за свою куафюру.— Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а, напротив, умнейший человек... А вот когда захочешь жениться — ну, тогда приходи за свидетельством... Тогда ясно будет, что ты сошел с ума...

ГОСТЬ

Сценка

У частного поверенного Зельтерского слипались глаза. Природа погрузилась в потемки. Затихли ветерки, замолкли птичек хоры и прилегли стада. Жена Зельтерского давно уже пошла спать, прислуга тоже спала, вся живность уснула, одному только Зельтерскому нельзя было идти в спальную, хотя на его веках и висела трехпудовая тяжесть. Дело в том, что у него сидел гость, сосед по даче, отставной полковник Перегарин. Как пришел он после обеда и как сел на диван, так с той поры ни разу не поднимался, словно прилип. Он сидел и хриплым, гнусявым голосом рассказывал, как в 1842 году в городе Кременчуге его бешеная собака укусила. Рассказал и опять начал снова. Зельтерский был в отчаянии. Чего он только не делал, чтобы выжить гостя! Он то и дело посматривал на часы, говорил, что у него голова болит, то и дело выходил из комнаты, где сидел гость, но ничто не помогало. Гость не понимал и продолжал про бешеную собаку.

«Этот старый хрыч до утра просидит! — злился Зельтерский.— Такая дубина! Ну, уж если он не понимает обыкновенных намеков, то придется пустить в ход более грубые приемы».— Послушайте,— сказал он вслух,— знаете, чем нравится мне дачная жизнь?

— Чем-с?

— Тем, что здесь можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться какого-нибудь определенного режима, здесь же наоборот. В девять мы встаем, в три обедаем, в десять ужинаем, в двенадцать спим. В две-

надцать я всегда в постели. Храни меня бог лечь позже: не отделаться на другой день от мигрени!

— Скажите... Кто как привык, это действительно. Был у меня, знаете ли, один знакомый, некто Клюшкин, штабс-капитан. Познакомился я с ним в Серпухове. Ну-с, так вот этот самый Клюшкин...

И полковник, заикаясь, причмокивая и жестикулируя жирными пальцами, начал рассказывать про Клюшкина. Пробило двенадцать, часовую стрелку потянуло к половине первого, а он все рассказывал. Зельтерского бросило в пот.

«Не понимает! Глуп! — злился он.— Неужели он думает, что своим посещением доставляет мне удовольствие? Ну, как его выжить?» — Послушайте,— перебил он полковника,— что мне делать? У меня ужасно болит горло! Черт меня дернул зайти сегодня утром к одному знакомому, у которого ребенок лежит в дифтерите. Вероятно, я заразился. Да, чувствую, что заразился. У меня дифтерит!

— Случается! — невозмутимо прогнусявил Перегарин.

— Болезнь опасная! Мало того, что я сам болен, но могу еще и других заразить. Болезнь в высшей степени прилипчивая! Как бы мне вас не заразить, Парфений Саввич!

— Меня-то? Ге-ге! В тифозных гошпиталях живал — не заражался, а у вас вдруг заражусь! Хе-хе... Меня, батенька, старую кочерыжку, никакая болезнь не возьмет. Старики живучи. Был у нас в бригаде один старенький старичок, подполковник Требьен... французского происхождения. Ну-с, так вот этот Требьен...

И Перегарин начал рассказывать о живучести Требьена. Часы пробили половину первого.

— Виноват, я вас перебью, Парфений Саввич,— простонал Зельтерский.— Вы в котором часу ложитесь спать?

— Когда в два, когда в три, а бывает так, что и вовсе не ложусь, особливо ежели в хорошей компании просидишь или ревматизм разгуляется. Сегодня, например, я часа в четыре лягу, потому до обеда выспался. Я в состоянии вовсе не спать. На войне мы по

целым неделям не ложились. Был такой случай. Стояли мы под Ахалцыхом.

— Виноват. А вот я так всегда в двенадцать ложусь. Встаю я в девять часов, так поневоле приходится раньше ложиться.

— Конечно. Раньше вставать и для здоровья хорошо. Ну-с, так вот-с... стоим мы под Ахалцыхом...

— Черт знает что. Знобит меня, в жар бросает. Всегда этак у меня перед припадком бывает. Надо вам сказать, что со мною случаются иногда странные, нервные припадки. Часу этак в первом ночи... днем припадков не бывает... вдруг в голове начинается шум: жжж... Я теряю сознание, вскакиваю и начинаю бросать в домашних чем попало. Попадется под руки нож, я ножом, стул — я стулом. Сейчас знобит меня, вероятно, перед припадком. Всегда знобом начинается.

— Ишь ты... А вы полечились бы!

— Лечился, не помогает... Ограничиваюсь только тем, что за недолго до припадка предупреждаю знакомых и домашних, чтоб уходили, а леченье давно уже бросил...

— Пссс... Каких только на свете нет болезней! И чума, и холера, и припадки разные...

Полковник покачал головой и задумался. Наступило молчание.

«Почитаю-ка ему свое произведение,— надумал Зельтерский.— Там у меня где-то роман валяется, в гимназии еще писал... Авось службу сослужит...» — Ах, кстати,— перебил Зельтерский размышления Перегарина,— не хотите ли, я почитаю вам свое сочинение? На досуге как-то состряпал... Роман в пяти частях с прологом и эпилогом...

И, не дожидаясь ответа, Зельтерский вскочил и вытащил из стола старую, заржавленную рукопись, на которой крупными буквами было написано: «Мертвая зыбь. Роман в пяти частях».

«Теперь наверное уйдет,— мечтал Зельтерский, перелистывая грехи своей юности.— Буду читать ему до тех пор, пока не взвоет...» — Ну, слушайте, Парфений Саввич...

— С удовольствием... Я люблю-с...

Зельтерский начал. Полковник положил ногу на ногу, поудобней уселся и сделал серьезное лицо, очевидно приготовился слушать долго и добросовестно... Чтец начал с описания природы. Когда часы пробили час, природа уступила свое место описанию замка, в котором жил герой романа граф Валентин Бленский.

— Пожить бы в этаком замке! — вздохнул Перегарин.— И как хорошо написано! Век бы сидел да слушал!

«Ужо погоди! — подумал Зельтерский.— Взвоешь!»

В половине второго замок уступил свое место красивой наружности героя... Ровно в два чтец тихим, подавленным голосом читал:

— «Вы спрашиваете, чего я хочу? О, я хочу, чтобы там, вдали, под сводами южного неба ваша маленькая ручка томно трепетала в моей руке... Только там, там живее забьется мое сердце под сводами моего душевного здания... Любви, любви!..» — Нет, Парфений Саввич... сил нет... Замучился!

— А вы бросьте! Завтра дочитаете, а теперь поговорим... Так вот-с, я не рассказал вам еще, что было под Ахалцыхом...

Измученный Зельтерский повалился на спинку дивана и, закрыв глаза, стал слушать...

«Все средства испробовал,— думал он.— Ни одна пуля не пробила этого мастодонта. Теперь до четырех часов будет сидеть... Господи, сто целковых дал бы теперь, чтобы сию минуту завалиться дрыхнуть... Ба! Попрошу-ка у него денег взаймы! Прелестное средство...» — Парфений Саввич! — перебил он полковника.— Я опять вас перебью. Хочется мне попросить вас об одном маленьком одолжении... Дело в том, что в последнее время, живя здесь на даче, я ужасно истратился. Денег нет ни копейки, а между тем в конце августа мне предстоит получка.

— Однако... я у вас засиделся...— пропыхтел Перегарин, ища глазами фуражки.— Уж третий час... Так вы о чем же-с?

— Хотелось бы у кого-нибудь взять взаймы рублей двести — триста... Не знаете вы такого человечка?

— Где ж мне знать? Однако... вам бай-бай пора... Будемте здоровы... Супруге вашей...

Полковник взял фуражку и сделал шаг к двери.

— Куда же вы? — заторжествовал Зельтерский...— А мне хотелось вас попросить... Зная вашу доброту, я надеялся...

— Завтра, а теперь к жене марш! Чай, заждалась друга сердешного... Хе-хе-хе... Прощайте, ангел... Спать!

Перегарин быстро пожал Зельтерскому руку, надел фуражку и вышел. Хозяин торжествовал.

МЫСЛИТЕЛЬ

Знойный полдень. В воздухе ни звуков, ни движений... Вся природа похожа на одну очень большую, забытую богом и людьми, усадьбу. Под опустившейся листвой старой липы, стоящей около квартиры тюремного смотрителя Яшкина, за маленьким треногим столом сидят сам Яшкин и его гость, штатный смотритель уездного училища Пимфов. Оба без сюртуков; жилетки их расстегнуты; лица потны, красны, неподвижны; способность их выражать что-нибудь парализована зноем... Лицо Пимфова совсем скисло и заплыло ленью, глаза его посоловели, нижняя губа отвисла. В глазах же и на лбу у Яшкина еще заметна кое-какая деятельность; по-видимому, он о чем-то думает... Оба глядят друг на друга, молчат и выражают свои мучения пыхтеньем и хлопаньем ладонями по мухам. На столе графин с водкой, мочалистая вареная говядина и коробка из-под сардин с серой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья...

— Да-с! — издает вдруг Яшкин, и так неожиданно, что собака, дремлющая недалеко от стола, вздрагивает и, поджав хвост, бежит в сторону.— Да-с! Что ни говорите, Филипп Максимыч, а в русском языке очень много лишних знаков препинания!

— То есть почему же-с? — скромно вопрошает Пимфов, вынимая из рюмки крылышко мухи.— Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место.

— Уж это вы оставьте! Никакого значения не имеют ваши знаки. Одно только мудрование... Наставит десяток запятых в одной строчке и думает, что он умный. Например, товарищ прокурора Меринов после каждого слова запятую ставит. Для чего это? Милостивый государь — запятая, посетив тюрьму такого-то числа — запятая, я заметил — запятая, что арестанты — запятая... тьфу! В глазах рябит! Да и в книгах то же самое... Точка с запятой, двоеточие, кавычки разные. Противно читать даже. А иной франт, мало ему одной точки, возьмет и натыкает их целый ряд... Для чего это?

— Наука того требует...— вздыхает Пимфов.

— Наука... Умопомрачение, а не наука... Для форсу выдумали... пыль в глаза пущать... Например, ни в одном иностранном языке нет этого ять, а в России есть... Для чего он, спрашивается? Напиши ты хлеб с ятем или без ятя, нешто не все равно?

— Бог знает что́ вы говорите, Илья Мартыныч! — обижается Пимфов.— Как же это можно хлеб через *е* писать? Такое говорят, что слушать даже неприятно.

Пимфов выпивает рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачивает лицо в сторону.

— Да и секли же меня за этот ять! — продолжает Яшкин.— Помню это, вызывает меня раз учитель к черной доске и диктует: «Лекарь уехал в город». Я взял и написал *лекарь* с *е*. Выпорол. Через неделю опять к доске, опять пиши: «Лекарь уехал в город». Пишу на этот раз с ятем. Опять пороть. За что же, Иван Фомич? Помилуйте, сами же вы говорили, что тут ять нужно! «Тогда, говорит, я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некоего академика о ять в слове *лекарь,* соглашаюсь с академией наук. Порю же я тебя по долгу присяги...» Ну, и порол. Да и у моего Васютки всегда ухо вспухши от этого ять... Будь я министром, запретил бы я вашему брату ятем людей морочить.

— Прощайте,— вздыхает Пимфов, моргая глазами и надевая сюртук.— Не могу я слышать, ежели про науки...

— Ну, ну, ну... уж и обиделся! — говорит Яшкин,

хватая Пимфова за рукав.— Я ведь это так, для разговора только... Ну, сядем, выпьем!

Оскорбленный Пимфов садится, выпивает и отворачивает лицо в сторону. Наступает тишина. Мимо пьющих кухарка Феона проносит лохань с помоями. Слышится помойный плеск и визг облитой собаки. Безжизненное лицо Пимфова раскисает еще больше; вот-вот растает от жары и потечет вниз на жилетку. На лбу Яшкина собираются морщинки. Он сосредоточенно глядит на мочалистую говядину и думает... Подходит к столу инвалид, угрюмо косится на графин и, увидев, что он пуст, приносит новую порцию... Еще выпивают.

— Да-с! — говорит вдруг Яшкин.

Пимфов вздрагивает и с испугом глядит на Яшкина. Он ждет от него новых ересей.

— Да-с! — повторяет Яшкин, задумчиво глядя на графин.— По моему мнению, и наук много лишних!

— То есть как же это-с? — тихо спрашивает Пимфов.— Какие науки вы находите лишними?

— Всякие... Чем больше наук знает человек, тем больше он мечтает о себе. Гордости больше... Я бы перевешал все эти... науки... Ну, ну... уж и обиделся! Экий какой, ей-богу, обидчивый, слова сказать нельзя! Сядем, выпьем!

Подходит Феона и, сердито тыкая в стороны своими пухлыми локтями, ставит перед приятелями зеленые щи в миске. Начинается громкое хлебание и чавканье. Словно из земли вырастают три собаки и кошка. Они стоят перед столом и умильно поглядывают на жующие рты. За щами следует молочная каша, которую Феона ставит с такой злобой, что со стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели молча выпивают.

— Все на этом свете лишнее! — замечает вдруг Яшкин.

Пимфов роняет на колени ложку, испуганно глядит на Яшкина, хочет протестовать, но язык ослабел от хмеля и запутался в густой каше... Вместо обычного «то есть как же это-с?» получается одно только мычание.

— Все лишнее...— продолжает Яшкин.— И науки, и люди... и тюремные заведения, и мухи... и каша... И вы лишний... Хоть вы и хороший человек и в бога веруете, но и вы лишний...

— Прощайте, Илья Мартыныч! — лепечет Пимфов, силясь надеть сюртук и никак не попадая в рукава.

— Сейчас вот мы натрескались, налопались — а для чего это? Так... Все это лишнее... Едим и сами не знаем, для чего... Ну, ну... уж и обиделся! Я ведь это так только... для разговора! И куда вам идти? Посидим, потолкуем... выпьем!

Наступает тишина, изредка только прерываемая звяканьем рюмок да пьяным покрякиваньем... Солнце начинает уже клониться к западу, и тень липы все растет и растет. Приходит Феона и, фыркая, резко махая руками, расстилает около стола коврик. Приятели молча выпивают по последней, располагаются на ковре и, повернувшись друг к другу спинами, начинают засыпать...

«Слава богу,— думает Пимфов,— сегодня не дошел до сотворения мира и иерархии, а то бы волосы дыбом, хоть святых выноси...»

Третий час ночи. Супруги Фибровы не спят. Он ворочается с боку на бок и то и дело сплевывает, она, маленькая, худощавая брюнеточка, лежит неподвижно и задумчиво смотрит на открытое окно, в которое нелюдимо и сурово глядится рассвет...

— Не спится! — вздыхает она.— Тебя мутит?

— Да, немножко.

— Не понимаю, Вася, как тебе не надоест каждый день являться домой в таком виде! Не проходит ночи, чтоб ты не был болен. Стыдно!

— Ну, извини... Я это нечаянно. Выпил в редакции бутылку пива да в «Аркадии» немножко перепустил. Извини.

— Да что извинять? Самому тебе должно быть противно и гадко. Плюет, икает... Бог знает на что похож. И ведь это каждую ночь, каждую ночь! Я не помню, когда ты являлся домой трезвым?

— Я не хочу пить, да оно как-то само собой пьется. Должность такая анафемская. Целый день по городу рыскаешь. Там рюмку выпьешь, в другом месте пива, а там, глядь, приятель пьющий встретился... нельзя не выпить. А иной раз и сведения не получишь без того, чтоб с какой-нибудь свиньей бутылку водки не стрескать. Сегодня, например, на пожаре нельзя было с агентом не выпить.

— Да, проклятая должность! — вздыхает брюнетка.— Бросил бы ты ее, Вася!

— Бросить? Как можно!

— Очень можно. Добро бы ты писатель настоящий был, писал бы хорошие стихи или повести, а то так, репортер какой-то, про кражи да пожары пишешь. Такие пустяки пишешь, что иной раз и читать совестно. Хорошо бы еще, пожалуй, если б зарабатывал много, этак рублей двести — триста в месяц, а то получаешь какие-то несчастные пятьдесят рублей, да и то неаккуратно. Живем мы бедно, грязно. Квартира прачешной пропахла, кругом всё мастеровые да развратные женщины живут. Целый день только и слышишь неприличные слова и песни. Ни мебели у нас, ни белья. Ты одет неприлично, бедно, так что хозяйка на тебя тыкает, я хуже модистки всякой. Едим мы хуже всяких поденщиков... Ты где-то на стороне в трактирах какую-то дрянь ешь, и то, вероятно, не на свой счет, я... одному только богу известно, что я ем. Ну, будь мы какие-нибудь плебеи, необразованные, тогда бы помирилась я с этим житьем, а то ведь ты дворянин, в университете кончил, по-французски говоришь. Я в институте кончила, избалована.

— Погоди, Катюша, пригласят меня в «Куриную слепоту» отдел хроники вести, тогда иначе заживем. Я номер тогда возьму.

— Это уж ты мне третий год обещаешь. Да что толку, если и пригласят? Сколько бы ты ни получал, все равно пропьешь. Не перестанешь же водить компанию со своими писателями и актерами! А знаешь что, Вася? Написала бы я к дяде Дмитрию Федорычу в Тулу. Нашел бы он тебе прекрасное место где-нибудь в банке или казенном учреждении. Хорошо, Вася! Ходил бы ты, как люди, на службу, получал бы каждое двадцатое число жалованье — и горя мало! Наняли бы мы себе дом-особнячок с двором, с сараями, с сенником. Там за двести рублей в год отличный дом можно нанять. Купили бы мебели, посуды, скатертей, наняли бы кухарку и обедали бы каждый день. Пришел бы ты со службы в три часа, взглянул на стол, а на нем чистенькие приборы, редиска, закуска разная. Завели бы мы себе кур, уток, голубей, купили бы корову. В провинции, если не роскошно жить и не пропивать, все

это можно иметь за тысячу рублей в год. И дети бы наши не умирали от сырости, как теперь, и мне бы не приходилось таскаться то и дело в больницу. Вася, богом молю тебя, поедем жить в провинцию!

— Там с дикарями от скуки подохнешь.

— А здесь разве весело? Ни общества у нас, ни знакомства... С чистенькими, мало-мальски порядочными людьми у тебя только деловое знакомство, а семейно ни с кем ты не знаком. Кто у нас бывает? Ну кто? Эта Клеопатра Сергеевна. По-твоему, она знаменитость, фельетоны музыкальные пишет, а по-моему,— она содержанка, распущенная женщина. Ну можно ли женщине пить водку и при мужчинах корсет снимать? Пишет статьи, говорит постоянно о честности, а как взяла в прошлом году у меня рубль взаймы, так до сих пор не отдает. Потом, ходит к тебе этот твой любимый поэт. Ты гордишься, что знаком с такой знаменитостью, а рассуди ты по совести: сто́ит ли он этого?

— Честнейший человек!

— Но веселого в нем очень мало. Приходит к нам для того только, чтобы напиться... Пьет и рассказывает неприличные анекдоты. Третьего дня, например, нализался и проспал здесь на полу целую ночь. А актеры! Когда я была девушкой, то боготворила этих знаменитостей, с тех пор же, как вышла за тебя, я не могу на театр глядеть равнодушно. Вечно пьяны, грубы, не умеют держать себя в женском обществе, надменны, ходят в грязных ботфортах. Ужасно тяжелый народ! Не понимаю, что веселого ты находишь в их анекдотах, которые они рассказывают с громким, хриплым смехом! И глядишь ты на них как-то заискивающе, словно одолжение делают тебе эти знаменитости, что знакомы с тобой... Фи!

— Оставь, пожалуйста!

— А там, в провинции, ходили бы к нам чиновники, учителя гимназии, офицеры. Народ все воспитанный, мягкий, без претензий. Напьются чаю, выпьют по рюмке, если подашь, и уйдут. Ни шуму, ни анекдотов, все так степенно, деликатно. Сидят, знаешь, на креслах и на диване и рассуждают о разных разностях, а тут горничная разносит им чай с вареньем и с сухари-

ками. После чаю играют на рояли, поют, пляшут. Хорошо, Вася! Часу в двенадцатом легонькая закуска: колбаса, сыр, жаркое, что от обеда осталось... После ужина ты идешь дам провожать, а я остаюсь дома и прибираю.

— Скучно, Катюша!

— Если дома скучно, то ступай в клуб или на гуляньe... Здесь на гуляньях души знакомой не встретишь, поневоле запьешь, а там кого ни встретил, всякий тебе знаком. С кем хочешь, с тем и беседуй... Учителя, юристы, доктора — есть с кем умное слово сказать... Образованными там очень интересуются, Вася! Ты бы там одним из первых был...

И долго мечтает вслух Катюша... Серо-свинцовый свет за окном постепенно переходит в белый... Тишина ночи незаметно уступает свое место утреннему оживлению. Репортер не спит, слушает и то и дело приподнимает свою тяжелую голову, чтобы сплюнуть... Вдруг, неожиданно для Катюши, он делает резкое движение и вскакивает с постели... Лицо его бледно, на лбу пот...

— Чертовски меня мутит,— перебивает он мечтания Катюши.— Постой, я сейчас...

Накинув на плечи одеяло, он быстро выбегает из комнаты. С ним происходит неприятный казус, так знакомый по своим утренним посещениям пьющим людям. Минуты через две он возвращается бледный, томный... Его пошатывает... На лице его выражение омерзения, отчаяния, почти ужаса, словно он сейчас только понял всю внешнюю неприглядность своего житья-бытья. Дневной свет освещает перед ним бедность и грязь его комнаты, и выражение безнадежности на его лице становится еще живее.

— Катюша, напиши дяде! — бормочет он.

— Да? Ты согласен? — торжествует брюнетка.— Завтра же напишу и даю тебе честное слово, что ты получишь прекрасное место! Вася, ты это... не нарочно?

— Катюша, прошу... ради бога...

И Катюша опять начинает мечтать вслух. Под звук своего голоса и засыпает она. Снится ей дом-особнячок, двор, по которому солидно шагают ее собственные куры и утки. Она видит, как из слухового окна глядят

на нее голуби, и слышит, как мычит корова. Кругом все тихо: ни соседей-жильцов, ни хриплого смеха, не слышно даже этого ненавистного, спешащего скрипа перьев. Вася чинно и благородно шагает около палисадника к калитке. Это идет он на службу. И душу ее наполняет чувство покоя, когда ничего не желается, мало думается...

К полудню просыпается она в прекраснейшем настроении духа. Сон благотворно повлиял на нее. Но вот, протерев глаза, она глядит на то место, где так недавно ворочался Вася, и обхватывавшее ее чувство радости сваливается с нее, как тяжелая пуля. Вася ушел, чтобы возвратиться поздно ночью в нетрезвом виде, как возвращался он вчера, третьего дня... всегда... Опять она будет мечтать, опять на лице его мелькнет омерзение.

— Незачем писать дяде! — вздыхает она.

ДЕЛЕЦ

Он маклер, биржевой заяц, дирижер в танцах, комиссионер, шафер, кум, плакальщик на похоронах и ходатай по делам. Иванову известен он как рьяный консерватор, Петрову же — как отъявленный нигилист. Радуется чужим свадьбам, носит детям конфеты и терпеливо беседует со старухами. Одет всегда по моде и причесан à la Капуль. Скрытен. Имеет большую памятную книжку, которую держит в тайне. Делаем из нее выдержки:

«Потрачено на угощение княжеского камердинера 5 р. 20 к. Сбыл акцию Лозово-Севастопольской дороги, причем потерпел 14 коп. убытку».

«Не забыть показать графине Дыриной новый пасьянс под названием «Принцесса»: 12 первых карт, вынутых из колоды, размещаются в форме круга; следующие кладутся, как знаешь, на одну или другую из этих карт, невзирая на масть до появления червонной дамы и проч. Напомнить кстати о Пете Сивухине, желающем поступить в Дримадерский полк. Тут же переговорить с горничной Олей касательно выкроек для купчихи Выбухиной».

«За сватовство Ерыгин не додал 7 руб. Того же дня на крестинах следил я за Куцыным, либерально заговаривал с ним о политике, но подозрительного ничего не добился. Придется подождать».

«Инженер Фунин заказал нанять квартиру для его новой содержанки и просил старую, т. е. Елену Михайловну, сбыть кому-нибудь. Обещал сделать то и другое к 20 августа».

«Княгиня Хлыдина дает за свои любовные письма к поручику Скотову 1000 р. Просить 5000, уступить за 3000, но ни в каком разе не отдавать ей всех. То письмо, в котором описывается свидание в саду, продать ей особо в будущем».

«Был свидетелем на суде. Помазал прокурора по губам, а потому, когда защитник стал меня пощипывать, то председатель за меня вступился».

«Не забыть дать по морде агенту Янкелю, чтоб не врал».

«Вчера у Букашиных во время винта следили за мной. Пришлось для блезиру проиграть 15 р. Все-таки получил оплеуху».

«Гусин дал 25 р. для отдачи их в газету «Хрюкало» за то, что не печатали судебного отчета. Будет с них и десяти...»

УТОПЛЕННИК

Сценка

На набережной большой, судоходной реки суматоха, какая обыкновенно бывает в летние полудни. Нагрузка и разгрузка барок в разгаре. Слышатся, не переставая, ругань и шипенье пароходов.

— Тирли... тирли...— стонут блоки-лебедки.

В воздухе стоит запах вяленой рыбы и дегтя... К агенту общества пароходства «Щелкопер», сидящему на берегу у самой воды и поджидающему грузоотправителя, подходит приземистая фигура с страшно испитым, опухшим лицом, в рваном пиджаке и латаных полосатых брюках. На голове ее полинявшая фуражка с полупившимся козырьком и с пятном, оставшимся от когда-то бывшей кокарды... Галстук сполз с воротничка и ерзает по шее...

— Вивat господину купцу! — хрипит фигура, делая под козырек.— Живьо![1] Не желаете ли, ваше высокостепенство, утопленника посмотреть?

— А где утопленник? — спрашивает агент.

— В действительности утопленника не существует, но я могу вам его представить. Прыжок в воду — и пред вами гибель утопающего человека! Картина не столь печальная, сколько ироническая в смысле своих комедийных свойств... Позвольте, господин купец, представить!

---

[1] Привет! (от *сербск.* живео).

— Я не купец.

— Виноват... Миль пардон... [1] Нынче и купцы стали ходить в партикулярном, так что сам Ной не сумел бы отделить чистых от нечистых. Но тем лучше, что вы интеллигент... Мы поймем друг друга... Я тоже из благородных... Обер-офицерский сын и в свое время был представлен к чину четырнадцатого класса... Итак, милорд, артист художеств предлагает вам свои услуги... Один прыжок в воду, и перед вами картина.

— Нет, благодарю вас...

— Если вас тревожат соображения материального свойства, то спешу вас успокоить... С вас я возьму недорого... За утопление себя в сапогах — два рубля, без сапог — только рубль...

— Почему же такая разница?

— Потому что сапоги составляют самую дорогую часть одежды и сушить их весьма трудно. Ergo [2], вы позволяете заработать?

— Нет, я не купец и не люблю таких сильных ощущений...

— Гм... Вы, насколько я понимаю вас, вероятно, незнакомы с сущностью дела... Вы думаете, что я предлагаю вам нечто грубое, невежественное, но тут, кроме юмористического и сатирического, ничего не будет-с... Вы лишний раз улыбнетесь — и только... Ведь смешно видеть, как человек плавает в одежде и борется с волнами! И к тому же... дадите заработать.

— А вы бы, чем утопленников изображать, делом бы занялись.

— Делом... Каким же делом? Благородного занятия мне не дадут благодаря склонности моей к алкоголизму, да и протекция необходима-с, а за простое, чернорабочее ремесло мешает мне взяться мое благородство.

— А вы наплюйте на ваше благородство.

— То есть как же это наплевать? — спрашивает фигура, гордо поднимая голову и усмехаясь.— Если птица понимает, что она птица, то как же благородному

---

[1] Тысяча извинений (от *франц.* mille pardon).

[2] Следовательно *(лат.)*.

человеку не понимать своего звания? Я хоть и беден, оборван, нищ, но я горррд... Кровью своей горд!

— Однако гордость не мешает вам плавать в одежде...

— Краснею! Ваше замечание имеет свою долю горькой истины. Сейчас видно просвещенного человека! Но прежде чем бросать камнем в грешника, вы должны выслушать... Точно, между нами есть много субъектов, которые, забыв свое достоинство, позволяют невежественным купцам мазать себе голову горчицей, мазаться в бане сажей и изображать дьявола, одеваться в бабье платье и выделывать непристойности, но я... я далек от всего этого! Сколько бы мне купец ни давал денег, я не позволю вымазать свою голову горчицей и другим, хотя бы благородным, веществом. В изображении же утопленника я не вижу ничего позорного... Вода предмет мокрый, чистый. От окунутия не запачкаешься, а, напротив, еще чище станешь. И медицина не против этого... Впрочем, если вы не согласны, то я могу взять и дешевле... Извольте, я за рубль в сапогах...

— Нет, не нужно...

— Почему же-с?

— Не нужно, вот и все...

— Поглядели бы, как я захлебываюсь... Лучше меня по всей реке никто не умеет тонуть... Ежели б господа доктора убедились, как я делаю мертвое лицо, они бы меня возвысили... Извольте, я с вас только шесть гривен возьму! Почин дороже денег... С другого бы я и трех рублей не взял, но по лицу замечаю, что вы хороший господин... С ученых я беру дешевле...

— Оставьте меня, пожалуйста!

— Как знаете!.. Вольному воля, спасенному рай, только напрасно вы не соглашаетесь... В другой раз захотите и десять рублей дать, да не найдете утопленника...

Фигура садится на берегу повыше агента и, громко сопя, начинает рыться в карманах...

— Гм... черрт...— бормочет она...— Где ж это мой табак? Знать, на пристани забыл... Заспорил с офицером о политике и куда-то сгоряча портсигар сунул...

Нынче в Англии перемена министерства... Чудят люди! Позвольте, ваше высокоблагородие, папироску!

Агент подает фигуре папиросу. В это время на берегу показывается грузоотправитель-купец, которого поджидает агент. Фигура вскакивает, прячет папиросу в рукав и делает под козырек.

— Виват, ваше степенство! — хрипит он.— Живьо!

— А-а-а... Это вы! — говорит агент купцу.— Долгонько заставили ждать себя! А тут без вас вот этот ферт меня замучил! Лезет со своими представлениями! Предлагает за шесть гривен утопленника представить...

— Шесть гривен? Ну, это, брат, облопаешься,— говорит купец.— Красная цена четвертак. Вчерась нам тридцать человек на реке кораблекрушение представляли и всего-навсего пятерку взяли, а ты... ишь ты! Шесть гривен! Так и быть, бери три гривенника!

Фигура надувает щеки и презрительно усмехается.

— Три гривенника... Нынче кочан капусты эту цену сто́ит, а вы хотите утопленника... Жирно будет...

— Ну, не надо... Некогда с тобой тут...

— Так и быть уж, для почину... Только вы не рассказывайте купцам, что я так дешево взял.

Фигура снимает сапоги и, нахмурившись, задрав вверх подбородок, подходит к воде и делает неловкий прыжок... Слышится звук падения тяжелого тела в воду... Всплывши наверх, фигура нелепо размахивает руками, болтает ногами и старается изобразить на лице своем испуг... Но вместо испуга получается дрожь от холода...

— Тони! Тони! — кричит купец.— Будет плавать, тони!..

Фигура мигает глазами и, растопырив руки, погружается с головой! В этом и заключается все представление. «Утонув», фигура вылезает из воды и, получив свои три гривенника, мокрая и дрожащая от холода, продолжает свой путь по берегу.

СВИСТУНЫ

Алексей Федорович Восьмеркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата-магистра и показывал ему свое хозяйство. Оба только что позавтракали и были слегка навеселе.

— Это, братец ты мой, кузница...— пояснил Восьмеркин.— На этой виселице лошадей подковывают... А вот это, братец ты мой, баня... Тут в бане длинный диван стоит, под диваном индейки сидят в решетах на яйцах... Как взглянешь на диван, так и вспомнишь толикая многая... Баню только зимой топлю... Важная, брат, штукенция! Только русский человек и мог выдумать баню! За один час на верхней полочке столько переживешь, чего итальянцу или немцу в сто лет не пережить... Лежишь, как в пекле, а тут Авдотья тебя веником, веником... чики-чики... чики-чики... Встанешь, выпьешь холодного квасу и опять чики-чики... Слезешь потом с полки, как сатана красный... А вот это людская... Тут мои вольнонаемники... Зайдем?

Помещик и магистр нагнулись и вошли в похилившуюся, нештукатуренную развалюшку с продавленной крышей и разбитым окном. При входе их обдало запахом варева. В людской обедали... Мужики и бабы сидели за длинным столом и большими ложками ели гороховую похлебку. Увидев господ, они перестали жевать и поднялись.

— Вот они, мои...— начал Восьмеркин, окидывая глазами обедающих.— Хлеб да соль, ребята!

— Алалаблблбл...

— Вот они! Русь, братец ты мой! Настоящая Русь! Народ на подбор! И что за народ! Какому, прости господи, скоту немцу или французу сравняться? Супротив нашего народа всё то свиньи, тля!

— Ну, не говори...— залепетал магистр, закуривая для чистоты воздуха сигару.— У всякого народа свое историческое прошлое... свое будущее...

— Ты западник! Разве ты понимаешь? Вот то-то и жаль, что вы, ученые, чужое выучили, а своего знать не хотите! Вы презираете, чуждаетесь! А я читал и согласен: интеллигенция протухла, а ежели в ком еще можно искать идеалов, так только вот в них, вот в этих лодырях... Взять хоть бы Фильку...

Восьмеркин подошел к пастуху Фильке и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и издал звук «гы-ы»...

— Взять бы хоть этого Фильку... Ну, чего, дурак, смеешься? Я серьезно говорю, а ты смеешься... Взять хоть этого дурня... Погляди, магистр! В плечах — косая сажень! Грудища, словно у слона! С места, анафему, не сдвинешь! А сколько в нем силы-то этой нравственной таится! Сколько таится! Этой силы на десяток вас, интеллигентов, хватит... Дерзай, Филька! Бди! Не отступай от своего! Крепко держись! Ежели кто будет говорить тебе что-нибудь, совращать, то плюй, не слушай... Ты сильнее, лучше! Мы тебе подражать должны!

— Господа наши милостивые! — замигал глазами степенный кучер Антип.— Нешто он это чувствует? Нешто понимает господскую ласку? Ты в ножки, простофиля, поклонись и ручку поцелуй... Милостивцы вы наши! На что хуже человека, как Филька, да и то вы ему прощаете, а ежели человек чрезвый, не баловник, так такому не жисть, а рай... дай бог всякому... И награждаете и взыскиваете.

— Ввво! Самая суть заговорила! Патриарх лесов! Понимаешь, магистр? «И награждаете и взыскиваете...» В простых словах идея справедливости!.. Преклоняюсь, брат! Веришь ли? Учусь у них! Учусь!

— Это верно-с...— заметил Антип.

— Что верно?

— Насчет ученья-с...

— Какого ученья? Что ты мелешь?

— Я насчет ваших слов-с... насчет учения-с... На то вы и господа, чтоб всякие учения постигать... Мы темень! Видим, что вывеска написана, а что она, какой смысл обозначает, нам и невдомек... Носом больше понимаем... Ежели водкой пахнет, то значит — кабак, ежели дегтем, то лавка...

— Магистр, а? Что скажешь? Каков народ? Что ни слово, то с закорючкой, что ни фраза, то глубокая истина! Гнездо, брат, правды в Антипкиной голове! А погляди-ка на Дуняшку! Дуняшка, пошла сюда!

Скотница Дуняша, весноватая, с вздернутым носом, застыдилась и зацарапала стол ногтем.

— Дуняшка, тебе говорят, пошла сюда! Чего, дура, стыдишься? Не укусим!

Дуняша вышла из-за стола и остановилась перед барином.

— Какова? Так и дышит силищей! Видал ты таких у себя там, в Питере? Там у вас спички, жилы да кости, а эта, гляди, кровь с молоком! Простота, ширь! Улыбку погляди, румянец щек! Все это натура, правда, действительность, не так, как у вас там! Что это у тебя за щеками набито?

Дуняша пожевала и проглотила что-то...

— А погляди-ка, братец ты мой, на плечищи, на ножищи! — продолжал Восьмеркин.— Небось как бултыхнет этим кулачищем в спинищу своего любезного, так звон пойдет, словно из бочки... Что, все еще с Андрюшкой валандаешься? Смотри мне, Андрюшка, задам я тебе пфеферу [1]. Смейся, смейся... Магистр, а? Формы-то, формы...

Восьмеркин нагнулся к уху магистра и зашептал... Дворня стала смеяться.

— Вот и дождалась, что тебя на смех подняли, непутящая...— заметил Антип, глядя с укоризной на Дуняшу.— Что, красней рака стала? Про путную девку не стали бы так рассказывать...

— Теперь, магистр, на Любку посмотри! — продолжал Восьмеркин.— Эта у нас первая запевала... Ты

[1] перцу (от *нем.* Pfeffer).

там ездишь меж своих чухонцев и собираешь плоды народного творчества... Нет, ты наших послушай! Пусть тебе наши споют, так слюной истечешь! Нукося, ребята! Нукося! Любка, начинай! Да ну же, свиньи! Слушаться!

Люба стыдливо кашлянула в кулак и резким, сиплым голосом затянула песню. Ей вторили остальные... Восьмеркин замахал руками, замигал глазами и, стараясь прочесть на лице магистра восторг, закудахтал.

Магистр нахмурился, стиснул губы и с видом глубокого знатока стал слушать.

— Мда...— сказал он.— Вариант этой песни имеется у Киреевского, выпуск седьмой, разряд третий, песнь одиннадцатая... Мда... Надо записать...

Магистр вынул из кармана книжку и, еще больше нахмурившись, стал записывать... Пропев одну песню, «люди» начали другую... А похлебка между тем простыла и каша, которую вынули из печи, перестала уже испускать из себя дымок.

— Так его! — притоптывал Восьмеркин.— Так его! Важно! Преклоняюсь!

Дело, вероятно, дошло бы и до танцев, если бы не вошел в людскую лакей Петр и не доложил господам, что кушать подано.

— А мы, отщепенцы, отбросы, осмеливаемся еще считать себя выше и лучше! — негодовал плаксивым голосом Восьмеркин, выходя с братом из людской.— Что мы? Кто мы? Ни идеалов, ни науки, ни труда... Ты слышишь, они хохочут? Это они над нами!.. И они правы! Чуют фальшь! Тысячу раз правы и... и... А видал Дуняшку? Ше-ельма девчонка! Ужо, погоди, после обеда я позову ее...

За обедом оба брата все время рассказывали о самобытности, нетронутости и целости, бранили себя и искали смысла в слове «интеллигент».

После обеда легли спать. Выспавшись, вышли на крыльцо, приказали подать себе сельтерской и опять начали о том же...

— Петька! — крикнул Восьмеркин лакею.— Поди позови сюда Дуняшку, Любку и прочих! Скажи, хороводы водить! Да чтоб скорей! Живо у меня!

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА

Это случается обыкновенно после хорошего проигрыша или после попойки, когда разыгрывается катар. Степан Степаныч Жилин просыпается в необычайно пасмурном настроении. Вид у него кислый, помятый, разлохмаченный; на сером лице выражение недовольства: не то он обиделся, не то брезгает чем-то. Он медленно одевается, медленно пьет свое виши и начинает ходить по всем комнатам.

— Желал бы я знать, какая ссскотина ходит здесь и не затворяет дверей? — ворчит он сердито, запахиваясь в халат и громко отплевываясь.— Убрать эту бумагу! Зачем она здесь валяется? Держим двадцать прислуг, а порядка меньше, чем в корчме. Кто там звонил? Кого принесло?

— Это бабушка Анфиса, что̀ нашего Федю принимала,— отвечает жена.

— Шляются тут... дармоеды!

— Тебя не поймешь, Степан Степаныч. Сам приглашал ее, а теперь бранишься.

— Я не бранюсь, а говорю. Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем сидеть этак, сложа руки, и на спор лезть! Не понимаю этих женщин, клянусь честью! Не по-ни-маю! Как они могут проводить целые дни без дела? Муж работает, трудится, как вол, как ссскотина, а жена, подруга жизни, сидит, как цацочка, ничего не делает и ждет только случая, как бы побра-

ниться от скуки с мужем. Пора, матушка, оставить эти институтские привычки! Ты теперь уже не институтка, не барышня, а мать, жена! Отворачиваешься? Ага! Неприятно слушать горькие истины?

— Странно, что горькие истины ты говоришь, только когда у тебя печень болит.

— Да, начинай сцены, начинай...

— Ты вчера был за городом? Или играл у кого-нибудь?

— А хотя бы и так? Кому какое дело? Разве я обязан отдавать кому-нибудь отчет? Разве я проигрываю не свои деньги? То, что я сам трачу, и то, что тратится в этом доме, принадлежит мне! Слышите ли? Мне!

И так далее, все в таком роде. Но ни в какое другое время Степан Степаныч не бывает так рассудителен, добродетелен, строг и справедлив, как за обедом, когда около него сидят все его домочадцы. Начинается обыкновенно с супа. Проглотив первую ложку, Жилин вдруг морщится и перестает есть.

— Черт знает что...— бормочет он.— Придется, должно быть, в трактире обедать.

— А что? — тревожится жена.— Разве суп нехорош?

— Не знаю, какой нужно иметь свинский вкус, чтобы есть эту бурду! Пересолен, тряпкой воняет... клопы какие-то вместо лука... Просто возмутительно, Анфиса Ивановна! — обращается он к гостье-бабушке.— Каждый день даешь прорву денег на провизию... во всем себе отказываешь, и вот тебя чем кормят! Они, вероятно, хотят, чтобы я оставил службу и сам пошел в кухню стряпать.

— Суп сегодня хорош...— робко замечает гувернантка.

— Да? Вы находите? — говорит Жилин, сердито щурясь на нее.— Впрочем, у всякого свой вкус. Вообще, надо сознаться, мы с вами сильно расходимся во вкусах, Варвара Васильевна. Вам, например, нравится поведение этого мальчишки (Жилин трагическим жестом указывает на своего сына Федю), вы в восторге от него, а я... я возмущаюсь. Да-с!

Федя, семилетний мальчик с бледным, болезненным лицом, перестает есть и опускает глаза. Лицо его еще больше бледнеет.

— Да-с, вы в восторге, а я возмущаюсь... Кто из нас прав, не знаю, но смею думать, что я, как отец, лучше знаю своего сына, чем вы. Поглядите, как он сидит! Разве так сидят воспитанные дети? Сядь хорошенько!

Федя поднимает вверх подбородок и вытягивает шею, и ему кажется, что он сидит ровнее. На глазах у него навертываются слезы.

— Ешь! Держи ложку как следует! Погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка! Не сметь плакать! Гляди на меня прямо!

Федя старается глядеть прямо, но лицо его дрожит и глаза переполняются слезами.

— А-а-а... ты плакать? Ты виноват, ты же и плачешь? Пошел, стань в угол, скотина!

— Но... пусть он сначала пообедает! — вступается жена.

— Без обеда! Такие мерз... такие шалуны не имеют права обедать!

Федя, кривя лицо и подергивая всем телом, сползает со стула и идет в угол.

— Не то еще тебе будет! — продолжает родитель.— Если никто не желает заняться твоим воспитанием, то, так и быть, начну я... У меня, брат, не будешь шалить да плакать за обедом! Болван! Дело нужно делать! Понимаешь? Дело делать! Отец твой работает, и ты работай! Никто не должен даром есть хлеба! Нужно быть человеком! Че-ло-ве-ком!

— Перестань, ради бога! — просит жена по-французски.— Хоть при посторонних не ешь нас... Старуха все слышит, и теперь благодаря ей всему городу будет известно...

— Я не боюсь посторонних,— отвечает Жилин по-русски.— Анфиса Ивановна видит, что я справедливо говорю. Что ж, по-твоему, я должен быть доволен этим мальчишкой? Ты знаешь, сколько он мне стоит? Ты знаешь, мерзкий мальчишка, сколько ты мне стоишь? Или ты думаешь, что я деньги фабрикую, что мне достаются они даром? Не реветь! Молчать! Да ты слышишь

меня или нет? Хочешь, чтоб я тебя, подлеца этакого, высек?

Федя громко взвизгивает и начинает рыдать.

— Это наконец невыносимо! — говорит его мать, вставая из-за стола и бросая салфетку.— Никогда не даст покойно пообедать! Вот где у меня твой кусок сидит!

Она показывает на затылок и, приложив платок к глазам, выходит из столовой.

— Они обиделись...— ворчит Жилин, насильно улыбаясь.— Нежно воспитаны... Так-то, Анфиса Ивановна, не любят нынче слушать правду... Мы же и виноваты!

Проходит несколько минут в молчании. Жилин обводит глазами тарелки и, заметив, что к супу еще никто не прикасался, глубоко вздыхает и глядит в упор на покрасневшее, полное тревоги, лицо гувернантки.

— Что же вы не едите, Варвара Васильевна? — спрашивает он.— Обиделись, стало быть? Тэк-с... Не нравится правда. Ну, извините-с, такая у меня натура, не могу лицемерить... Всегда режу правду-матку (вздох). Однако я замечаю, что присутствие мое неприятно. При мне не могут ни говорить, ни кушать... Что ж?.. Сказали бы мне, я бы ушел... Я и уйду.

Жилин поднимается и с достоинством идет к двери. Проходя мимо плачущего Феди, он останавливается.

— После всего, что здесь произошло, вы сссвободны! — говорит он Феде, с достоинством закидывая назад голову.— Я больше в ваше воспитание не вмешиваюсь. Умываю руки! Прошу извинения, что искренно, как отец, желая вам добра, обеспокоил вас и ваших руководительниц. Вместе с тем раз навсегда слагаю с себя ответственность за вашу судьбу...

Федя взвизгивает и рыдает еще громче. Жилин с достоинством поворачивает к двери и уходит к себе в спальную.

Выспавшись после обеда, Жилин начинает чувствовать угрызения совести. Ему совестно жены, сына, Анфисы Ивановны и даже становится невыносимо жутко при воспоминании о том, что было за обедом, но самолюбие слишком велико, не хватает мужества быть искренним, и он продолжает дуться и ворчать...

Проснувшись на другой день утром, он чувствует себя в отличном настроении и, умываясь, весело посвистывает. Придя в столовую пить кофе, он застает там Федю, который при виде отца поднимается и глядит на него растерянно.

— Ну что, молодой человек? — спрашивает весело Жилин, садясь за стол.— Что у вас нового, молодой человек? Живешь? Ну, иди, бутуз, поцелуй своего отца.

Федя, бледный, с серьезным лицом, подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки, потом отходит и молча садится на свое место.

СТАРОСТА

Сценка

В одном из грязных трактирчиков уездного городишка N сидит за столом староста Шельма и ест жирную кашу. Он ест и после каждых трех ложек выпивает «последнюю».

— Так-то, душа ты моя, тяжело вести крестьянские дела! — говорит он трактирщику, застегивая под столом пуговки, которые то и дело расстегиваются.— Да, милаша! Крестьянские дела это такая политика, что Бисмарка мало. Чтобы вести их, нужно иметь особую умственность, сноровку. Почему вот меня мужики любят? Почему они ко мне как мухи льнут? А? По какой это причине я ем кашу с маслом, а другие адвокаты без масла? А потому, что в моей голове талант есть, дар.

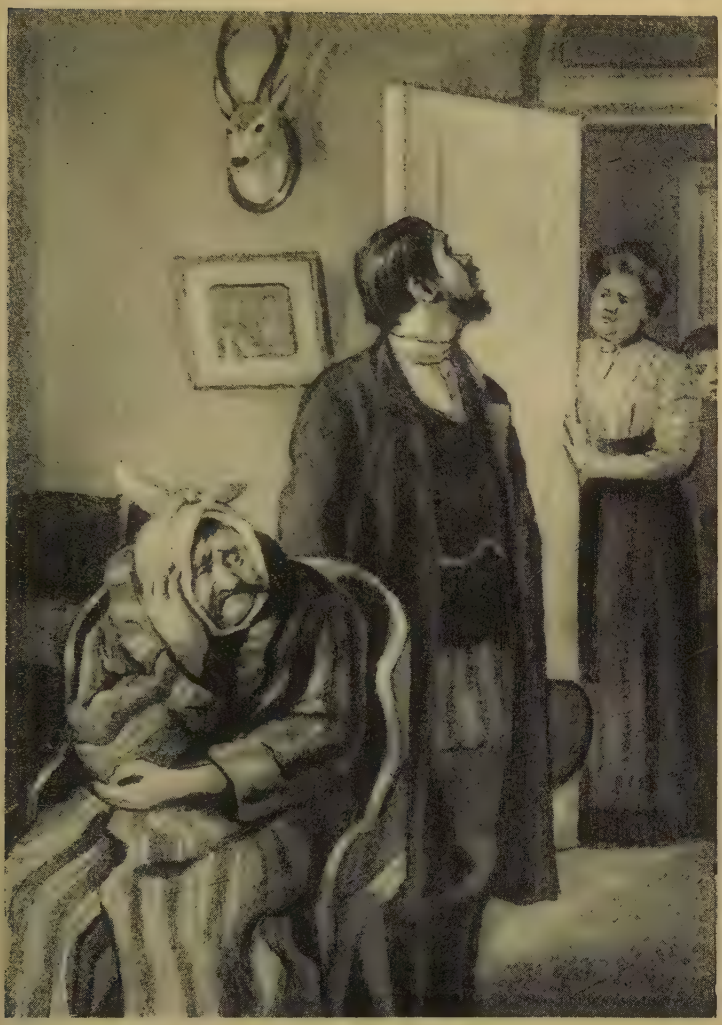
Шельма выпивает с сопеньем рюмку и с достоинством вытягивает свою грязную шею. Не одна шея грязна у этого человека. Руки, сорочка, брюки, салфетка, уши... все грязно.

— Я не ученый. Зачем врать? Курсов я не кончал, во фраках по-ученому не ходил, но, брат, могу без скромности и всяких там репресалий сказать тебе, что и за миллион не найдешь другого такого юриста. То есть скопинского дела я тебе не решу и за Сарру Беккер не возьмусь, но ежели что по крестьянской части, то никакие защитники, никакие там прокуроры... никто супротив меня не годится. Ей-богу. Один только я

могу крестьянские дела решать, а больше никто. Будь ты хоть Ломоносов, хоть Бетховен, но ежели в тебе нет моего таланта, то лучше и не суйся. К примеру взять хоть дело репловского старосты. Слыхал ты про это дело?

— Нет, не слыхал.

— Хорошее дело, политичное! Плевако бы осекся, а у меня выгорело. Да-с. Есть, братец ты мой, недалече от Москвы колокольный завод. На этом заводе, душа ты моя, служит старшим мастером наш репловский мужик Евдоким Петров. Служит он там уж лет двадцать. По пачпорту он, конечно, мужик, лапотник, кацап, но вид наружности у него совсем не мужицкий. За двадцать лет и обтесался и обшлифовался. Ходит, понимаешь, в триковом костюме, на руках кольцы, через все пузо золотая цепка перетянута — не подходи! Совсем не мужик. Еще бы, братец ты мой! Тыщи полторы жалованья, квартира, харчи, хозяин с ним запанибрата, так поневоле в баре полезешь. И физиомордия, знаешь, этакая, тово (говорящий выпивает)... внушительная. Только вот, братец ты мой, вздумалось этому Евдокиму Петрову съездить в гости к себе на родину, то есть в наше Реплово. Жил, жил, да вдруг соскучился. Житье на колокольном заводе медовое, ни с чего, кажись бы, старшему мастеру скучать, но, знаешь, дым отечества. Поезжай ты в Америку, сядь там по горло в сторублевки, а тебя все в твой трактир тянуть будет. Так вот и его, сердечного, потянуло. Ну-с. Отпросился у своего хозяина на недельку и поехал. Приезжает в Реплово. Первым делом идет к родственникам. «Тут, говорит, я когда-то жил. Тут вот пас стада отца моего, тут вот я спал и проч.»... воспоминания детства, одним словом. Ну, не без того, чтоб и похвастать: «Вот, братцы, глядите! Таким лапотником был, как и вы, а трудом и потом достиг степеней, богат и сыт. Трудитесь, мол, и вы...» Косолапые сначала слушали и величали, а потом и думают: «Так-то так, милый человек, все это оченно даже великолепно, только какой нам с тебя толк? Неделя уж, как у нас живешь, а хоть бы косушку...» Послали к нему сотского...



К рассказу «Лошадиная фамилия».

Художники Кукрыниксы. 1953.

— Давай, Евдоким, сто рублей денег!

— Почему такое?

— Миру на водку... Мир за твое здоровье погулять хочет...

А Евдоким человек степенный, божественный. Ни водки не пьет, ни табаку не курит и другим этого не дозволяет.

— На водку, говорит, и полушки не дам.

— Как так! По какому полному праву? Нешто ты не наш?

— Что ж такое, что ваш? Недоимки за мной не значится... все как следовает. С какой же стати мне платить?

И пошло и пошло... Евдоким свое, мир ему свое. Озлобился мир. Знаешь дураков-то! Им не втолкуешь. Захотели погулять, так ты тут хоть на двунадесяти языках объясняй им, хоть из пушек пали, ничего не поймут. Выпить хочется, и шабаш! Да и досадно: богатый земляк, и вдруг ни шерсти, ни молока! Стали придирки выдумывать, как из Евдокима сто рублей выцыганить. Думали всем миром, думали и ничего не выдумали. Ходят около избы и только пужают: мы тебя да я тебя! А он сидит себе и в ус не дует. «Чист я, думает, и перед богом, и перед законом, и перед миром, чего ж мне бояться? Вольная я птица!» Хорошо. Видят мужики, что денег им не видать, как ушей своих, стали думать, как бы этой вольной птице за неуважение крылья ощипать. Своего ума нет, посылают за мной. Приезжаю в Реплово. «Так и так, говорят, Денис Семеныч, денег не дает! Выдумай-ка закорючку!» Что ж, братец ты мой? Ничего выдумать нельзя, все как на ладони видно, все Евдокимовы права налицо. Никакой прокурор тут закорючки не выдумает, хоть три года он думай... сам черт не прицепится.

Шельма выпивает рюмку и подмигивает глазом.

— А я нашел, к чему прицепиться! — хихикает он.— Да-с! Угадай-ка, что я придумал! Во веки веков не угадаешь! «Вот что, говорю, ребята, выбирайте вы его в свои сельские старосты». Те смекнули и выбрали. Слушай же. Приносят Евдокиму старостову бляху. Тот

смеется. «Шутите, говорит, не желаю я быть вашим старостой».

— А мы желаем!

— А я не желаю! Завтра же уеду!

— Нет, не уедешь. Права не имеешь. Староста не может по закону свое место бросать.

— Так я,— говорит Евдоким,— слагаю с себя это звание.

— Не имеешь права. Староста обязан пробыть на месте не менее трех лет и только по суду лишается сего звания. Уж раз тебя выбрали, так ни ты, ни мы... никто не может тебя отставить!

Взвыл мой Евдоким. Летит как угорелый к волостному старшине. Тот с писарем ему все законы.

— По таким-то и таким-то статьям раньше трех лет не можешь оставить этого звания. Послужи три года, тогда и езжай.

— Какое тут три года? И месяца мне ждать нельзя! Без меня хозяин как без рук! Он тысячные убытки терпит! Да и кроме завода, у меня там дом, семейство!

И прочее. Проходит месяц, Евдоким сует миру уж не сто, а триста рублей, только отпустите Христа ради. Те рады бы деньги взять, да уж поделать нечего, поздно. Едет Евдоким к господину непременному члену.

— Так и так, ваше высокоблагородие, по домашним обстоятельствам не могу служить. Отпустите, богом молю!

— Не имею права. Нет законных причин для увольнения. Ты, во-первых, не болен и, во-вторых, нет опорачивающих обстоятельств. Ты должен служить.

А надо тебе сказать, там на всех тыкают. Волостной старшина или сельский староста немалая шишка в государстве, почище и поважнее любого канцелярского, а меж тем на него тыкают, словно на лакея. Каково-то Евдокиму в триковом костюме это тыканье слышать! Молит он непременного члена Христом богом.

— Не имею права,— говорит член.— Ежели не веришь, то спроси вот уездное присутствие. Все тебе скажут. Не только я, но даже и губернатор не может

тебя уволить. Приговор мирского схода, ежели форма не нарушена, не подлежит кассации.

Едет Евдоким к предводителю, от предводителя к исправнику. Весь уезд объездил, и все ему одно и то же: служи, не имеем права. Что тут делать? А из завода письмо за письмом, депеша за депешей. Посоветовала родня Евдокиму послать за мной. Так он — веришь ли? — не то что послал, а сам прискакал. Приехал и, ни слова не говоря, сует мне в руки красненькую. Одна, мол, надежда.

— Что ж? — говорю.— Извольте, за сто рублей устрою вам увольнение.

Взял сто рублей и устроил.

— Как? — спрашивает трактирщик.

— Угадай-ка. Ларчик просто открывается. В самом законе загадка разгадывается.

Шельма подходит к трактирщику и, хохоча, шепчет ему на ухо:

— Посоветовал ему украсть что-нибудь, под суд попасть. А? Какова закорючка? Сначала, братец ты мой, он опешил. Как так украсть? Да так, говорю, украдь у меня вот этот самый пустой портмонет, вот тебе и тюрьма на полтора месяца. Сначала он фордыбачился: доброе имя и прочее. На чертей тебе, говорю, твое доброе имя? Нешто у тебя, говорю, формуляр, что ли? Отсидишь в тюрьме полтора месяца, тем дело и кончится, да зато опорачивающие обстоятельства у тебя будут, бляху снимут! Подумал человечина, махнул рукой и украл у меня портмонет. Теперь он уж отсидел свой срок и за меня бога молит. Так вот, братец ты мой, какая умственность! Во всем вселенном шаре другой такой политики не найдешь, как в крестьянских делах, и ежели кто может решать эти дела, так только я. Никто не может кассировать, а я могу. Да.

Шельма требует себе еще бутылку водки и начинает другой рассказ — о пропитии репловскими мужиками чужого хлеба на корню.

МЕРТВОЕ ТЕЛО

Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман и матовой пеленой застилает все доступное для глаза. Освещенный луною, этот туман дает впечатление то спокойного, беспредельного моря, то громадной белой стены. В воздухе сыро и холодно. Утро еще далеко. На шаг от проселочной дороги, идущей по опушке леса, светится огонек. Тут, под молодым дубом, лежит мертвое тело, покрытое с головы до ног новой белой холстиной. На груди большой деревянный образок. Возле трупа, почти у самой дороги, сидит «очередь» — два мужика, исполняющих одну из самых тяжелых и неприглядных крестьянских повинностей. Один — молодой, высокий парень с едва заметными усами и с густыми, черными бровями, в рваном полушубке и лаптях, сидит на мокрой траве, протянув вперед ноги, и старается скоротать время работой. Он нагнул свою длинную шею и, громко сопя, делает из большой, угловатой деревяшки ложку. Другой — маленький мужичонка со старческим лицом, тощий, рябой, с жидкими усами и козлиной бородкой, свесил на колени руки и, не двигаясь, глядит безучастно на огонь. Между обоими лениво догорает небольшой костер и освещает их лица в красный цвет. Тишина. Слышно только, как скрипит под ножом деревяшка и потрескивают в костре сырые бревнышки.

— А ты, Сема, не спи...— говорит молодой.

— Я... не сплю...— заикается козлиная бородка.

— То-то... Одному сидеть жутко, страх берет. Рассказал бы что-нибудь, Сема!

— Не... не умею...

— Чудной ты человек, Семушка! Другие люди и посмеются, и небылицу какую расскажут, и песню споют, а ты — бог тебя знает какой. Сидишь, как пугало огородное, и глаза на огонь таращишь. Слова путем сказать не умеешь... Говоришь и будто боишься. Чай, уж годов пятьдесят есть, а рассудка меньше, чем в дите... И тебе не жалко, что ты дурачок?

— Жалко... — угрюмо отвечает козлиная бородка.

— А нам нешто не жалко глядеть на твою глупость? Мужик ты добрый, тверезый, одно только горе — ума в голове нету. А ты бы, ежели господь тебя обидел, рассудка не дал, сам бы ума набирался... Ты понатужься, Сема... Где что хорошее скажут, ты и вникай, бери себе в толк, да все думай, думай... Ежели какое слово тебе непонятно, ты понатужься и рассуди в голове, в каких смыслах это самое слово. Понял? Понатужься! А ежели сам до ума доходить не будешь, то так и помрешь дурачком, последним человеком.

Вдруг в лесу раздается протяжный, стонущий звук. Что-то, как будто сорвавшись с самой верхушки дерева, шелестит листвой и падает на землю. Всему этому глухо вторит эхо. Молодой вздрагивает и вопросительно глядит на своего товарища.

— Это сова пташек забижает,— говорит угрюмо Сема.

— А что, Сема, ведь уж время птицам лететь в теплые края!

— Знамо, время.

— Холодные нынче зори стали. Х-холодно! Журавль зябкая тварь, нежная. Для него такой холод — смерть. Вот я не журавль, а замерз... Подложи-ка дровец!

Сема поднимается и исчезает в темной чаще. Пока он возится за кустами и ломает сухие сучья, его товарищ закрывает руками глаза и вздрагивает от каж-

дого звука. Сема приносит охапку хворосту и кладет ее на костер. Огонь нерешительно облизывает язычками черные сучья, потом вдруг, словно по команде, охватывает их и освещает в багровый свет лица, дорогу, белую холстину с ее рельефами от рук и ног мертвеца, образок... «Очередь» молчит. Молодой еще ниже нагибает шею и еще нервнее принимается за работу. Козлиная бородка сидит по-прежнему неподвижно и не сводит глаз с огня...

—«Ненавидящие Сиона... посрамистеся от господа...» — слышится вдруг в ночной тишине поющая фистула, потом слышатся тихие шаги, и на дороге в багровых лучах костра вырастает темная человеческая фигура в короткой монашеской ряске, широкополой шляпе и с котомкой за плечами.

— Господи твоя воля!.. Мать честная! — говорит эта фигура сиплым дискантом.— Увидал огонь во тьме кромешной и взыгрался духом... Сначала думал,— ночное, потом же и думаю: какое же это ночное, ежели коней не видать? Не тати ли сие, думаю, не разбойники ли, богатого Лазаря поджидающие? Не цыганская ли это нация, жертвы идолам приносящая? И взыграся дух мой... Иди, говорю себе, раб Феодосий, и приими венец мученический! И понесло меня на огонь, как мотыля легкокрылого. Теперь стою перед вами и по наружным физиогномиям вашим сужу о душах ваших: не тати вы и не язычники. Мир вам!

— Здорово.

— Православные, не знаете ли вы, как тут пройтить до Макухинских кирпичных заводов?

— Близко. Вот это, стало быть, пойдете прямо по дороге; версты две пройдете, там будет Ананова, наша деревня. От деревни, батюшка, возьмешь вправо, берегом, и дойдешь до заводов. От Ананова версты три будет.

— Дай бог здоровья. А вы чего тут сидите?

— Понятыми сидим. Вишь, мертвое тело...

— Что? Какое тело? Мать честная!

Странник видит белую холстину с образком и вздрагивает так сильно, что его ноги делают легкий

прыжок. Это неожиданное зрелище действует на него подавляюще. Он весь съеживается и, раскрыв рот, выпуча глаза, стоит как вкопанный... Минуты три он молчит, словно не верит глазам своим, потом начинает бормотать:

— Господи! Мать честная!! Шел себе, никого не трогал, и вдруг этакое наказание...

— Вы из каких будете? — спрашивает парень.— Из духовенства?

— Не... нет... Я по монастырям хожу... Знаешь Ми... Михайлу Поликарпыча, заводского управляющего? Так вот я ихний племянник... Господи твоя воля! Зачем же вы тут?

— Сторожим... Велят.

— Так, так...— бормочет ряска, поводя рукой по глазам.— А откуда покойник-то?

— Прохожий.

— Жизнь наша! Одначе, братцы, я тово... пойду... Оторопь берет. Боюсь мертвецов пуще всего, родимые мои... Ведь вот скажи на милость! Покеда этот человек жив был, не замечали его, теперь же, когда он мертв и тлену предается, мы трепещем перед ним, как перед каким-нибудь славным полководцем или преосвященным владыкою... Жизнь наша! Что ж, его убили, что ли?

— Христос его знает! Может, убили, а может, и сам помер.

— Так, так... Кто знает, братцы, может, душа его теперь сладости райские вкушает!

— Душа его еще здесь около тела ходит...— говорит парень.— Она три дня от тела не идет.

— М-да... Холода какие нынче! Зуб на зуб не попадет... Так, стало быть, идти все прямо и прямо...

— Покеда в деревню не упрешься, а там возьмешь вправо, берегом.

— Берегом... Так... Что ж это я стою? Идти надо... Прощайте, братцы!

Ряска делает шагов пять по дороге и останавливается.

— Забыл копеечку на погребение положить,— говорит он.— Православные, можно монетку положить?

— Тебе это лучше знать, ты по монастырям ходишь. Ежели настоящей смертью он помер, то пойдет за душу, ежели самоубивец, то грех.

— Верно... Может, и в самом деле самоубийца! Так уж лучше я свою монетку при себе оставлю. Ох, грехи, грехи! Дай мне тыщу рублей, и то б не согласился тут сидеть... Прощайте, братцы!

Ряска медленно отходит и опять останавливается.

— Ума не приложу, как мне быть...— бормочет она.— Тут около огня остаться, рассвета подождать... страшно. Идти тоже страшно. Всю дорогу в потемках покойник будет мерещиться... Вот наказал господь! Пятьсот верст пешком прошел, и ничего, а к дому стал подходить, и горе... Не могу идти!

— Это правда, что страшно...

— Не боюсь ни волков, ни татей, ни тьмы, а покойников боюсь. Боюсь, да и шабаш! Братцы православные, молю вас коленопреклоненно, проводите меня до деревни!

— Нам не велено от тела отходить.

— Никто не увидит, братцы! Ей-же-ей, не увидит! Господь вам сторицею воздаст! Борода, проводи, сделай милость! Борода! Что ты все молчишь?

— Он у нас дурачок...— говорит парень.

— Проводи, друг! Пятачок дам!

— За пятачок бы можно,— говорит парень, почесывая затылок,— да не велено... Ежели вот Сема, дурачок-то, один посидит, то провожу. Сема, посидишь тут один?

— Посижу...— соглашается дурачок.

— Ну и ладно. Пойдем!

Парень поднимается и идет с ряской. Через минуту их шаги и говор смолкают. Сема закрывает глаза и тихо дремлет. Костер начинает тухнуть, и на мертвое тело ложится большая черная тень...

Хоронили генерал-лейтенанта Запупырина. К дому покойника, где гудела похоронная музыка и раздавались командные слова, со всех сторон бежали толпы, желавшие поглядеть на вынос. В одной из групп, спешивших к выносу, находились чиновники Пробкин и Свистков. Оба были со своими женами.

— Нельзя-с! — остановил их помощник частного пристава с добрым, симпатичным лицом, когда они подошли к цепи.— Не-ельзя-с! Пра-ашу немножко назад! Господа, ведь это не от нас зависит! Прошу назад! Впрочем, так и быть, дамы могут пройти... пожалуйте, mesdames [1], но... вы, господа, ради бога...

Жены Пробкина и Свисткова зарделись от неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цепь, а мужья их остались по сю сторону живой стены и занялись созерцанием спин пеших и конных блюстителей.

— Пролезли! — сказал Пробкин, с завистью и почти ненавистью глядя на удалявшихся дам.— Счастье, ей-богу, этим шиньонам! Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как ихнему, дамскому. Ну что вот в них особенного? Женщины, можно сказать, самые обыкновенные, с предрассудками, а их пропустили; а нас с тобой, будь мы хоть статские советники, ни за что не пустят.

---

[1] сударыни *(франц.)*.

— Странно вы рассуждаете, господа! — сказал помощник пристава, укоризненно глядя на Пробкина.— Впусти вас, так вы сейчас толкаться и безобразить начнете; дама же, по своей деликатности, никогда себе не позволит ничего подобного!

— Оставьте, пожалуйста! — рассердился Пробкин.— Дама в толпе всегда первая толкается. Мужчина стоит и глядит в одну точку, а дама растопыривает руки и толкается, чтоб ее нарядов не помяли. Говорить уж нечего! Женскому полу всегда во всем фортуна. Женщин и в солдаты не берут, и на танцевальные вечера им бесплатно, и от телесного наказания освобождают... А за какие, спрашивается, заслуги? Девица платок уронила — ты поднимай, она входит — ты вставай и давай ей свой стул, уходит — ты провожай... А возьмите чины! Чтоб достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить, а девица в какие-нибудь полчаса обвенчалась со статским советником — вот уж она и персона. Чтобы мне князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить, Шипку взять, в министрах побывать, а какая-нибудь, прости господи, Варенька или Катенька, молоко на губах не обсохло, покрутит перед графом шлейфом, пощурит глазки — вот и ваше сиятельство... Ты сейчас губернский секретарь... Чин этот себе ты, можно сказать, кровью и потом добыл; а твоя Марья Фомишна? За что она губернская секретарша? Из поповен и прямо в чиновницы. Хороша чиновница! Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящие.

— Зато она в болезнях чад родит,— заметил Свистков.

— Велика важность! Постояла бы она перед начальством, когда оно холоду напускает, так ей бы эти самые чада удовольствием показались. Во всем и во всем им привилегия! Какая-нибудь девица или дама из нашего круга может генералу такое выпалить, чего ты и при экзекуторе не посмеешь сказать. Да... Твоя Марья Фомишна может смело со статским советником под ручку пройтись, а возьми-ка ты статского советника под руку! Возьми-ка, попробуй! В на-

шем доме, как раз под нами, брат, живет какой-то профессор с женой... Генерал, понимаешь, Анну первой степени имеет, а то и дело слышишь, как его жена чешет: «Дурак! дурак! дурак!». А ведь баба простая, из мещанок. Впрочем, тут законная, так тому и быть... испокон века так положено, чтоб законные ругались, но ты возьми незаконных! Что эти себе дозволяют! Во веки веков не забыть мне одного случая. Чуть было не погиб, да так уж, знать, за молитвы родителей уцелел. В прошлом году, помнишь, наш генерал, когда уезжал в отпуск к себе в деревню, меня взял с собой, корреспонденцию вести... Дело пустяковое, на час работы. Отработал свое и ступай по лесу ходить или в лакейскую романсы слушать. Наш генерал — человек холостой. Дом — полная чаша, прислуги как собак, а жены нет, управлять некому. Народ все распущенный, непослушный... и над всеми командует баба, экономка Вера Никитишна. Она и чай наливает, и обед заказывает, и на лакеев кричит... Баба, братец ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядит. Толстая, красная, визгливая... Как начнет на кого кричать, как поднимет визг, так хоть святых выноси. Не так руготня донимала, как этот самый визг. О господи! Никому от нее житья не было. Не только прислугу, но и меня, бестия, задирала... Ну, думаю, погоди; улучу минутку и все про тебя генералу расскажу. Он погружен, думаю, в службу и не видит, как ты его обкрадываешь и народ жуешь, постой же, открою я ему глаза. И открыл, брат, глаза, да так открыл, что чуть было у самого глаза не закрылись навеки, что даже теперь, как вспомню, страшно делается. Иду я однажды по коридору и вдруг слышу визг. Сначала думал, что свинью режут, потом же прислушался и слышу, что это Вера Никитишна с кем-то бранится: «Тварь! Дрянь ты этакая! Черт!» — Кого это? — думаю. И вдруг, братец ты мой, вижу, отворяется дверь и из нее вылетает наш генерал, весь красный, глаза выпученные, волосы, словно черт на них подул. А она ему вслед: «Дрянь! Черт!»

— Врешь!

— Честное мое слово. Меня, знаешь, в жар бросило. Наш убежал к себе, а я стою в коридоре и, как дурак, ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка, смерд — и вдруг позволяет себе такие слова и поступки! Это, значит, думаю, генерал хотел ее рассчитать, а она воспользовалась тем, что нет свидетелей, и отчеканила его на все корки. Все одно, мол, уходить! Взорвало меня... Пошел я к ней в комнату и говорю: «Как ты смела, негодница, говорить такие слова высокопоставленному лицу? Ты думаешь, что как он слабый старик, так за него некому вступиться?» — Взял, знаешь, да и смазал ее по жирным щекам разика два. Как подняла, братец ты мой, визг, как заорала, так будь ты трижды неладна, унеси ты мое горе! Заткнул я уши и пошел в лес. Этак часика через два бежит навстречу мальчишка. «Пожалуйте к барину». Иду. Вхожу. Сидит, насупившись, как индюк, и не глядит.

«Вы что же, говорит, это у меня в доме выстраиваете?» — То есть как? говорю. Ежели, говорю, это вы насчет Никитишны, ваше-ство, то я за вас же вступился.— «Не ваше дело, говорит, вмешиваться в чужие семейные дела!» — Понимаешь? Семейные! И как начал, брат, он меня отчитывать, как начал лечь — чуть я не помер! Говорил-говорил, ворчал-ворчал да вдруг, брат, как захохочет ни с того ни с сего.— «И как, говорит, это вы смогли?!. Как это у вас хватило храбрости? Удивительно! Но надеюсь, друг мой, что все это останется между нами... Ваша горячность мне понятна, но согласитесь, что дальнейшее пребывание ваше в моем доме невозможно...» — Вот, брат! Ему даже удивительно, как это я смог такую важную паву побить. Ослепила баба! Тайный советник, Белого Орла имеет, начальства над собой не знает, а бабе поддался... Ба-альшие, брат, привилегии у женского пола! Но... снимай шапку! Несут генерала... Орденов-то сколько, батюшки светы! Ну, что, ей-богу, пустили дам вперед, разве они понимают что-нибудь в орденах?

Заиграла музыка.

Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную скважину. В кухне происходило нечто, по его мнению, необыкновенное, доселе не виданное. За кухонным столом, на котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук, сидел большой, плотный мужик в извозчичьем кафтане, рыжий, бородатый, с большой каплей пота на носу. Он держал на пяти пальцах правой руки блюдечко и пил чай, причем так громко кусал сахар, что Гришину спину подирал мороз. Против него на грязном табурете сидела старуха нянька Аксинья Степановна и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезно и в то же время сияло каким-то торжеством. Кухарка Пелагея возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ее лице Гриша видел целую иллюминацию: оно горело и переливало всеми цветами, начиная с красно-багрового и кончая смертельно бледным. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за ножи, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворчала, стучала, но в сущности ничего не делала. На стол, за которым пили чай, она ни разу не взглянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвечала отрывисто, сурово, не поворачивая лица.

— Кушайте, Данило Семеныч! — угощала нянька извозчика.— Да что вы все чай да чай? Вы бы водочки выкушали!

И нянька придвигала к гостю сороковушку и рюмку, причем лицо ее принимало ехиднейшее выражение.

— Не потребляю-с... нет-с... — отнекивался извозчик.— Не невольте, Аксинья Степановна.

— Какой же вы... Извозчики, а не пьете... Холостому человеку невозможно, чтоб не пить. Выкушайте!

Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение: нет, мол, не поймаешь, старая ведьма!

— Не пью-с, увольте-с... При нашем деле не годится это малодушество. Мастеровой человек может пить, потому он на одном месте сидит, наш же брат завсегда на виду, в публике. Не так ли-с? Пойдешь в кабак, а тут лошадь ушла; напьешься ежели — еще хуже: того и гляди уснешь или с козел свалишься. Дело такое.

— А вы сколько в день выручаете, Данило Семеныч?

— Какой день. В иной день на зелененькую выездишь, а в другой раз так и без гроша ко двору поедешь. Дни разные бывают-с. Нониче наше дело совсем ничего не стоит. Извозчиков, сами знаете, хоть пруд пруди, сено дорогое, а седок пустяковый, норовит все на конке проехать. А все ж, благодарить бога, не на что жалиться. И сыты, и одеты, и... можем даже другого кого осчастливить (извозчик покосился на Пелагею)... ежели им по сердцу.

Что дальше говорилось, Гриша не слышал. Подошла к двери мамаша и послала его в детскую учиться.

— Ступай учиться. Не твое дело тут слушать!

Придя к себе в детскую, Гриша положил перед собой «Родное слово», но ему не читалось. Все только что виденное и слышанное вызвало в его голове массу вопросов.

«Кухарка женится...— думал он.— Странно. Не понимаю, зачем это жениться? Мамаша женилась на папаше, кузина Верочка — на Павле Андреиче. Но на папе и Павле Андреиче, так и быть уж, можно же-

ниться: у них есть золотые цепочки, хорошие костюмы, у них всегда сапоги вычищенные; но жениться на этом страшном извозчике с красным носом, в валенках... фи! И почему это няньке хочется, чтоб бедная Пелагея женилась?»

Когда из кухни ушел гость, Пелагея явилась в комнаты и занялась уборкой. Волнение еще не оставило ее. Лицо ее было красно и словно испуганно. Она едва касалась веником пола и по пяти раз мела каждый угол. Долго она не выходила из той комнаты, где сидела мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество, и ей хотелось высказаться, поделиться с кем-нибудь впечатлениями, излить душу.

— Ушел! — проворчала она, видя, что мамаша не начинает разговора.

— А он, заметно, хороший человек,— сказала мамаша, не отрывая глаз от вышиванья.— Трезвый такой, степенный.

— Ей-богу, барыня, не выйду! — крикнула вдруг Пелагея, вся вспыхнув.— Ей-богу, не выйду!

— Ты не дури, не маленькая. Это шаг серьезный, нужно обдумать хорошенько, а так, зря, нечего кричать. Он тебе нравится?

— Выдумываете, барыня! — застыдилась Пелагея.— Такое скажут, что... ей-богу...

«Сказала бы: не нравится!» — подумал Гриша.

— Какая ты, однако, ломака... Нравится?

— Да он, барыня, старый! Гы-ы!

— Выдумывай еще! — окрысилась на Пелагею из другой комнаты нянька.— Сорока годов еще не исполнилось. Да на что тебе молодой? С лица, дура, воды не пить... Выходи, вот и все!

— Ей-богу, не выйду!— взвизгнула Пелагея.

— Блажишь! Какого лешего тебе еще нужно? Другая бы в ножки поклонилась, а ты — не выйду! Тебе бы все с почтальонами да лепетиторами перемигиваться! К Гришеньке лепетитор ходит, барыня, так она об него все свои глазищи обмозолила. У, бесстыжая!

— Ты этого Данилу раньше видала? — спросила барыня Пелагею.

— Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу, Аксинья откуда-то привела... черта окаянного... И откуда он взялся на мою голову!

За обедом, когда Пелагея подавала кушанья, все обедающие засматривали ей в лицо и дразнили ее извозчиком. Она страшно краснела и принужденно хихикала.

«Должно быть, совестно жениться...— думал Гриша.— Ужасно совестно!»

Все кушанья были пересолены, из недожаренных цыплят сочилась кровь, и, в довершение всего, во время обеда из рук Пелагеи сыпались тарелки и ножи, как с похилившейся полки, но никто не сказал ей ни слова упрека, так как все понимали состояние ее духа. Раз только папаша с сердцем швырнул салфетку и сказал мамаше:

— Что у тебя за охота всех женить да замуж выдавать! Какое тебе дело? Пусть сами женятся, как хотят.

После обеда в кухне замелькали соседские кухарки и горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье. Откуда они пронюхали о сватовстве — бог весть. Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской за занавеской шушукались нянька и кухарка. Нянька убеждала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувши после этого, Гриша видел во сне похищение Пелагеи Черномором и ведьмой...

С другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика и на свете не было. Изредка только нянька одевалась в новую шаль, принимала торжественно-суровое выражение и уходила куда-то часа на два, очевидно для переговоров... Пелагея с извозчиком не видалась, и когда ей напоминали о нем, она вспыхивала и кричала:

— Да будь он трижды проклят, чтоб я о нем думала! Тьфу!

Однажды вечером в кухню, когда там Пелагея и нянька что-то усердно кроили, вошла мамаша и сказала:

— Выходить за него ты, конечно, можешь, твое это дело, но, Пелагея, знай, что он не может здесь жить... Ты знаешь, я не люблю, если кто в кухне сидит. Смотри же, помни... И тебя я не буду отпускать на ночь.

— И бог знает, что выдумываете, барыня! — взвизгнула кухарка.— Да что вы меня им попрекаете? Пущай он сбесится! Вот еще навязался на мою голову, чтоб ему...

Заглянув в одно воскресное утро в кухню, Гриша замер от удивления. Кухня битком была набита народом. Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городовых, унтер с нашивками, мальчик Филька... Этот Филька обыкновенно трется около прачешной и играет с собаками, теперь же он был причесан, умыт и держал икону в фольговой ризе. Посреди кухни стояла Пелагея в новом ситцевом платье и с цветком на голове. Рядом с нею стоял извозчик. Оба молодые были красны, потны и усиленно моргали глазами.

— Ну-с... кажись, время...— начал унтер после долгого молчания.

Пелагея заморгала всем лицом и заревела... Унтер взял со стола большой хлеб, стал рядом с нянькой и начал благословлять. Извозчик подошел к унтеру, бухнул перед ним поклон и чмокнул его в руку. То же самое сделал он и перед Аксиньей. Пелагея машинально следовала за ним и тоже бухала поклоны. Наконец отворилась наружная дверь, в кухню пахнул белый туман, и вся публика с шумом двинулась из кухни на двор.

«Бедная, бедная! — думал Гриша, прислушиваясь к рыданиям кухарки.— Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся?»

После венца до самого вечера в прачешной пели и играли на гармонике. Мамаша все время сердилась, что от няньки пахнет водкой и что из-за этих свадеб некому поставить самовар. Когда Гриша ложился спать, Пелагея еще не возвращалась.

«Бедная, плачет теперь где-нибудь в потемках! — думал он.— А извозчик на нее: цыц! цыц!»

На другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик. Он поблагодарил мамашу и, взглянув сурово на Пелагею, сказал:

— Вы же, барыня, поглядывайте за ней. Будьте заместо отца-матери. И вы тоже, Аксинья Степанна, не оставьте, посматривайте, чтоб все благородно... без шалостев... А также, барыня, дозвольте рубликов пять в счет ейного жалованья. Хомут надо купить новый.

Опять задача для Гриши: жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета, и вдруг, ни с того ни с сего, явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность! Грише стало горько. Ему страстно, до слез захотелось приласкать эту, как он думал, жертву человеческого насилия. Выбрав в кладовой самое большое яблоко, он прокрался на кухню, сунул его в руку Пелагее и опрометью бросился назад.

СТЕНА

...люди, кончившие курс в специальных заведениях, сидят без дела или же занимают должности, не имеющие ничего общего с их специальностью, и, таким образом, высшее техническое образование является у нас пока непроизводительным...

Из передовой статьи

— Тут, ваше превосходительство, по два раза на день ходит какой-то Маслов, вас спрашивает...— говорил камердинер Иван, брея своего барина Букина.— И сегодня приходил, сказывал, что в управляющие хочет наниматься... Обещался сегодня в час прийти... Чудной человек!

— Что такое?

— Сидит в передней и все бормочет. Я, говорит, не лакей и не проситель, чтоб в передней по два часа тереться. Я, говорит, человек образованный... Хоть, говорит, твой барин и генерал, а скажи ему, что это невежливо людей в передней морить...

— И он бесконечно прав! — нахмурился Букин.— Как ты, братец, иногда бываешь нетактичен! Видишь, что человек порядочный, из чистеньких, ну и пригласил бы его куда-нибудь... к себе в комнату, что ли...

— Не важная птица! — усмехнулся Иван.— Не в генералы пришел наниматься, и в передней посидишь. Сидят люди и почище твоего носа, и то не обижаются... Коли ежели ты управляющий, слуга своему господину, то и будь управляющим, а нечего выдумки выдумывать, в образованные лезть... Тоже, поди ты, в гостиную захотел... харя немытая... Уж оченно много нониче смешных людей развелось, ваше превосходительство!

— Если сегодня еще раз придет этот Маслов, то проси...

Ровно в час явился Маслов. Иван повел его в кабинет.

— Вас граф ко мне прислал? — встретил его Букин.— Очень приятно познакомиться! Садитесь! Вот сюда садитесь, молодой человек, тут помягче будет... Вы уж тут были... мне говорили об этом, но, pardon[1], я вечно или в отлучке, или занят. Курите, милейший... Да, действительно мне нужен управляющий... С прежним мы немножко не поладили... Я ему не уважил, он мне не потрафил, пошли, знаете ли, контры... Хе-хе-хе... Вы ранее управляли где-нибудь именьем?

— Да, я у Киршмахера год служил младшим управляющим... Именье было продано с аукциона, и мне поневоле пришлось ретироваться... Опыта у меня, конечно, почти нет, но я кончил в Петровской земледельческой академии, где изучал агрономию... Думаю, что мои науки хоть немного заменят мне практику...

— Какие же там, батенька, науки? Глядеть за рабочими, за лесниками... хлеб продавать, отчетность раз в год представлять... никаких тут наук не нужно! Тут нужны глаз острый, рот зубастый, голосина... Впрочем, знания не мешают...— вздохнул Букин.— Ну-с, именье мое находится в Орловской губернии. Как, что и почему, узнаете вы вот из этих планов и отчетов, сам же я в имении никогда не бываю, в дела не вмешиваюсь, и от меня, как от Расплюева, ничего не добьетесь, кроме того, что земля черная, лес зеленый... Условия, я думаю, останутся прежние, то есть тысяча жалованья, квартира, провизия, экипаж и полнейшая свобода действий!

«Да он душка!» — подумал Маслов.

— Только вот что, батенька... Простите, но лучше заранее уговориться, чем потом ссориться. Делайте там, что хотите, но да хранит вас бог от нововведений, не сбивайте с толку мужиков и, что главнее всего, хапайте не более тысячи в год...

---

[1] извините *(франц.)*.

— Простите, я не расслышал последней фразы...— пробормотал Маслов.

— Хапайте не больше тысячи в год... Конечно, без хапанья нельзя обойтись, но, милый мой, мера, мера! Ваш предшественник увлекся и на одной шерсти стиснул пять тысяч, и... и мы разошлись. Конечно, по-своему, он прав... человек ищет, где лучше, и своя рубашка ближе к телу, но, согласитесь, для меня это тяжеленько. Так вот помните же: тысячу можно... ну, так и быть уж — две, но не дальше!

— Вы говорите со мной, словно с мошенником! — вспыхнул Маслов, поднимаясь.— Извините, я к таким беседам не привык...

— Да? Как угодно-с... Не смею удерживать...

Маслов взял шапку и быстро вышел.

— Что, папа, нанял управляющего? — спросила Букина его дочь по уходе Маслова.

— Нет... Уж больно малый... тово... честен...

— Что ж, и отлично! Чего же тебе еще нужно?

— Нет, спаси господи и помилуй от честных людей... Если честен, то, наверное, или дела своего не знает, или же авантюрист, пустомеля... дурак. Избави бог... Честный не крадет, не крадет, да уж зато как царапнет залпом за один раз, так только рот разинешь... Нет, душечка, спаси бог от этих честных...

Букин подумал и сказал:

— Пять человек являлось и все такие, как этот... Черт знает счастье какое! Придется, вероятно, прежнего управляющего пригласить...

ПОСЛЕ БЕНЕФИСА

Сцена

Трагик Унылов и благородный отец Тигров сидели в 37 номере гостиницы «Вѣнецыя» и пожинали плоды бенефиса. Перед ними на столе стояли водка, плохое красное, полубутылка коньяку и сардины. Тигров, толстенький, угреватый человечек, созерцательно глядел на графин и угрюмо безмолвствовал. Унылов же пламенел. Держа в одной руке пачку ассигнаций, в другой карандаш, он ерзал на стуле как на иголках и изливал свою душу.

— Что меня утешает и бодрит, Максим,— говорил он,— так это то, что меня молодежь любит. Гимназистики, реалистики — мелюзга, от земли не видно, но ты не шути, брат! Сидят бестии на галерке, у черта на куличках, за тридцать копеек, но только их и слышно, клопов этаких. Первые критики и ценители! Иной с воробья ростом, под столом пешком ходит, а на морденку взглянешь — совсем Добролюбов. Как они вчера кричали! Уны-ло-ва! Унылова!! Вообще, братец, не ожидал. Шестнадцать раз вызвали! И «ам пошé»[1] не дурно: сто двадцать три рубля тридцать копеек! Выпьем!

— Ты же, Васечка, тово...— забормотал Тигров, конфузливо мигая глазами,— презентуй мне сегодня двадцать талеров. В Елец надо съездить. Там дядька

[1] сунуть в карман (от *франц.* empocher).

помер. После него, может быть, осталось что-нибудь. Коли не дашь, придется пешедралом махать. Дашь?

— Гм... Но ведь ты не отдашь, Максим!

— Не отдам, Васечка...— вздохнул благородный отец.— Где ж мне взять? Уж ты так... по дружбе.

— Постой, может быть, мне не хватит. Покупки нужно будет сделать да заказать кое-что. Давай считать.

Унылов потянул к себе бумагу, в которой был завернут коньяк, и стал писать на ней карандашом.

— Тебе двадцать, сестре послать двадцать пять... Бедная женщина уж три года просит прислать что-нибудь. Обязательно пошлю! Это такая милая... хорошая. Пару себе новую сшить рублей в тридцать. За номер и за обед я еще подожду отдавать, успею. Табаку фунта три... штиблеты. Что еще? Выкупить фрак... часы. Куплю тебе новую шапку, а то в этой ты на черта похож. Совестно с тобой по улице ходить. Постой, еще чего?

— Купи, Васечка, револьвер для «Блуждающих огней». Наш не стреляет.

— Да, правда. Антрепренер, подлец, ни за что не купит. Бутафории знать не хочет, антихрист этакий. Ну, стало быть, шесть-семь рублей на револьвер. Что еще?

— В баню сходи, с мылом помойся.

— Баня, мыло и прочее — рубль.

— Тут, Васечка, татарин ходит, отличное чучело лисицы продает. Вот купил бы!

— Да на что мне лисица?

— Так. На стол поставить. Проснешься утром, взглянешь, а у тебя на столе зверь стоит и... и так на душе весело станет!

— Роскошь! Лучше я себе портсигар новый куплю. Вообще, знаешь, следовало бы мне свой гардероб ремонтировать. Надо бы сорочек со стоячими воротниками купить. Стоячие воротники теперь в моде. Ах, да! Чуть было не забыл! Пикейную жилетку!

— Необходимо. В крыловских пьесах нельзя без пикейной жилетки. Штиблеты с пуговками... тросточка. Прачке будешь платить?

— Нет, погожу. Перчатки нужно белые, черные и цветные. Что еще? Соды и кислоты. Касторки раза на три... бумаги, конвертов. Что еще?

Унылов и Тигров подняли на потолок глаза, наморщили лбы и стали думать.

— Персидского порошку! — вспомнил Унылов.— Житья нет от краснокожих. Что еще? Батюшки, пальто! Про самое главное-то мы и забыли, Максим! Как зимой без пальто? Пишу сорок. Но... у меня не хватит! Наплевал бы ты на своего дядьку, Максим!

— Не могу. Единственный родственник, и вдруг наплевать! Наверное, после него осталось что-нибудь.

— Что? Пенковая трубка, тетушкин портрет? Ей-богу, наплюй!

— Не понимаю, что у тебя за эго... эгои... эгоистицизм такой, Васечка? — замигал глазами Тигров.— Будь у меня деньги, да нешто бы я пожалел? Сто... триста... тысячу... бери, сколько хочешь! У меня после родителей десять тысяч осталось. Все актерам роздал!..

— Ладно, ладно, бери свои двадцать!

— Мерси. Карманы все порваны, некуда положить. Но, однако, шестой час уже, пора мне на вокзал.

Тигров тяжело поднялся и стал натягивать на свое шаровидное тело маленькое, узкоплечее пальто.

— Ты же, Васечка, не говори нашим, что я уехал,— сказал он.— Наш подлец бунт поднимет, ежели узнает, что я уехал, не сказавшись. Пусть думают, что я в запое. Проводил бы ты меня, Васечка, на вокзал, а то, не ровен час, зайду по дороге в трактир и все твои талеры ухну. Знаешь мою слабость! Проводи, голубчик!

— Ладно.

Актеры оделись и вышли на улицу.

— Что бы такое купить? — бормотал Унылов, заглядывая по дороге в окна магазинов и лавок.— Погляди, Максим, какой чудный окорок! Будь полный сбор, накажи меня бог, купил бы. А знаешь, почему не было полного сбора? Потому что у купца Чудако-

ва была свадьба. Все плутократы там были. Вздумали же, черти, не вовремя жениться. Погляди-ка, какой в окне цилиндр! Купить нешто? Впрочем, шут с ним.

Придя на вокзал, приятели уселись в зале первого класса и задымили сигарами.

— Черт возьми,— поморщился Унылов,— мне что-то пить захотелось. Давай пива выпьем. Челаэк, пива! Еще первого звонка не было, так что тебе нечего спешить. Ты же, карапуз, не долго езди. Сдери с мертвого дядьки малую толику и назад. Вот что, эээ... чеаэк! Не нужно пива! Дай бутылку Нюи! Выпьем с тобой на прощанье красненького... и езжай себе.

Через полчаса актеры оканчивали уж вторую бутылку. Подперев свою горячую голову кулаками, Унылов глядел любвеобильными глазами на жирное лицо Тигрова и бормотал коснеющим языком:

— Главное зло в нашем мире — это антрр... репрренер. Только тогда артист будет крепко стоять на ногах, когда он в своем деле будет дер... держаться коллективных начал.

— На паях.

— Да, на паях. Парршивое вино. Вот что, выпьем рейнвейнцу!

— Васечка... второй звонок.

— Начхай. С ночным поездом уедешь, а теперь я тебе... выскажу. Челаэк, бутылку рейнского! Антрепрр...енер видит в артисте вещь... мя-со для пушек. Он кулак. Ему не понять артиста. Взять хоть тебя. Ты человек без таланта, но... ты полезный актер. Тебя нужно ценить. Постой, не лезь целоваться, неловко!.. Я тебя за что люблю? За твою душу... истинно артистическое сердце. Максим, я тебе завтра пару заказываю! Все для тебя. И лисицу даже. Дай пожать руку!

Прошел час. Артисты все еще сидели и беседовали.

— Дай только бог встать мне на ноги,— говорил Унылов,— и ты увидишь... Я покажу тогда, что значит сцена! Ты у меня двести в месяц получать будешь... Мне бы только на первый раз тысячу рублей...

летний театр снять... Вот что, не съесть ли нам что-нибудь? Ты хочешь есть? Ты откровенно... Хочешь? Чеаэк, пару жареных дупелей!

— Теперь не бывает-с дупелей,— сказал человек.

— Черт возьми, у вас никогда ничего не бывает! В таком случае, болван, подай... какая у вас там есть дичь? Всю подай! Привыкли, подлецы, купцов кормить всякой дрянью, так думают, что и артист станет есть их дрянь! Неси все сюда! Подай также ликеры! Максим, сигар хочешь? Подашь и сигар.

Немного погодя к приятелям пристал комик Дудкин.

— Нашли, где пить! — удивился Дудкин.— Едем в «Бель-вю». Там теперь все наши...

— Счет! — крикнул Унылов.

— Тридцать шесть рублей двадцать копеек...

— Получай... без сдачи! Едем, Максим! Наплюй на дядьку! Пусть бедный Йорик остается без наследников! Давай сюда двадцать рублей! Завтра поедешь!

В «Бель-вю» приятели потребовали устриц и рейнского.

— И сапоги тебе завтра куплю,— говорил Унылов, наливая Тигрову.— Пей! Кто любит искусство, тот... За искусство!

Пошли в ход искусство, коллективные начала, паи, единодушие, солидарность и прочие актерские идеалы... Поездка же в Елец, покупка чаю, табаку и одежи, выкуп заложенного и уплата сами собой улеглись в далекий... очень далекий ящик... Счет «Бельвю» съел всю бенефисную выручку.

К СВАДЕБНОМУ СЕЗОНУ

Из записной книжки комиссионера

Кучкин, Иван Саввич, губернский секретарь, 42 лет. Некрасив, ряб, гнусяв, но весьма представителен. Принят в хороших домах и имеет тетку полковницу. Живет отдачей денег под проценты. Мошенник, но, в общем, человек порядочный. Ищет девушку лет 18—20, которая была бы из хорошего дома и говорила по-французски. Необходимо должна быть миловидна и иметь приданое в размере 15—20 000.

Фешкин, отставной офицер. Пьет и болеет ревматизмом. Желает жену, которая смотрела бы за ним. Согласен и на вдове, лишь бы была не старше 25 лет и имела капитал.

Прудонов, ретушер, ищет невесту с фотографией, которая была бы не заложена и давала не менее 2000 в год. Пьет, но не постоянно, а запоем. Брюнет и имеет черные глаза.

Гнусина, вдова. Имеет два дома и тысяч сто наличных. Ищет генерала, хотя бы и отставного. На левом глазу едва видимое бельмо и говорит с присвистом. Утверждает, что хотя она и значится вдовой, но на самом деле девица, так как покойный муж ее в день свадьбы заболел трясением всех членов.

Женский, Дифтерит Алексеич, артист театров, 35 лет, неизвестного звания. Говорит, что у его отца

винокуренный завод, но, наверное, брешет. Одет всегда во фрак и белый галстук, потому что другой одежи нет. Оставил театр по причине хриплого голоса. Желает купчиху любой комплекции, лишь бы с деньгами.

Бутузов, бывший штабс-капитан, осужденный в ссылку в Томскую губернию за растрату и подлоги, желает осчастливить сироту, которая пошла бы с ним в Сибирь! Должна быть дворянского рода.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Последние выводы зубоврачебной науки

— Не повезло мне по зубной части, Осип Францыч! — вздыхал маленький, поджарый человечек в потускневшем пальто, латаных сапогах и с серыми, словно ощипанными усами, глядя с подобострастием на своего коллегу, жирного, толстого немца в новом дорогом пальто и с гаванкой в зубах.— Совсем не повезло! Собака его знает, отчего это так! Или оттого, что нынче зубных врачей больше, чем зубов... или у меня таланта настоящего нет, чума его знает! Трудно фортуну понять. Взять, к примеру, хоть вас. Вместе мы в уездном училище курс кончили, вместе у жида Берки Швахера работали, а какая разница! Вы два дома и дачу имеете, в коляске катаетесь, а я, как видите, яко наг, яко благ, яко нет ничего. Ну, отчего это так?

Немец Осип Францыч кончил курс в уездном училище и глуп, как тетерев, но сытость, жир и собственные дома придают ему массу самоуверенности. Говорить авторитетно, философствовать и читать сентенции он считает своим неотъемлемым правом.

— Вся беда в нас самих,— вздохнул он авторитетно в ответ на жалобы коллеги.— Сам ты виноват, Петр Ильич! Ты не сердись, но я говорил и буду говорить: нас, специалистов, губит недостаток общего образования. Мы залезли по уши в свою специальность, а что дальше этого, до того нам и дела нет.

Нехорошо, брат! Ах, как нехорошо! Ты думаешь, что как научился зубы дергать, так уж и можешь приносить обществу пользу? Ну, нет, брат, с такими узкими, односторонними взглядами далеко не пойдешь... ни-ни, ни в каком случае. Общее образование надо иметь!

— А что такое общее образование? — робко спросил Петр Ильич.

Немец не нашелся, что ответить, и понес чепуху, но потом, выпивши вина, разошелся и дал своему русскому коллеге уразуметь, что он понимает под «общим образованием». Пояснил он не прямо, а косвенно, говоря о другом.

— Главнее всего для нашего брата — приличная обстановка,— рассказывал он.— Публика только по обстановке и судит. Ежели у тебя грязный подъезд, тесные комнаты да жалкая мебель, то, значит, ты беден, а ежели беден, то, стало быть, у тебя никто не лечится. Не так ли? Зачем я к тебе пойду лечиться, если у тебя никто не лечится? Лучше я пойду к тому, у кого большая практика! А заведи ты себе бархатную мебель да понатыкай везде электрических звонков, так тогда ты и опытный и практика у тебя большая. Обзавестись же шикарной квартирой и приличной мебелью — раз плюнуть. Нынче мебельщики подтянулись, духом пали. В кредит сколько хочешь, хоть на сто тысяч, особливо ежели подпишешься под счетом «доктор такой-то». И одеваться нужно прилично. Публика так рассуждает: если ты оборван и в грязи живешь, то с тебя и рубля довольно, а если ты в золотых очках, с жирной цепочкой, да кругом тебя бархат, то уж совестно давать тебе рубль, а надо пять или десять. Не так ли?

— Это верно...— согласился Петр Ильич.— Признаться сказать, я сначала завел себе обстановку. У меня все было: и бархатные скатерти, и журналы в приемной, и Бетховен висел около зеркала, но... черт его знает! Затмение дурацкое нашло. Хожу по своей роскошной квартире, и совестно мне отчего-то. Словно я не в свою квартиру попал или украл все это... не могу! Не умею сидеть на бархатном кресле, да и шабаш! А тут еще моя жена... простая баба, никак

не хочет понять, как соблюдать обстановку. То щами или гусем навоняет на весь дом, то канделябры начнет кирпичом чистить, то полы начнет мыть в приемной при больных... черт знает что! Верите ли, как продали всю эту обстановку с аукциона, так я словно ожил.

— Значит, не привык к приличной жизни... Что ж? Надо привыкать! Потом, кроме обстановки, нужна еще вывеска. Чем меньше человек, тем вывеска его должна быть больше. Не так ли? Вывеска должна быть громадная, чтобы даже за городом ее видно было. Когда ты подъезжаешь к Петербургу или к Москве, то прежде чем увидишь колокольни, тебе станут видны вывески зубных врачей. А там, брат, врачи не нам с тобой чета. На вывеске должны быть нарисованы золотые и серебряные круги, чтобы публика думала, что у тебя медали есть: уважения больше! Кроме этого, нужна реклама. Продай последние брюки, а напечатай объявление. Печатай каждый день во всех газетах. Ежели кажется тебе, что простых объявлений мало, то валяй с фокусами: вели напечатать объявление вверх ногами, закажи клише «с зубами» и «без зубов», проси публику не смешивать тебя с другими дантистами, публикуй, что ты возвратился из-за границы, что бедных и учащихся лечишь бесплатно... Нужно также повесить объявления на вокзале, в буфетах... Много способов!

— Это верно! — вздохнул Петр Ильич.

— Многие также говорят, что как ни обращайся с публикой, все равно... Нет, не все равно! С публикой надо уметь обращаться... Публика нынче хоть и образованная, но дикая, бессмысленная. Сама она не знает, чего хочет, и приноровиться к ней очень трудно. Будь ты хоть распрепрофессор, но ежели ты не умеешь подладиться под ее характер, то она скорей к коновалу пойдет, чем к тебе... Приходит ко мне, положим, барыня с зубом. Разве ее можно без фокусов принять? Ни-ни! Я сейчас нахмуриваюсь по-ученому и молча показываю на кресло: ученым, мол, людям некогда разговаривать. А кресло у меня тоже с фокусами: на винтах! Вертишь винты, а барыня то

поднимается, то опускается. Потом начнешь в больном зубе копаться. В зубе чепуха, вырвать надо и больше ничего, но ты копайся долго, с расстановкой... раз десять зеркало всунь в рот, потому что барыни любят, если их болезнями долго занимаются. Барыня визжит, а ты ей: «Сударыня! Мой долг облегчить ваши ужасные страдания, а потому прошу относиться ко мне с доверием»,— и этак, знаешь, величественно, трагически... А на столе перед барыней челюсти, черепа, кости разные, всевозможные инструменты, банки с адамовыми головами — все страшное, таинственное. Сам я в черном балахоне, словно инквизитор какой. Тут же около кресла стоит машина для веселящего газа. Машину-то я никогда не употребляю, но все-таки страшно! Зуб рву я огромнейшим ключом. Вообще, чем крупнее и страшнее инструмент, тем лучше. Рву я быстро, без запинки.

— И я рву не дурно, Осип Францыч, но черт меня знает! Только что, знаете, сделаю тракцию и начну зуб тянуть, как откуда ни возьмись мысль: а что, если я не вырву или сломаю? От мысли рука дрожит. И это постоянно!

— Зуб сломается, не твоя вина.

— Так-то так, а все-таки. Беда, ежели апломба нет! Хуже нет, ежели ты себе не веришь или сомневаешься. Был такой случай. Наложил я щипцы, тащу... тащу и вдруг, знаете, чувствую, что очень долго тащу. Пора бы уж вытащить, а я все тащу. Окаменел я от ужаса! Надо бы бросить да снова начать, а я тащу, тащу... ошалел! Больной видит по моему лицу — тово, что я швах[1], сомневаюсь, вскочил, да от боли и злости как хватит меня табуретом! А то однажды ошалел тоже и вместо больного здоровый зуб вырвал.

— Пустяки, со всяким случается. Рви здоровые зубы, до больного доберешься. А ты прав, без апломба нельзя. Ученый человек должен держать себя по-ученому. Публика ведь не понимает, что мы с тобой в университете не были. Для нее все доктора. И Бот-

[1] слаб (от *нем.* schwach).

кин доктор, и я доктор, и ты доктор. А потому и держи себя, как доктор. Чтоб поученей казаться и пыль пустить, издай брошюрку «О содержании зубов». Сам не сумеешь сочинить, закажи студенту. Он рублей за десять тебе и предисловие накатает и из французских авторов цитаты повыдергает. Я уж три брошюры выпустил. Еще что? Зубной порошок изобрети. Закажи себе коробочки со штемпелем, насыпь в них чего знаешь, навяжи пломбу и валяй: «Цена два рубля, остерегаться подделок». Выдумай и эликсир. Наболтай чего-нибудь, чтоб пахло да щипало, вот тебе и эликсир. Цен круглых не назначай, а так: эликсир номер один стоит семьдесят семь копеек, номер два — восемьдесят две копейки и так далее. Это потаинственнее. Зубные щетки продавай со своим штемпелем по рублю за штуку. Видал мои щетки?

Петр Ильич нервно почесал затылок и в волнении зашагал около немца...

— Вот поди же ты! — зажестикулировал он.— Вот оно как! Но не умею я, не могу! Не то чтобы я это шарлатанством или жульничеством считал, а не могу, руки коротки! Сто раз пробовал, и ни черта не выходило. Вы вот сыты, одеты, дома́ имеете, а меня — табуретом! Да, действительно плохо без общего образования! Это вы верно, Осип Францыч! Очень плохо!

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ

— Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю — стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...

— Позвольте, вы ведь не урядник, не староста,— разве это ваше дело народ разгонять?

— Не его! Не его! — слышатся голоса из разных углов камеры.— Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

— Именно так, вашескородие! — говорит свидетель староста.— Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

— Погодите, вы еще успеете дать показание,— говорит мировой,— а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

— Слушаю-с! — хрипит унтер.— Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной капитенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы. Взять хоть это дело к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное

смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» — Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу».— Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное,— нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? — обращается унтер к уряднику Жигину.

— Сказывал.

— Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слыхали, как ты это самое... Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что́ ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю,

ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Поди, говорю, сюда, кавалер»,— и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну, да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело... ежели беспорядок...

— Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

— Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

— Но поймите, что это не ваше дело!

— Чего-с? Как же это не мое? Чудно́-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

— Что у вас записано?

— Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

— «Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова вдова живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров».

— Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками.— По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!

ДВА ГАЗЕТЧИКА

Неправдоподобный рассказ

Рыбкин, сотрудник газеты «Начихать вам на головы!», человек сбрюзглый, сырой и тусклый, стоял посреди своего номера и любовно поглядывал на потолок, где торчал крючок, приспособленный для лампы. В руках у него болталась веревка.

«Выдержит или не выдержит? — думал он.— Оборвется чего доброго — и крючком по голове... Жизнь анафемская! Даже повеситься путем негде!»

Не знаю, чем кончились бы размышления безумца, если бы не отворилась дверь и не вошел в номер приятель Рыбкина Шлепкин, сотрудник газеты «Иуда предатель», живой, веселый, розовый.

— Здорово, Вася! — начал он, садясь.— Я за тобой... Едем! В Выборгской покушение на убийство, строк на тридцать... Какая-то шельма резала и не дорезала. Резал бы уж на целых сто строк, подлец! Часто, брат, я думаю и даже хочу об этом писать: если бы человечество было гуманно и знало, как нам жрать хочется, то оно вешалось бы, горело и судилось во сто раз чаще. Ба! Это что такое? — развел он руками, увидев веревку.— Уже не вешаться ли вздумал?

— Да, брат...— вздохнул Рыбкин.— Шабаш... прощай! Опротивела жизнь! Пора уж...

— Ну, не идиотство ли? Чем же могла тебе жизнь опротиветь?

— Да так, всем... Туман какой-то кругом, неопределенность... безызвестность... писать не о чем. От одной мысли можно десять раз повеситься: кругом друг друга едят, грабят, топят, друг другу в морды плюют, а писать не о чем! Жизнь кипит, трещит, шипит, а писать не о чем! Дуализм проклятый какой-то...

— Как же не о чем писать? Будь у тебя десять рук, и на все бы десять работы хватило.

— Нет, не о чем писать! Кончена моя жизнь! Ну, о чем прикажешь писать? О кассирах писали, об аптеках писали, про восточный вопрос писали... до того писали, что все перепутали и ни черта в этом вопросе не поймешь. Писали о неверии, тещах, о юбилеях, о пожарах, женских шляпках, падении нравов, о Цукки... Всю вселенную перебрали, и ничего не осталось. Ты вот сейчас про убийство говоришь: человека зарезали... Эка невидаль! Я знаю такое убийство, что человека повесили, зарезали, керосином облили и сожгли, все это сразу, и то я молчу. Наплевать мне! Все это уже было, и ничего тут нет необыкновенного. Допустим, что ты двести тысяч украл или что Невский с двух концов поджег — наплевать и на это! Все это обыкновенно, и писали уж об этом. Прощай!

— Не понимаю! Такая масса вопросов... такое разнообразие явлений! В собаку камень бросишь, а в вопрос или явление попадешь...

— Ничего не стóят ни вопросы, ни явления... Например, вот я вешаюсь сейчас... По-твоему, это вопрос, событие, а по-моему, пять строк петита — и больше ничего. И писать незачем. Околевали, околевают и будут околевать — ничего тут нет нового... Все эти, брат, разнообразия, кипения, шипения очень уж однообразны... И самому писать тошно, да и читателя жалко: за что его, бедного, в меланхолию вгонять?

Рыбкин вздохнул, покачал головой и горько улыбнулся.

— А вот если бы,— сказал он,— случилось что-нибудь особенное, этакое, знаешь, зашибательное, что-нибудь мерзейшее, распереподлое, такое, чтоб черти с перепугу передохли, ну, тогда ожил бы я! Прошла бы земля сквозь хвост кометы, что ли, Бисмарк бы

в магометанскую веру перешел, или турки Калугу приступом взяли бы... или, знаешь, Нотовича в тайные советники произвели бы... одним словом, что-нибудь зажигательное, отчаянное,— ах, как бы я зажил тогда!

— Любишь ты широко глядеть, а ты попробуй помельче плавать. Вглядись в былинку, в песчинку, в щелочку... всюду жизнь, драма, трагедия! В каждой щепке, в каждой свинье драма!

— Благо у тебя натура такая, что ты и про выеденное яйцо можешь писать, а я... нет!

— А что ж? — окрысился Шлепкин.— Чем, по-твоему, плохо выеденное яйцо? Масса вопросов! Во-первых, когда ты видишь перед собой выеденное яйцо, тебя охватывает негодование, ты возмущен!! Яйцо, предназначенное природою для воспроизведения жизни индивидуума... понимаешь! жизни!.. жизни, которая в свою очередь дала бы жизнь целому поколению, а это поколение тысячам будущих поколений, вдруг съедено, стало жертвою чревоугодия, прихоти! Это яйцо дало бы курицу, курица в течение всей своей жизни снесла бы тысячу яиц...— вот тебе, как на ладони, подрыв экономического строя, заедание будущего! Во-вторых, глядя на выеденное яйцо, ты радуешься: если яйцо съедено, то, значит, на Руси хорошо питаются... В-третьих, тебе приходит на мысль, что яичной скорлупкой удобряют землю, и ты советуешь читателю дорожить отбросами. В-четвертых, выеденное яйцо наводит тебя на мысль о бренности всего земного: жило, и нет его! В-пятых... Да что я считаю? На сто нумеров хватит!

— Нет, куда мне? Да и веру я в себя потерял, в уныние впал. Ну его, все к черту!

Рыбкин стал на табурет и прицепил веревку к крючку.

— Напрасно, ей-богу напрасно! — убеждал Шлепкин.— Ты погляди: двадцать у нас газет, и все полны! Стало быть, есть о чем писать! Даже провинциальные газеты, и те полны!

— Нет... Спящие гласные, кассиры...— забормотал Рыбкин, как бы ища, за что ухватиться,— дворянский

банк, паспортная система... упразднение чинов, Румелия... Бог с ними!

— Ну, как знаешь...

Рыбкин накинул себе петлю на шею и с удовольствием повесился. Шлепкин сел за стол и в один миг написал: заметку о самоубийстве, некролог Рыбкина, фельетон по поводу частых самоубийств, передовую об усилении кары, налагаемой на самоубийц, и еще несколько других статей на ту же тему. Написав все это, он положил в карман и весело побежал в редакцию, где его ждали мзда, слава и читатели.

ПСИХОПАТЫ

Сценка

Титулярный советник Семен Алексеич Нянин, служивший когда-то в одном из провинциальных коммерческих судов, и сын его Гриша, отставной поручик — личность бесцветная, живущая на хлебах у папаши и мамаши, сидят в одной из своих маленьких комнаток и обедают. Гриша, по обыкновению, пьет рюмку за рюмкой и без умолку говорит; папаша, бледный, вечно встревоженный и удивленный, робко заглядывает в его лицо и замирает от какого-то неопределенного чувства, похожего на страх.

— Болгария и Румелия—это одни только цветки,— говорит Гриша, с ожесточением ковыряя вилкой у себя в зубах.— Это что, пустяки, чепуха! А вот ты прочти, что в Греции да в Сербии делается, да какой в Англии разговор идет! Греция и Сербия поднимутся, Турция тоже... Англия вступится за Турцию.

— И Франция не утерпит...— как бы нерешительно замечает Нянин.

— Господи, опять о политике начали! — кашляет в соседней комнате жилец Федор Федорыч.— Хоть бы больного пожалели!

— Да, и Франция не утерпит,— соглашается с отцом Гриша, словно не замечая кашля Федора Федорыча.— Она, брат, еще не забыла пять миллиардов!

Она, брат... эти, брат, французы себе на уме! Того только и ждут, чтоб Бисмарку фернапиксу задать да в табакерку его черемицы насыпать! А ежели француз поднимется, то немец не станет ждать — коммен зи гер [1], Иван Андреич, шпрехен зи дейч!.. [2] Хо-хо-хо! За немцами Австрия, потом Венгрия, а там, гляди, и Испания насчет Каролинских островов... Китай с Тонкином, афганцы... и пошло, и пошло, и пошло! Такое, брат, будет, что и не снилось тебе! Вот попомни мое слово! Только руками разведешь...

Старик Нянин, от природы мнительный, трусливый и забитый, перестает есть и еще больше бледнеет. Гриша тоже перестает есть. Отец и сын — оба трусы, малодушны и мистичны; душу обоих наполняет какой-то неопределенный, беспредметный страх, беспорядочно витающий в пространстве и во времени: что-то будет!!. Но что именно будет, где и когда, не знают ни отец, ни сын. Старик обыкновенно предается страху безмолвствуя, Гриша же не может без того, чтоб не раздражать себя и отца длинными словоизвержениями; он не успокоится, пока не напугает себя вконец.

— Вот ты увидишь! — продолжает он.— Ахнуть не успеешь, как в Европе пойдет все шиворот-навыворот. Достанется на орехи! Тебе-то, положим, все равно, тебе хоть трава не расти, а мне — пожалуйте-с на войну! Мне, впрочем, плевать... с нашим удовольствием.

Попугав себя и отца политикой, Гриша начинает толковать про холеру.

— Там, брат, не станут разбирать, живой ты или мертвый, а сейчас тебя на телегу и — айда за город! Лежи там с мертвецами! Некогда будет разбирать, болен ты или уже помер!

— Господи! — кашляет за перегородкой Федор Федорыч.— Мало того, что табаком начадили да сивухой навоняли, так вот хотят еще разговорами добить!

---

[1] подите сюда (от *нем.* kommen Sie her).

[2] говорите по-немецки!.. (от *нем.* sprechen Sie deutsch!)

— Чем же, позвольте вас спросить, не нравятся вам наши разговоры? — спрашивает Гриша, возвышая голос.

— Не люблю невежества... Уж очень тошно.

— Тошно, так и не слушайте... Так-то, брат папаша, быть делам! Разведешь руками, да поздно будет. А тут еще в банках воруют, в земствах... Там, слышишь, миллион украли, там сто тысяч, в третьем месте тысячу... каждый день! Того дня нет, чтоб кассир не бегал.

— Ну так что ж?

— Как что ж? Проснешься в одно прекрасное утро, выглянешь в окно, ан ничего нет, все украдено! Взглянешь, а по улице бегут кассиры, кассиры, кассиры... Хватишься одеваться, а у тебя штанов нет — украли! Вот тебе и что ж!

В конце концов Гриша принимается за процесс Мироновича.

— И не думай, не мечтай! — говорит он отцу.— Этот процесс во веки веков не кончится. Приговор, брат, решительно ничего не значит. Какой бы ни был приговор, а темна вода во облацех! Положим, Семенова виновата... хорошо, пусть, но куда же девать те улики, что против Мироновича? Ежели, допустим, Миронович виноват, то куда ты сунешь Семенову и Безака? Туман, братец... Все так бесконечно и туманно, что не удовлетворятся приговором, а без конца будут философствовать... Есть конец света? Есть... А что же за этим концом? Тоже конец... А что за этим вторым концом? И так далее... Так и в этом процессе... Раз двадцать еще разбирать будут и то ни к чему не придут, а только туману напустят... Семенова сейчас созналась, а завтра она опять откажется — знать не знаю, ведать не ведаю. Опять Карабчевский кружить начнет... Наберет себе десять помощников и начнет с ними кружить, кружить, кружить...

— То есть как кружить?

— Да так: послать за гирей водолазов под Тучков мост! Хорошо, а тут сейчас Ашанин бумагу: не нашли гири! Карабчевский рассердится... Как так не нашли? Это оттого, что у нас настоящих водолазов и хорошего

водолазного аппарата нет! Выписать из Англии водолазов, а из Нью-Йорка аппарат! Пока там гирю ищут, стороны экспертов треплют. А эксперты кружат, кружат, кружат. Один с другим не соглашается, друг другу лекции читают... Прокурор не соглашается с Эргардом, а Карабчевский с Сорокиным... и пошло и пошло! Выписать новых экспертов, позвать из Франции Шарко! Шарко приедет и сейчас: не могу дать заключения, потому что при вскрытии не была осмотрена спинная кость! Вырыть опять Сарру! Потом, братец ты мой, насчет волос... Чьи были волоса? Не могли же они сами на полу вырасти, а чьи-нибудь да были же! Позвать для экспертизы парикмахеров! И вдруг оказывается, что один волос совсем похож на волос Монбазон! Позвать сюда Монбазон! И пошло и пошло. Все завертится, закружится. А тут еще англичане-водолазы в Неве найдут не одну гирю, а пять. Ежели не Семенова убила, то настоящий убийца, наверное, туда десяток гирь бросил. Начнут гири осматривать. Первым делом: где они куплены? У купца Подскокова! Подать сюда купца! Господин Подскоков, кто у вас гири покупал? Не помню. В таком случае назовите нам фамилии ваших покупателей! Подскоков начнет припоминать, да и вспомнит, что ты у него что-то когда-то покупал. Вот, скажет, покупали у меня товар такие-то и такие-то и, между прочим, титулярный советник Семен Алексеев Нянин! Подать сюда этого титулярного советника Нянина! Пожалуйте-с!

Нянин икает, встает из-за стола и, бледный, растерянный, нервно семенит по комнате.

— Ну, ну...— бормочет он.— Бог знает что!

— Да, подать сюда Нянина! Ты пойдешь, а Карабчевский тебя глазами насквозь, насквозь! Где, спросит, вы были в ночь под такое-то число? А у тебя и язык прильпе к гортани. Сейчас сличат те волосы с твоими, пошлют за Ивановским, и пожалуйте, господин Нянин, на цугундер!

— То... то есть как же? Все знают, что не я убил! Что ты!

— Это все равно! Плевать на то, что не ты убил! Начнут тебя кружить и до того закружат, что ты встанешь на колени и скажешь: я убил! Вот как!

— Ну, ну, ну...

— Я ведь только к примеру. Мне-то все равно. Я человек свободный, холостой. Захочу, так завтра же в Америку уеду! Ищи тогда Карабчевский! Кружи!

— Господи! — стонет Федор Федорыч.— Хоть бы у них глотки пересохли! Черти, да вы замолчите когда-нибудь или нет?

Нянин и Гриша умолкают. Обед кончился, и оба они ложатся на свои кровати. Обоих сосет червь.

НА ЧУЖБИНЕ

Воскресный полдень. Помещик Камышев сидит у себя в столовой за роскошно сервированным столом и медленно завтракает. С ним разделяет трапезу чистенький, гладко выбритый старик французик, m-r [1] Шампунь. Этот Шампунь был когда-то у Камышева гувернером, учил его детей манерам, хорошему произношению и танцам, потом же, когда дети Камышева выросли и стали поручиками, Шампунь остался чем-то вроде бонны мужского пола. Обязанности бывшего гувернера не сложны. Он должен прилично одеваться, пахнуть духами, выслушивать праздную болтовню Камышева, есть, пить, спать — и больше, кажется, ничего. За это он получает стол, комнату и неопределенное жалованье.

Камышев ест и, по обыкновению, празднословит.

— Смерть! — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей.— Уф! В голову и во все суставы ударило. А вот от вашей французской горчицы не будет этого, хоть всю банку съешь.

— Кто любит французскую, а кто русскую...— кротко заявляет Шампунь.

— Никто не любит французской, разве только одни французы. А французу что ни подай — все съест: и

---

1. господин, сударь (от *франц.* monsieur).

лягушку, и крысу, и тараканов... брр! Вот, например, эта ветчина не нравится, потому что она русская, а подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете есть и причмокивать... По-вашему, все русское скверно.

— Я этого не говорю.

— Все русское скверно, а французское — о, сэ трэ жоли! [1] По-вашему, лучше и страны нет, как Франция, а по-моему... ну, что такое Франция, говоря по совести? Кусочек земли! Пошли туда нашего исправника, так он через месяц же перевода запросит: повернуться негде! Вашу Францию всю в один день объездить можно, а у нас выйдешь за ворота — конца краю не видно! Едешь, едешь...

— Да, monsieur, Россия громадная страна.

— То-то вот и есть! По-вашему, лучше французов и людей нет. Ученый, умный народ! Цивилизация! Согласен, французы все ученые, манерные... это верно... Француз никогда не позволит себе невежества: вовремя даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но... нет того духу! Духу того в нем нет! Я не могу только вам объяснить, но, как бы это выразиться, во французе не хватает чего-то такого, этакого (говорящий шевелит пальцами)... чего-то такого... юридического. Я помню, читал где-то, что у вас у всех ум приобретенный, из книг, а у нас ум врожденный. Если русского обучить как следует наукам, то никакой ваш профессор не сравняется.

— Может быть...— как бы нехотя говорит Шампунь.

— Нет, не может быть, а верно! Нечего морщиться, правду говорю! Русский ум — изобретательный ум! Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать он не умеет... Изобретет что-нибудь и поломает или же детишкам отдаст поиграть, а ваш француз изобретет какую-нибудь чепуху и на весь свет кричит. Намедни кучер Иона сделал из дерева человечка: дернешь этого человечка за ниточку, а он и сделает непристойность. Однако же Иона не хвастает. Вообще... не нра-

---

[1] это очень мило (от *франц.* c'est très joli)

вятся мне французы! Я про вас не говорю, а вообще... Безнравственный народ! Наружностью словно как бы и на людей походят, а живут как собаки... Взять хоть, например, брак. У нас коли женился, так прилепись к жене и никаких разговоров, а у вас черт знает что. Муж целый день в кафе сидит, а жена напустит полный дом французов и давай с ними канканировать.

— Это неправда! — не выдерживает Шампунь вспыхивая.— Во Франции семейный принцип стоит очень высоко!

— Знаем мы этот принцип! А вам стыдно защищать. Надо беспристрастно: свиньи, так и есть свиньи... Спасибо немцам за то, что побили... Ей-богу, спасибо. Дай бог им здоровья...

— В таком случае, monsieur, я не понимаю,— говорит француз, вскакивая и сверкая глазами,— если вы ненавидите французов, то зачем вы меня держите?

— Куда же мне вас девать?

— Отпустите меня, и я уеду во Францию!

— Что-о-о? Да нешто вас пустят теперь во Францию? Ведь вы изменник своему отечеству! То у вас Наполеон великий человек, то Гамбетта... сам черт вас не разберет!

— Monsieur,— говорит по-французски Шампунь, брызжа и комкая в руках салфетку.— Выше оскорбления, которое вы нанесли сейчас моему чувству, не мог бы придумать и враг мой! Все кончено!!

И, сделав рукой трагический жест, француз манерно бросает на стол салфетку и с достоинством выходит.

Часа через три на столе переменяется сервировка и прислуга подает обед. Камышев садится за обед один. После предобеденной рюмки у него является жажда празднословия. Поболтать хочется, а слушателя нет...

— Что делает Альфонс Людовикович? — спрашивает он лакея.

— Чемодан укладывают-с.

— Экая дуррында, прости господи!..— говорит Камышев и идет к французу.

Шампунь сидит у себя на полу среди комнаты и

дрожащими руками укладывает в чемодан белье, флаконы из-под духов, молитвенники, помочи, галстуки... Вся его приличная фигура, чемодан, кровать и стол так и дышат изяществом и женственностью. Из его больших голубых глаз капают в чемодан крупные слезы.

— Куда же это вы? — спрашивает Камышев, постояв немного.

Француз молчит.

— Уезжать хотите? — продолжает Камышев.—Что ж, как знаете... Не смею удерживать... Только вот что странно: как это вы без паспорта поедете? Удивляюсь! Вы знаете, я ведь потерял ваш паспорт. Сунул его куда-то между бумаг, он и потерялся... А у нас насчет паспортов строго. Не успеете и пяти верст проехать, как вас сцарапают.

Шампунь поднимает голову и недоверчиво глядит на Камышева.

— Да... Вот увидите! Заметят по лицу, что вы без паспорта, и сейчас: кто таков? Альфонс Шампунь! Знаем мы этих Альфонсов Шампуней! А не угодно ли вам по этапу в не столь отдаленные!

— Вы это шутите?

— С какой стати мне шутить! Очень мне нужно! Только смотрите, условие: не извольте потом хныкать и письма писать. И пальцем не пошевельну, когда вас мимо в кандалах проведут!

Шампунь вскакивает и, бледный, широкоглазый, начинает шагать по комнате.

— Что вы со мной делаете?! — говорит он, в отчаянии хватая себя за голову.— Боже мой! О, будь проклят тот час, когда мне пришла в голову пагубная мысль оставить отечество!

— Ну, ну, ну... я пошутил! — говорит Камышев, понизив тон.— Чудак какой, шуток не понимает! Слова сказать нельзя!

— Дорогой мой! — взвизгивает Шампунь, успокоенный тоном Камышева.— Клянусь вам, я привязан к России, к вам и к вашим детям... Оставить вас для меня так же тяжело, как умереть! Но каждое ваше слово режет мне сердце!

— Ах, чудак! Если я французов ругаю, так вам-то с какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаем, так всем и обижаться? Чудак, право! Берите пример вот с Лазаря Исакича, арендатора... Я его и так, и этак, и жидом, и пархом, и свинячье ухо из полы делаю, и за пейсы хватаю... не обижается же!

— Но то ведь раб! Из-за копейки он готов на всякую низость!

— Ну, ну, ну... будет! Пойдем обедать! Мир и согласие!

Шампунь пудрит свое заплаканное лицо и идет с Камышевым в столовую. Первое блюдо съедается молча, после второго начинается та же история, и таким образом страдания Шампуня не имеют конца.

ИНДЕЙСКИЙ ПЕТУХ

Маленькое недоразумение

— Чучело ты, чучело! Образина ты лысая! — говорила однажды Пелагея Петровна своему супругу, отставному коллежскому секретарю Маркелу Ивановичу Лохматову.— У всех мужья как мужья, одну только меня господь наказал сокровищем-лежебоком! У сестры Глашеньки муж и носки штопает, и кур кормит, и за провизией на рынок ходит. Прасковьи Ивановнин муж, и что это за человек! — только и ищет, чем бы жене своей угодить: то клопов из кроватей вываривает, то шубу выбивает, чтоб моль не поела, то рыбу чистит. Один только ты у меня, нечистый тебя знает, в кого уродился! День-деньской лежишь, как анафема, на диване и только и знаешь что водку трескаешь да про Румелию балясы точишь!..

— Что же мне делать? — робко спросил Маркел Иваныч.

— Что делать! Да мало ли делов? Куда в хозяйстве ни сунься, везде дело. Взять хоть индейского петуха. Уж неделя, как тварь не пьет, не ест... вот-вот издохнет, а тебе и горя мало, наказание ты мое! У, так и тресну по уху! А ведь петух-то какой! Гора, а не петух! За пять рублей другого такого не купишь!

— Что же мне тово... с петухом делать? Не к доктору же с ним идти!

— Зачем к доктору? Доктора не обучены птицам... Ты у людей порасспроси... Люди всё знают... А то и сам бы, дуралей, своим умом пораскинул, как и что. В аптеку бы сходил. В аптеке много лекарств!

— Пожалуй, я схожу в аптеку,— согласился Лохматов.— Пожалуй.

— И сходи! Дайте, скажи, мне на десять копеек крепительного!

Маркел Иванович лениво поднялся с дивана, вздохнул и стал натягивать на себя панталоны (когда он сидит дома, Пелагея Петровна из экономии держит его в одном нижнем). Он был выпивши, в голове его от одного виска к другому перекатывалась тяжелая, свинцовая пуля, но мысль, что он идет сейчас делать дело, подбодрила его. Одевшись, он взял трость и степенно зашагал к аптеке.

— Вам что угодно? — спросил его в аптеке толстый, лысый провизор с большими, пушистыми бакенами.

— Мне чего-нибудь этакого...— начал робко Маркел Иванович, почтительно глядя на пушистые бакены.— У меня, собственно говоря, нет рецепта, и я сам не знаю, что мне нужно, может быть, вы мне посоветуете что-нибудь.

— Да, а что случилось?

— Дело в том, что уж неделя, как не пьет, не ест. Все время, знаете ли, слабит. Скучный такой, унылый, словно потерял что-нибудь или совесть нечиста.

Провизор приподнял углы губ, прищурился и обратился в слух. Фармацевты вообще любят, когда к ним обращаются за медицинскими советами.

— А... гм...— промычал он...— Жар есть?

— Этого я вам не могу сказать, не знаю... Уж вы будьте такие добрые, дайте чего-нибудь. Верите ли? Смотреть жалко! Был здоров, ходил по двору, а теперь на тебе! — ни с того ни с сего нахмурился, наершился и из сарая не выходит.

— В сарае нельзя... Теперь холодно.

— Хорошо, мы его в кухню возьмем... А жалко будет, ежели тово... околеет. Без него индейки жить не могут.

— Какие индейки? — вытаращил глаза провизор.

— Обыкновенные... с перьями.

— Да вы про кого говорите?

— Про индейского петуха.

На лице провизора изобразилось «тьфу!». Углы губ опустились, и по строгому лицу пробежала тучка.

— Я... не понимаю,— обиделся провизор.

— Не понимаете, какой это индейский петух? — в свою очередь не понял Лохматов.— Есть обыкновенные петухи, что с курами ходят, а то индейский... большой такой, знаете ли, с хоботом на носу... и еще так посвистишь ему, а он растопырит крылья, нахохлится и — блы-блы-блы...

— Мы индюков не лечим...— пробормотал провизор, обидчиво отводя глаза в сторону.

— Да их и лечить не нужно... Дать какого-нибудь пустяка и больше ничего... Ведь это не человек, а птица... и от пустяка поможет.

— Извините, мне некогда.

— Я знаю, что вам некогда, но сделайте такое одолжение! Что вам стоит дать чего-нибудь? Чего хотите, то и дайте, я не стану разговаривать. Будьте столь достолюбезны!

Просительный тон Маркела Ивановича тронул провизора. Он опять нахмурился, поднял углы губ и задумался.

— Вы говорите, что не пьет, не ест... что его слабит?

— Да-с... Крепительного чего-нибудь.

— Погодите, я сейчас.

Провизор отошел к шкафчику, достал оттуда какую-то книгу и погрузился в чтение. Лицо его приняло сократовское выражение, и на лбу собралось так много морщин, что Маркел Иванович, глядя на него, побоялся, как бы от напряжения кожи не порвалась провизорская лысина.

— Я вам порошок дам,— сказал провизор, кончив чтение.

— Покорнейше вас благодарю. Только, извините за выражение, как я ему этот порошок дам? Ведь он не клюет! Ежели б он понимал свою пользу, а то ведь птица глупая, нерассудительная. Положишь перед ним порошок, а он и без внимания.

— В таком случае я вам капель дам.

— Ну, капли другое дело. Капли насильно влить можно.

Провизор повернул голову в сторону и прокричал что-то по-немецки.

— Ja![1] — откликнулся маленький, черненький фармацевт.

Лохматов направился туда, где возился этот фармацевт, облокотился о стойку и стал ждать.

«Как он, собака, все это ловко! — думал он, следя за движениями пальцев фармацевта, делившего какой-то порошок на доли.— И на все ведь это нужна наука!»

Покончив с порошками, фармацевт взял флакон, наболтал в него коричневой жидкости, завернул в бумагу и подошел к Лохматову.

— Вам на десять копеек капель? — спросил он.

— Индейскому петуху.

— Что? — вытаращил глаза фармацевт.

— Индейскому петуху.

— С вами говорят по-человечески,— вспыхнул фармацевт,— вы и должны отвечать по-человечески.

— Как же вам еще отвечать? Говорю, что индейскому петуху, так значит и индейскому петуху. Не орлу же!

— Я это могу на свой счет принять! — нахохлился аптекарь.

— Зачем же на свой счет принять? Я сам заплачу.

— Но мне некогда с вами шутить!

Фармацевт отложил в сторону флакон с каплями, отошел в сторону и, сердито фыркая, стал что-то тереть в ступке.

Маркел Иванович подождал еще немного, потом пожал плечами, вздохнул и вышел из аптеки. Придя домой, он снял сюртук, панталоны и жилет, почесался, покряхтел и лег на диван.

— Ну, что? был в аптеке? — набросилась на него Пелагея Петровна.

— Был... ну их к черту!

— Где же лекарство?

— Не дают! — махнул рукой Маркел Иванович и укрылся ватным одеялом.

— Уу... так и дам по уху!

---

[1] Да! *(нем.)*

СОННАЯ ОДУРЬ

В зале окружного суда идет заседание. На скамье подсудимых господин средних лет с испитым лицом, обвиняемый в растрате и подлогах. Тощий, узкогрудый секретарь читает тихим тенорком обвинительный акт. Он не признает ни точек, ни запятых, и его монотонное чтение похоже на жужжание пчел или журчанье ручейка. Под такое чтение хорошо мечтать, вспоминать, спать... Судьи, присяжные и публика нахохлились от скуки... Тишина. Изредка только донесутся чьи-нибудь мерные шаги из судейского коридора или осторожно кашлянет в кулак зевающий присяжный...

Защитник подпер свою кудрявую голову кулаком и тихо дремлет. Под влиянием жужжания секретаря мысли его потеряли всякий порядок и бродят.

«Какой, однако, длинный нос у этого судебного пристава,— думает он, моргая отяжелевшими веками.— Нужно же было природе так изгадить умное лицо! Если бы у людей были носы подлиннее, этак сажени две-три, то, пожалуй, было бы тесно жить и пришлось бы делать дома попросторнее...»

Защитник встряхивает головой, как лошадь, которую укусила муха, и продолжает думать:

«Что-то теперь у меня дома делается? В эту пору обыкновенно все бывают дома: и жена, и теща, и дети... Детишки Колька и Зинка, наверное, теперь в

моем кабинете... Колька стоит на кресле, уперся грудью о край стола и рисует что-нибудь на моих бумагах. Нарисовал уже лошадь с острой мордой и с точкой вместо глаза, человека с протянутой рукой, кривой домик; а Зина стоит тут же, около стола, вытягивает шею и старается увидеть, что нарисовал ее брат...

— Нарисуй папу! — просит она.

Колька принимается за меня. Человечек у него уже есть, остается только пририсовать черную бороду — и папа готов. Потом Колька начинает искать в Своде законов картинок, а Зина хозяйничает на столе. Попалась на глаза сонетка — звонят; видят чернильницу— нужно палец обмакнуть; если ящик в столе не заперт, то это значит, что нужно порыться в нем. В конце концов обоих осеняет мысль, что оба они индейцы и что под моим столом они могут отлично прятаться от врагов. Оба лезут под стол, кричат, визжат и возятся там до тех пор, пока со стола не падает лампа или вазочка... Ох! А в гостиной теперь, наверное, солидно прогуливается мамка с третьим произведением... Произведение ревет, ревет... без конца ревет!»

— «По текущим счетам Копелова,— жужжит секретарь,— Ачкасова, Зимаковского и Чикиной проценты выданы не были, сумма же тысяча четыреста двадцать пять рублей сорок одна копейка была приписана к остатку тысяча восемьсот восемьдесят третьего года...»

«А может быть, у нас уже обедают! — плывут мысли у защитника.— За столом сидят теща, жена Надя, брат жены Вася, дети... У тещи, по обыкновению, на лице тупая озабоченность и выражение достоинства. Надя, худая, уже блекнущая, но все еще с идеально белой, прозрачной кожицей на лице, сидит за столом с таким выражением, будто ее заставили насильно сидеть; она ничего не ест и делает вид, что больна. По лицу у нее, как у тещи, разлита озабоченность. Еще бы! У нее на руках дети, кухня, белье мужа, гости, моль в шубах, прием гостей, игра на пианино! Как много обязанностей и как мало работы! Надя и ее мать не делают решительно ничего. Если от скуки

польют цветы или побранятся с кухаркой, то потом два дня стонут от утомления и говорят о каторге... Брат жены, Вася, тихо жует и угрюмо молчит, так как получил сегодня по латинскому языку единицу. Малый тихий, услужливый, признательный, но изнашивает такую массу сапог, брюк и книг, что просто беда... Детишки, конечно, капризничают. Требуют уксусу и перцу, жалуются друг на друга, то и дело роняют ложки. Даже при воспоминании голова кружится! Жена и теща зорко блюдут хороший тон... Храни бог положить локоть на стол, взять нож во весь кулак, или есть с ножа, или, подавая кушанье, подойти справа, а не слева. Все кушанья, даже ветчина с горошком, пахнут пудрой и монпансье. Все не вкусно, приторно, мизерно... Нет и тени добрых щей и каши, которые я ел, когда был холостяком. Теща и жена все время говорят по-французски, но когда речь заходит обо мне, то теща начинает говорить по-русски, ибо такой бесчувственный, бессердечный, бесстыдный, грубый человек, как я, недостоин, чтобы о нем говорили на нежном французском языке...

— Бедный Мишель, вероятно, проголодался,— говорит жена.— Выпил утром стакан чаю без хлеба, так и побежал в суд...

— Не беспокойся, матушка! — злорадствует теща.— Такой не проголодается! Небось уж пять раз в буфет бегал. Устроили себе в суде буфет и каждые пять минут просят у председателя, нельзя ли перерыв сделать.

После обеда теща и жена толкуют о сокращении расходов... Считают, записывают и находят в конце концов, что расходы безобразно велики. Приглашается кухарка, начинают считать с ней вместе, попрекают ее, поднимается брань из-за пятака... Слезы, ядовитые слова... Потом уборка комнат, перестановка мебели — и все от нечего делать».

— «Коллежский асессор Черепков показал,—жужжит секретарь,— что хотя ему и была прислана квитанция номер восемьсот одиннадцать, но тем не менее следуемые ему сорок шесть рублей две копейки он не получал, о чем и заявил тогда же...»

«Как подумаешь, да рассудишь, да взвесишь все обстоятельства,— продолжает думать защитник,— и, право, махнешь на все рукой и все пошлешь к черту... Как истомишься, ошалеешь, угоришь за весь день в этом чаду скуки и пошлости, то поневоле захочешь дать своей душе хоть одну светлую минуту отдыха. Заберешься к Наташе или, когда деньги есть, к цыганам — и все забудешь... честное слово, все забудешь! Черт его знает где, далеко за городом, в отдельном кабинете, развалишься на софе, азиаты поют, скачут, галдят, и чувствуешь, как всю душу твою переворачивает голос этой обаятельной, этой страшной, бешеной цыганки Глаши... Глаша! Милая, славная, чудесная Глаша! Что за зубы, глаза... спина!»

А секретарь жужжит, жужжит, жужжит... В глазах защитника начинает все сливаться и прыгать. Судьи и присяжные уходят в самих себя, публика рябит, потолок то опускается, то поднимается... Мысли тоже прыгают и наконец обрываются... Надя, теща, длинный нос судебного пристава, подсудимый, Глаша — все это прыгает, вертится и уходит далеко, далеко, далеко...

— Хорошо...— тихо шепчет защитник засыпая.— Хорошо... Лежишь на софе, а кругом уютно... тепло... Глаша поет...

— Господин защитник! — раздается резкий оклик.

«Хорошо... тепло... Нет ни тещи, ни кормилицы... ни супа, от которого пахнет пудрой... Глаша добрая, хорошая...»

— Господин защитник! — раздается тот же резкий голос.

Защитник вздрагивает и открывает глаза. Прямо, в упор на него глядят черные глаза цыганки Глаши, улыбаются сочные губы, сияет смуглое, красивое лицо. Ошеломленный, еще не совсем проснувшийся, полагая, что это сон или привидение, он медленно поднимается и, разинув рот, смотрит на цыганку.

— Господин защитник, не желаете ли спросить что-нибудь у свидетельницы? — спрашивает председатель.

— Ах... да! Это свидетельница... Нет, не... не желаю. Ничего не имею.

Защитник встряхивает головой и окончательно просыпается. Теперь ему понятно, что это в самом деле стоит цыганка Глаша, что она вызвана сюда в качестве свидетельницы.

— Впрочем, виноват, я имею кое-что спросить,— говорит он громко.— Свидетельница,— обращается он к Глаше,— вы служите в цыганском хоре Кузьмичова, скажите, как часто в вашем ресторане кутил обвиняемый? Так-с... А не помните ли, сам ли он за себя платил всякий раз, или же случалось, что и другие платили за него? Благодарю вас... достаточно.

Он выпивает два стакана воды, и сонная одурь проходит совсем...

СРЕДСТВО ОТ ЗАПОЯ

В город Д., в отдельном купе первого класса, прибыл на гастроли известный чтец и комик г. Фениксов-Дикобразов 2-й. Все, встречавшие его на вокзале, знали, что билет первого класса был куплен «для форса» лишь на предпоследней станции, а до тех пор знаменитость ехала в третьем; все видели, что, несмотря на холодное, осеннее время, на знаменитости были только летняя крылатка да ветхая котиковая шапочка, но тем не менее когда из вагона показалась сизая, заспанная физиономия Дикобразова 2-го, все почувствовали некоторый трепет и жажду познакомиться. Антрепренер Почечуев, по русскому обычаю, троекратно облобызал приезжего и повез его к себе на квартиру.

Знаменитость должна была начать играть дня через два после приезда, но судьба решила иначе; за день до спектакля в кассу театра вбежал бледный, взъерошенный антрепренер и сообщил, что Дикобразов 2-й играть не может.

— Не может! — объявил Почечуев, хватая себя за волосы.— Как вам это покажется? Месяц, целый месяц печатали аршинными буквами, что у нас будет Дикобразов, хвастали, ломались, забрали абонементные деньги, и вдруг этакая подлость! А? Да за это повесить мало!

— Но в чем дело? Что случилось?

— Запил, проклятый!

— Экая важность! Проспится.

— Скорей издохнет, чем проспится! Я его еще с Москвы знаю: как начнет водку лопать, так потом месяца два без просыпу. Запой! Это запой! Нет, счастье мое такое! И за что я такой несчастный! И в кого я, окаянный, таким несчастным уродился! За что... за что над моей головой всю жизнь висит проклятие неба? (Почечуев трагик и по профессии и по натуре: сильные выражения, сопровождаемые биением по груди кулаками, ему очень к лицу.) И как я гнусен, подл и презренен, рабски подставляя голову под удары судьбы! Не достойнее ли раз навсегда покончить с постыдной ролью Макара, на которого все шишки валятся, и пустить себе пулю в лоб? Чего же жду я? Боже, чего я жду?

Почечуев закрыл ладонями лицо и отвернулся к окну. В кассе, кроме кассира, присутствовало много актеров и театралов, а потому дело не стало за советами, утешениями и обнадеживаниями; но все это имело характер философский или пророческий; дальше «суеты сует», «наплюйте» и «авось» никто не пошел. Один только кассир, толстенький, водяночный человек, отнесся к делу посущественней.

— А вы, Прокл Львович,— сказал он,— попробуйте полечить его.

— Запой никаким чертом не вылечишь!

— Не говорите-с. Наш парикмахер превосходно от запоя лечит. У него весь город лечится.

Почечуев обрадовался возможности ухватиться хоть за соломинку, и через какие-нибудь пять минут перед ним уже стоял театральный парикмахер Федор Гребешков. Представьте вы себе высокую, костистую фигуру со впалыми глазами, длинной жидкой бородой и коричневыми руками, прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом, которого заставили двигаться на винтах и пружинах, оденьте фигуру в донельзя поношенную черную пару, и у вас получится портрет Гребешкова.

— Здорово, Федя! — обратился к нему Почечуев.— Я слышал, дружок, что ты того... лечишь от запоя. Сделай милость, не в службу, а в дружбу, полечи ты Дикобразова! Ведь, знаешь, запил!

— Бог с ним,— пробасил уныло Гребешков.— Актеров, которые попроще, купцов и чиновников я действительно пользую, а тут ведь знаменитость, на всю Россию!

— Ну так что ж?

— Чтоб запой из него выгнать, надо во всех органах и суставах тела переворот произвесть. Я произведу в нем переворот, а он выздоровеет и в амбицию... «Как ты смел, скажет, собака, до моего лица касаться?» Знаем мы этих знаменитых!

— Ни-ни... не отвиливай, братец! Назвался груздем — полезай в кузов! Надевай шапку, пойдем!

Когда через четверть часа Гребешков входил в комнату Дикобразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядела на висячую лампу. Лампа висела спокойно, но Дикобразов 2-й не отрывал от нее глаз и бормотал:

— Ты у меня повертишься! Я тебе, анафема, покажу, как вертеться! Разбил графин и тебя разобью, вот увидишь! А-а-а... и потолок вертится... Понимаю: заговор! Но лампа, лампа! Меньше всех, подлая, но больше всех вертится! Постой же...

Комик поднялся и, потянув за собой простыню, сваливая со столика стаканы и покачиваясь, направился к лампе, но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое...

— Что такое?! — заревел он, поводя блуждающими глазами.— Кто ты? Откуда ты? А?

— А вот я тебе покажу, кто я... Пошел на кровать!

И, не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Гребешков размахнулся и трахнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел на постель. Комика, вероятно, раньше никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с любопытством.

К рассказу «Злоумышленник».

Художники Кукрыниксы. 1941.

— Ты... ты ударил? По... постой, ты ударил?

— Ударил. Нешто еще хочешь?

И парикмахер ударил Дикобразова еще раз по зубам. Не знаю, что тут подействовало, сильные ли удары, или новизна ощущения, но только глаза комика перестали блуждать и в них замелькало что-то разумное. Он вскочил и не столько со злобой, сколько с любопытством стал рассматривать бледное лицо и грязный сюртук Гребешкова.

— Ты... ты дерешься? — забормотал он.— Ты... ты смеешь?

— Молчать!

И опять удар по лицу. Ошалевший комик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова сдавила ему грудь, другая заходила по физиономии.

— Легче! Легче! — послышался из другой комнаты голос Почечуева.— Легче, Феденька!

— Ничего-с, Прокл Львович! Сами же потом благодарить станут!

— Все-таки ты полегче! — проговорил плачущим голосом Почечуев, заглядывая в комнату комика.— Тебе-то ничего, а меня мороз по коже дерет. Ты подумай: среди бела дня бьют человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире... Ах!

— Я, Прокл Львович, бью не их, а беса, что в них сидит. Уходите, сделайте милость, и не беспокойтесь. Лежи, дьявол! — набросился Федор на комика.— Не двигайся! Что-о-о?

Дикобразовым овладел ужас. Ему стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову.

— Караул! — закричал он.— Спасите! Караул!

— Кричи, кричи, леший! Это еще цветки, а вот погоди, ягодки будут! Теперь слушай: ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевельнешься, убью! Убью и не пожалею! Заступиться, брат, некому! Не придет никто, хоть из пушки пали. А ежели смиришься и замолчишь, водочки дам. Вот она, водка-то!

Гребешков вытащил из кармана полуштоф водки и блеснул им перед глазами комика. Пьяный, при виде предмета своей страсти, забыл про побои и даже заржал от удовольствия. Гребешков вынул из жилетного кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштоф. Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся всыпать в нее всякую дрянь. В полуштоф посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберова соль, сера, канифоль и другие «специи», продаваемые в москательных лавочках. Комик пялил глаза на Гребешкова и страстно следил за движениями полуштофа. В заключение парикмахер сжег кусок тряпки, высыпал пепел в водку, поболтал и подошел к кровати.

— Пей! — сказал он, наливая пол-чайного стакана.— Разом!

Комик с наслаждением выпил, крякнул, но тотчас же вытаращил глаза. Лицо у него вдруг побледнело, на лбу выступил пот.

— Еще пей! — предложил Гребешков.

— Не... не хочу! По... постой...

— Пей, чтоб тебя!.. Пей! Убью!

Дикобразов выпил и, застонав, повалился на подушку. Через минуту он приподнялся, и Федор мог убедиться, что его специя действует.

— Пей еще! Пущай у тебя все внутренности выворотит, это хорошо. Пей!

И для комика наступило время мучений. Внутренности его буквально переворачивало. Он вскакивал, метался на постели и с ужасом следил за медленными движениями своего беспощадного и неугомонного врага, который не отставал от него ни на минуту и неутомимо колотил его, когда он отказывался от специи. Побои сменялись специей, специя побоями. Никогда в другое время бедное тело Фениксова-Дикобразова 2-го не переживало таких оскорблений и унижений, и никогда знаменитость не была так слаба и беззащитна, как теперь. Сначала комик кричал и бранился, потом стал умолять, наконец, убедившись, что протесты ведут к побоям, стал плакать.

Почечуев, стоявший за дверью и подслушивавший, в конце концов не выдержал и вбежал в комнату комика.

— А ну тебя к черту! — сказал он, махая руками.— Пусть лучше пропадают абонементные деньги, пусть он водку пьет, только не мучь ты его, сделай милость! Околеет ведь, ну тебя к черту! Погляди: совсем ведь околел! Знал бы — ей-богу, не связывался...

— Ничего-с... Сами еще благодарить будут, увидите-с... Ну, ты что еще там? — повернулся Гребешков к комику.— Влетит!

До самого вечера провозился он с комиком. И сам умаялся, и его заездил. Кончилось тем, что комик страшно ослабел, потерял способность даже стонать и окаменел с выражением ужаса на лице. За окаменением наступило что-то похожее на сон.

На другой день комик, к великому удивлению Почечуева, проснулся — стало быть, не умер. Проснувшись, он тупо огляделся, обвел комнату блуждающим взором и стал припоминать.

— Отчего это у меня все болит? — недоумевал он.— Точно по мне поезд прошел. Нешто водки выпить? Эй, кто там? Водки!

В это время за дверью стояли Почечуев и Гребешков.

— Водки просит, стало быть не выздоровел! — ужаснулся Почечуев.

— Что вы, батюшка Прокл Львович! — удивился парикмахер.— Да нешто в один день вылечишь? Дай бог, чтобы в неделю поправился, а не то что в день. Иного слабенького и в пять дней вылечишь, а это ведь по комплекции тот же купец. Не скоро его проймешь.

— Что же ты мне раньше не сказал этого, анафема? — застонал Почечуев.— И в кого я несчастным таким уродился! И чего я, окаянный, жду еще от судьбы? Не разумнее ли кончить разом, всадив себе пулю в лоб и т. д.

Как ни мрачно глядел на свою судьбу Почечуев,

однако через неделю Дикобразов 2-й уже играл, и абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комика Гребешков, причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя.

— Живуч человек! — удивлялся Почечуев.—Я чуть не помер, на его муки глядючи, а он как ни в чем не бывало, даже еще благодарит этого черта Федьку, в Москву с собой хочет взять! Чудеса, да и только!

КОНТРАБАС И ФЛЕЙТА

Сценка

В одну из репетиций флейтист Иван Матвеич слонялся между пюпитров, вздыхал и жаловался:

— Просто несчастье! Никак не найду себе подходящей квартиры! В номерах мне жить нельзя, потому что дорого, в семействах же и частных квартирах не пускают музыкантов.

— Перебирайтесь ко мне! — неожиданно предложил ему контрабас.— Я плачу за комнату двенадцать рублей, а если вместе жить будем, то по шести придется.

Иван Матвеич ухватился за это предложение обеими руками. Совместно он никогда ни с кем не жил, опыта на этот счет не имел, но рассудил a priori [1], что совместное житье имеет очень много прелестей и удобств: во-первых, есть с кем слово вымолвить и впечатлениями поделиться, во-вторых, все пополам: чай, сахар, плата прислуге. С контрабасистом Петром Петровичем он был в самых приятельских отношениях, знал его за человека скромного, трезвого и честного, сам он был тоже не буен, трезв и честен — стало быть, пятак пара. Приятели ударили по рукам, и в тот же день кровать флейты уже стояла рядом с кроватью контрабаса.

Но не прошло и трех дней, как Иван Матвеич должен был убедиться, что для совместного житья недо-

[1] заранее *(лат.)*.

статочно одних только приятельских отношений и таких «общих мест», как трезвость, честность и не буйный характер.

Иван Матвеич и Петр Петрович с внешней стороны так же похожи друг на друга, как инструменты, на которых они играют. Петр Петрович — высокий, длинноногий блондин, с большой стриженой головой, в неуклюжем, короткохвостом фраке. Говорит он глухим басом; когда ходит, то стучит; чихает и кашляет так громко, что дрожат стекла. Иван же Матвеич изображает из себя маленького, тощенького человечка. Ходит он только на цыпочках, говорит жидким тенорком и во всех своих поступках старается показать человека деликатного, воспитанного. Приятели сильно расходятся и в своих привычках. Так, контрабас пил чай вприкуску, а флейта внакладку, что при общинном владении чая и сахара не могло не породить сомнений. Флейта спала с огнем, контрабас без огня. Первая каждое утро чистила себе зубы и мылась душистым глицериновым мылом, второй же не только отрицал то и другое, но даже морщился, когда слышал шуршанье зубной щетки или видел намыленную физиономию.

— Да бросьте вы эту мантифолию!—говорил он.— Противно глядеть! Возится, как баба!

Нежную, воспитанную флейту стало коробить на первых же порах. Ей особенно не понравилось, что контрабас каждый вечер, ложась спать, мазал себе живот какой-то мазью, от которой пахло до самого утра протухлым жареным гусем, а после мази целых полчаса, пыхтя и сопя, занимался гимнастикой, то есть методически задирал вверх то руки, то ноги.

— Для чего это вы делаете? — спрашивала флейта, не вынося сопенья.

— После мази это необходимо. Нужно, чтоб мазь по всему телу разошлась... Это, батенька, ве-ли-колепная вещь! Никакая простуда не пристанет. Помажьте-ка себе!

— Нет, благодарю вас.

— Да помажьте! Накажи меня бог, помажьте! Увидите, как это хорошо! Бросьте книгу!

— Нет, я привык всегда перед сном читать.

— А что вы читаете?

— Тургенева.

— Знаю... читал... Хорошо пишет! Очень хорошо! Только, знаете ли, не нравится мне в нем это... как его... не нравится, что он много иностранных слов употребляет. И потом, как запустится насчет природы, как запустится, так взял бы и бросил! Солнце... луна... птички поют... черт знает что! Тянет, тянет...

— Великолепные у него есть места!..

— Еще бы, Тургенев ведь! Мы с вами так не напишем. Читал я, помню, «Дворянское гнездо»... Смеху этого — страсть! Помните, например, то место, где Лаврецкий объясняется в любви с этой... как ее?.. с Лизой... В саду... помните? Хо-хо! Он заходит около нее и так и этак... со всякими подходцами, а она, шельма, жеманится, кочевряжится, канителит... убить мало!

Флейта вскакивала с постели и, сверкая глазами, надсаживая свой тенорок, начинала спорить, доказывать, объяснять...

— Да что вы мне говорите! — оппонировал контрабас.— Сам я не знаю, что ли? Какой образованный нашелся! Тургенев, Тургенев... Да что Тургенев? Хоть бы и вовсе его не было.

И Иван Матвеич, обессиленный, но не побежденный, умолкал. Стараясь не спорить, стиснув зубы, он глядел на своего укрывающегося одеялом сожителя, и в это время большая голова контрабаса казалась ему такой противной, глупой деревяшкой, что он дорого бы дал, если бы ему позволили стукнуть по ней хоть разик.

— Вечно вы спор поднимаете! — говорил контрабас, укладывая свое длинное тело на короткой кровати.— Ха-рак-тер! Ну, спокойной ночи. Тушите лампу!

— Мне еще читать хочется...

— Вам читать, а мне спать хочется.

— Но, я полагаю, не следует стеснять свободу друг друга...

— Так вот и не стесняйте мою свободу... Тушите!

Флейта тушила лампу и долго не могла уснуть от ненависти и сознания бессилия, которое чувствует всякий, сталкиваясь с упрямством невежды. Иван Матвеич после споров с контрабасом всякий раз дрожал как в лихорадке. Утром контрабас просыпался обыкновенно рано, часов в шесть, флейта же любила спать до одиннадцати. Петр Петрович, проснувшись, принимался от нечего делать за починку футляра от своего контрабаса.

— Вы не знаете, где наш молоток? — будил он флейту.— Послушайте, вы! Соня! Не знаете, где наш молоток?

— Ах... я спать хочу!

— Ну и спите... Кто вам мешает? Дайте молоток и спите.

Но особенно солоно приходились флейте субботы. Каждую субботу контрабас завязался, надевал галстук бантом и уходил куда-то глядеть богатых невест. Возвращался он от невест поздно ночью, веселый, возбужденный, в подпитии.

— Вот, батенька, я вам скажу! — начинал он делиться впечатлениями, грузно садясь на кровать спящей флейты.— Да будет вам спать, успеете! Экий вы соня! Хо-хо-хо... Видал невесту... Понимаете, блондинка, с этакими глазами... толстенькая... Ничего себе, канашка. Но мать, мать! Жох старуха! Дипломатия! Без адвоката окрутит, коли захочет! Обещает шесть тысяч, а и трех не даст, ей-богу! Но меня не надуешь, не-ет!

— Голубчик... спать хочу...— бормотала флейта, пряча голову под одеяло.

— Да вы слушайте! Какой вы свинья, ей-богу! Я у вас по-дружески совета прошу, а вы рожу воротите... Слушайте!

И бедная флейта должна была слушать до тех пор, пока не наступало утро и контрабас не принимался за починку футляра.

— Нет, не могу с ним жить! — жаловалась флейта на репетициях.— Верите ли? Лучше в слуховом окне жить, чем с ним... Совсем замучил!

— Отчего же вы от него не уйдете?

— Неловко как-то... Обидится... Чем я могу мотивировать свой уход? Научите, чем? Уж я все передумал!

Не прошло и месяца совместного жития, как флейта начала чахнуть и плакаться на судьбу. Но жизнь стала еще невыносимей, когда контрабас вдруг, ни с того ни с сего, предложил флейте перебираться с ним на новую квартиру.

— Эта не годится... Укладывайтесь! Нечего хныкать! От новой квартиры до кухмистерской, где вы обедаете, немножко далеко, но это ничего, много ходить полезно.

Новая квартира оказалась сырой и темной, но бедная флейта помирилась бы и с сыростью и с темнотой, если бы контрабас не изобрел на новоселье новых мук. Он в видах экономии завел у себя керосиновую кухню и стал готовить на ней себе обеды, отчего в комнате был постоянный туман. Починку футляра по утрам заменил он хрипеньем на контрабасе.

— Не чавкайте! — нападал он на Ивана Матвеича, когда тот ел что-нибудь.— Терпеть не могу, если кто чавкает над ухом! Идите в коридор да там и чавкайте!

Прошел еще месяц, и контрабас предложил перебираться на третью квартиру. Здесь он завел себе большие сапоги, от которых воняло дегтем, и в литературных спорах стал употреблять новый прием: вырывал из рук флейты книгу и сам тушил лампу. Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой, стриженой голове, болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала.

— Скажешь ему, что я не хочу с ним жить, а он и обидится! Не по-товарищески! Уж буду терпеть!

Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для флейты престранным образом. Однажды, когда приятели возвращались

из театра, контрабас взял под руку флейту и сказал:

— Вы извините меня, Иван Матвеич, но я наконец должен вам сказать... спросить то есть... Скажите, что это вам так нравится жить со мной? Не понимаю! Характерами мы не сошлись, вечно ссоримся, опротивели друг другу... Не знаю, как вы, но я совсем очумел... Уж я и так, и этак... и на квартиры перебирался, чтоб вы от меня ушли, и на контрабасе по утрам играл, а вы все не уходите! Уйдите, голубчик! Сделайте такую милость! Вы извините меня, но долее терпеть я не в состоянии.

Флейте этого только и нужно было.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЖЕНИТЬСЯ

Секретно

Так как предмет этой статьи составляет мужскую тайну и требует серьезного умственного напряжения, на которое весьма многие дамы не способны, то прошу отцов, мужей, околоточных надзирателей и проч. наблюдать, чтобы дамы и девицы этой статьи не читали. Это руководство не есть плод единичного ума, но составляет квинтэссенцию из всех существующих оракулов, физиономик, кабалистик и долголетних бесед с опытными мужьями и компетентнейшими содержательницами модных мастерских.

Введение.— Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Холостому завязывает галстук горничная, а женатому — жена. Брак хорош также своею доступностью. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцам... Исключение составляют только безумные и сумасшедшие, дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно.

Руководство I-е.— Ухаживая за девицей, обращай внимание прежде всего на наружность, ибо по наружности узнается характер особы. В наружности разли-

чай: цвет волос и глаз, рост, походку и особые приметы. По цвету волос женщины делятся на блондинок, брюнеток, шатенок и проч. *Блондинки* обыкновенно благонравны, скромны, сентиментальны, любят папашу и мамашу, плачут над романами и жалеют животных. Характером они прямолинейны, в убеждениях строго консервативны, с буквой ѣ не в ладу. К чужим любвям они относятся чутко, в своей же собственной любви они холодны, как рыбы. В самую патетическую минуту блондинка может зевнуть и сказать: «Не забыть бы послать завтра за коленкором!» Выйдя замуж, они скоро киснут, толстеют и вянут. Плодовиты, чадолюбивы и плаксивы. Мужьям неверности не прощают, сами же изменяют охотно. Жены-блондинки обыкновенно мистичны, подозрительны и считают себя страдалицами. *Брюнетки* не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, непостоянны, капризны, вспыльчивы, часто ссорятся с мамашами и бьют по щекам горничных. Начинают «не обращать внимания» на гадких мужчин уже с двенадцати лет, учатся плохо, ненавидят классных дам, любят романы, причем пропускают описания природы и прочитывают объяснения в любви по пяти раз. Они пылки, страстны и любят с азартом, сломя голову, задыхаясь... Жена-брюнетка — это целая инквизиция. С одной стороны, такая страсть, что чертям тошно, с другой — капризы, наряды, бесшабашная логика, визг, писк... С изменою мужей мирятся скоро, платя им тою же монетою. *Шатенки* от блондинок не ушли и к брюнеткам не пришли. Составляют нечто среднее между теми и другими. Считают себя брюнетками. *Рыжие* лукавы, лживы, злы, коварны... Любви без коварства не понимают. Обыкновенно бывают очень хорошо сложены и имеют на всем теле великолепную розовую кожу. Говорят, что черти и лешие обязательно женятся на рыжих. Где лживость, там трусость и малодушие. Достаточно хорошенько прикрикнуть на рыжую («Я тебе!»), чтобы она свернулась в калачик и полезла целоваться. Не забывай, что Мессалина и Нана были рыжие. *Прическа* при выборе жены имеет тоже не малое значе-

ние. Волоса гладко причесанные, прилизанные, с белым пробором, означают простоватость, ограниченность желаний... Такая прическа наичаще бывает у швеек, лавочниц и купеческих дочек. Подстриженная прядь волос, спущенная на лоб, означает суетную мелочность, ограниченность ума и похотливость. Этою прядью стараются обыкновенно скрыть узкий лоб... Шиньон и вообще орнаменты из чужих волос говорят за безвкусие, отсутствие фантазии и о том, что в прическу вмешивалась мамаша. Волоса, зачесанные сзади наперед, предполагают в женщине желание нравиться не только спереди, но и сзади. Такая прическа, если она не вершится тяжелой вавилонской башней, означает вкус и легкость нрава. Вьющиеся волосы говорят за игривость и художественность натуры. Прическа небрежная, всклоченная предполагает сомнение или душевную леность. Под стрижеными волосами скрывается образ мыслей. Если женщина седа или лыса и в то же время желает выйти замуж, то, значит, у нее много денег. Чем меньше в прическе шпилек, тем женщина изобретательнее и тем вернее, что у нее не чужие волосы. Теперь *о цвете глаз.* Голубые глаза с поволокой означают верность, покорность и кротость. Голубые выпученные бывают наичаще у женщин-шулеров и продажных. Черные глаза означают страстность, вспыльчивость и коварство. Заметь, что у умных женщин редко бывают черные глаза. Серые бывают у щеголих, хохотуний и дурочек. Карие предполагают любовь к сплетням и зависть к чужим нарядам. *Рост* выбирай средний. Высокие женщины грубоваты и больно бьют, маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай: эти злы и ехидны. *Походка* торопливая, с оглядками говорит о ветрености и легкомыслии. Походка ленивая бывает у женщин, сердце которых уже занято — тут ты не пообедаешь. Походка утичья, с перевальцем и виляньем турнюра есть признак добродушия, податливости и иногда тупости. Походка горделивая, лебединая бывает у *этих* дам и содержанок. Чем спесивее походка, тем, значит, старее и богаче содержатель.

Такая походка у девиц означает самомнение и ограниченность. Если барыня не идет, а плывет, как пава, то поворачивай оглобли: она накормит, утешит, но непременно возьмет под башмак. *Особые приметы* не многочисленны. Ямочки на щеках означают кокетство, тайные грешки и добродушие. Ямочки на щеках и прищуренные глаза обещают многое, но не для платониста. Усики говорят о бесплодии. Длинные ногти бывают у белоручек. Слившиеся брови означают, что данная особь будет строгой матерью и бешеной тещей. Веснушки наичаще замечаются у рыжих чертовок, рабынь и дурочек. Пухленькие и сдобненькие барышни с отдутлыми щеками и красными руками наивны, в слове *еще* делают четыре ошибки, но зато они скоро выучиваются печь вкусные пироги и шить мужу бархатные жилетки.

Руководство II-е.— Не моги жениться без приданого. Женитьба без приданого все равно, что мед без ложки, Шмуль без пейсов, сапоги без подошв. Любовь сама по себе, приданое само по себе. Запрашивай сразу 200 000. Ошеломив цифрой, начинай торговаться, ломаться, канителить. Приданое бери обязательно *до* свадьбы. Не принимай векселей, купонов, акций и каждую сторублевку ощупай, обнюхай и осмотри на свет, ибо нередки случаи, когда родители дают за своими дочерями фальшивые деньги. Кроме денег, выторгуй себе побольше вещей. Жена, даже плохая, должна принести с собою: a) побольше мебели и рояль; b) одну перину на лебяжьем пуху и три одеяла: шелковое, шерстяное и бумажное; c) два меховых салопа, один для праздников, другой для будней; d) побольше чайной, кухонной и обеденной посуды; e) 18 сорочек из лучшего голландского полотна, с отделкой; 6 кофт из такого же полотна с кружевной отделкой; 6 кофт из нансу; 6 пар панталон из того же полотна и столько же пар из английского шифона; 6 юбок из мадаполама с прошивками и обшивками; пеньюар из лучшей батист-виктории; 4 полупеньюара из батист-виктории; 6 пар панталон канифасовых. Простынь, наволочек, чепчиков, чулков, бумазейных юбок, под-

вязок, скатертей, платков и проч. должно быть в достаточном количестве. Все это сам осмотри, сочти и, чего недостанет, немедленно потребуй. Детского белья не бери, так как существует примета: есть белье — детей нет, дети есть — белья нет; f) вместо платьев, фасон коих скоро меняется, требуй материи в штуках; g) без столового серебра не женись.

Женившись, будь с женою строг и справедлив, не давай ей забываться и при каждом недоразумении говори ей: «Не забывай, что я тебя осчастливил!»

НИНОЧКА

Роман

Тихо отворяется дверь, и ко мне входит мой хороший приятель Павел Сергеевич Вихленев, человек молодой, но старообразный и болезненный. Он сутуловат, длиннонос и тощ и, в общем, некрасив, но зато физиономия у него такая простецкая, мягкая, расплывчатая, что всякий раз при взгляде на нее является странное желание забрать ее в пять перстов и как бы осязать все мягкосердечие и душевную тестообразность моего приятеля. Как и все кабинетные люди, он тих, робок и застенчив, на этот же раз он, кроме того, еще бледен и чем-то сильно взволнован.

— Что с вами? — спрашиваю я, всматриваясь в его бледное лицо и слегка дрожащие губы.— Больны, что ли, или опять с женой не поладили? На вас лица нет!

Помявшись немного и покашляв, Вихленев машет рукой и говорит:

— Опять у меня с Ниночкой... комиссия! Такое, голубчик, горе, что всю ночь не спал и, как видите, чуть живой хожу... Черт меня знает! Других никаким горем не проймешь, легко сносят и обиды, и потери, и болезни, а для меня пустяка достаточно, чтоб я раскис и развинтился!

— Но что случилось?

— Пустяки... маленькая семейная драма. Да я вам расскажу, если хотите. Вчера вечером моя Ниночка

никуда не поехала, а осталась дома, захотела со мной вечер провести. Я, конечно, обрадовался. Вечером она обыкновенно уезжает куда-нибудь в собрание, а я только вечерами и бываю дома, можете же поэтому судить, как я тово... обрадовался. Впрочем, вы никогда не были женаты и не можете судить, как тепло и уютно чувствуешь себя, когда, придя с работы домой, застаешь то, для чего живешь... Ах!

Вихленев описывает прелести семейной жизни, вытирает со лба пот и продолжает:

— Ниночка захотела провести со мной вечерок... А вы ведь знаете, какой я! Человек я скучный, тяжелый, не остроумный. Какое со мной веселье? Вечно я со своими чертежами, фильтром да почвой. Ни поиграть, ни потанцевать, ни побалагурить... ни на что я не способен, а ведь Ниночка, согласитесь, молодая, светская... Молодость имеет свои права... не так ли? Ну, стал я ей показывать картинки, разные вещички, то да се... рассказал кое-что... Кстати тут вспомнил, что у меня в столе лежат старые письма, а между этими письмами пресмешные попадаются! Во времена студенчества были у меня приятели: ловко писали, бестии! Читаешь, кишки порвешь. Вытащил я из стола эти письма и давай Ниночке читать. Прочел я ей одно письмо, другое, третье... и вдруг — стоп машина! В одном письме, знаете ли, попалась фраза: «Кланяется тебе Катя». Для ревнивой супруги такие фразы — нож острый, а моя Ниночка Отелло в юбке. Посыпались на мою несчастную голову вопросы: кто это Катенька? да как? да почему? Я ей и рассказываю, что эта Катенька была чем-то вроде первой любви... что-то этакое студенческое, молодое, зеленое, чему никакого значения нельзя придавать. У всякого, говорю, юнца есть свои Катеньки, нельзя без этого... Не слушает моя Ниночка! Вообразила черт знает что и в слезы. После слез истерика. «Вы, кричит, гадки, мерзки! Вы скрываете от меня свое прошлое! Стало быть, кричит, у вас и теперь есть какая-нибудь Катька, да вы скрываете!» Убеждал, убеждал я ее, но ни к чему... Мужской логике никогда не совладать с жен-

ской. Наконец, прощения просил, на коленках... ползал, и хоть бы тебе что. Так и легла спать с истерикой: она у себя, а я у себя на диване... Сегодня утром не глядит, дуется и выкает. Обещает переехать к матери. И наверное переедет, я знаю ее характер!

— Мда, неприятная история.

— Непонятны мне женщины! Ну, допустим, Ниночка молода, нравственна, брезглива, ее не может не коробить такая проза, как Катенька, допустим... но неужели простить трудно? Пусть я виноват, но ведь я просил прощения, на коленях ползал! Я, если хотите знать, даже... плакал!

— Да, женщины большая загадка.

— Голубчик мой, дорогой, вы имеете над Ниночкой большое влияние, она уважает вас, видит в вас авторитет. Умоляю вас, съездите к ней, употребите все ваше влияние и втолкуйте ей, как она не права... Я страдаю, мой дорогой!.. Если эта история продолжится еще на день, то я не вынесу. Съездите, голубчик!

— Но удобно ли это будет?

— Отчего же не удобно? Вы с ней друзья чуть ли не с детства, она верит вам... Съездите, будьте другом!

Слезные мольбы Вихленева меня трогают. Я одеваюсь и еду к его жене. Застаю я Ниночку за ее любимым занятием: она сидит на диване, положив ногу на ногу, щурит на воздух свои хорошенькие глазки и ничего не делает... Увидав меня, она прыгает с дивана и подбегает ко мне... Затем она оглядывается, быстро затворяет дверь и с легкостью перышка повисает на моей шее. (Да не подумает читатель, что здесь опечатка... Вот уже год прошел, как я разделяю с Вихленевым его супружеские обязанности.)

— Ты что же это опять, бестия, выдумала? — спрашиваю я Ниночку, усаживая ее рядом с собой.

— Что такое?

— Опять ты для своего благоверного муку изо-

брела! Сегодня уж он был у меня и все рассказал про Катеньку.

— Ах... это! Нашел кому жаловаться!..

— Что у вас тут вышло?

— Так, пустяки... Вчера вечером скучно было... взяло зло, что некуда мне ехать, ну с досады и прицепилась к его Катеньке. Заплакала я от скуки, а как ты объяснишь ему этот плач?

— Но ведь это, душа моя, жестоко, бесчеловечно. Он и так нервен, а ты еще его своими сценами донимаешь.

— Ничего, он любит, когда я его ревную... Ничем так не отведешь глаз, как фальшивой ревностью... Но оставим этот разговор... Я не люблю, когда ты начинаешь разговор про моего тряпку... Он и так уж надоел мне... Давай лучше чай пить...

— Но все-таки ты перестань его мучить... На него, знаешь, глядеть жалко... Он так искренне и честно расписывает свое семейное счастье и так верит в твою любовь, что даже жутко делается... Уж ты как-нибудь пересиль себя, приласкайся, соври... Одного твоего слова достаточно, чтобы он почувствовал себя на седьмом небе.

Ниночка надувает губки и хмурится, но все-таки, когда немного погодя входит Вихленев и робко заглядывает мне в лицо, она весело улыбается и ласкает его взглядом.

— Как раз к чаю пришел! — говорит она ему.— Умный ты у меня, никогда не опаздываешь... Тебе со сливками или с лимоном?

Вихленев, не ожидавший такой встречи, умиляется. Он с чувством целует жене руку, обнимает меня, и это объятие выходит так нелепо и некстати, что я и Ниночка, оба краснеем...

— Блаженны миротворцы! — весело кудахтает счастливый муж.— Вам вот удалось убедить ее почему? А потому, что вы человек светский, вращались в обществе, знаете все эти тонкости по части женского сердца! Ха-ха-ха! Я тюлень, байбак! Нужно слово сказать, а я десять... Нужно ручку

поцеловать или что другое, а я ныть начинаю! Ха-ха-ха!

После чая Вихленев ведет меня к себе в кабинет, берет за пуговицу и бормочет:

— Не знаю, как и благодарить вас, дорогой мой! Вы верите, я так страдал, мучился, а теперь так счастлив, хоть отбавляй! И это уж не впервой вы вывозите меня из ужасного положения. Дружок мой, не откажите мне! У меня есть одна вещичка... а именно, маленький локомотив, что я сам сделал... я за него медаль на выставке получил... Возьмите его в знак моей признательности... дружбы!.. Сделайте мне такое одолжение!

Понятно, я всячески отнекиваюсь, но Вихленев неумолим, и я волей-неволей принимаю его дорогой подарок.

Проходят дни, недели, месяцы... и рано или поздно проклятая истина раскрывается перед Вихленевым во всем своем поганом величии. Узнав случайно истину, он страшно бледнеет, ложится на диван и тупо глядит в потолок... При этом не говорится ни одного слова. Душевная боль должна выразиться в каких-нибудь движениях, и вот он начинает мучительно ворочаться на своем диване с боку на бок. Этими движениями и ограничивается его тряпичная натура.

Через неделю, немного оправившись от поразившей его новости, Вихленев приходит ко мне. Оба мы смущены и не глядим друг на друга... Я начинаю ни к селу ни к городу нести ахинею о свободной любви, супружеском эгоизме, покорности судьбе.

— Я не о том...— перебивает он меня кротко.— Все это я отлично понимаю. В чувстве никто не виноват. Но меня интересует другая сторона дела, чисто практическая. Я, голубчик, жизни совсем не знаю, и, где дело касается обрядностей, условий света, там я совсем швах [1]. Вы, дорогой мой, поможете мне. Скажите, как теперь Ниночке быть! Продолжать ли ей жить

---

[1] слаб (от *нем.* schwach).

у меня, или же вы сочтете лучшим, чтоб она к вам переехала?

Мы недолго совещаемся и останавливаемся на таком решении: Ниночка остается жить у Вихленева, я езжу к ней, когда мне вздумается, а Вихленев берет себе угловую комнату, где раньше была кладовая. Эта комната немного сыра и темна, ход в нее через кухню, но зато в ней можно отлично закупориться и не быть ни в чьем глазу спицей.

ДОРОГАЯ СОБАКА

Поручик Дубов, уже не молодой армейский служака, и вольноопределяющийся Кнапс сидели и выпивали.

— Великолепный пес! — говорил Дубов, показывая Кнапсу свою собаку Милку.— Заме-ча-тельная собака! Вы обратите внимание на морду! Морда одна чего стоит! Ежели на любителя наскочить, так за одну морду двести рублей дадут! Не верите? В таком случае вы ничего не понимаете...

— Я понимаю, но...

— Ведь сеттер, чистокровный английский сеттер! Стойка поразительная, а чутье... нюх! Боже, какой нюх! Знаете, сколько я дал за Милку, когда она была еще щенком? Сто рублей! Дивная собака! Ше-ельма, Милка! Ду-ура, Милка! Поди сюда, поди сюда... собачечка, песик мой...

Дубов привлек к себе Милку и поцеловал ее между ушей. На глазах у него выступили слезы.

— Никому тебя не отдам... красавица моя... разбойник этакий. Ведь ты любишь меня, Милка? Любишь?.. Ну, пошла вон! — крикнул вдруг поручик.— Грязными лапами прямо на мундир лезешь! Да, Кнапс, полтораста рублей дал, за щенка! Стало быть, было за что! Одно только жаль: охотиться мне некогда! Гибнет без дела собака, талант свой зарывает... Потому-то и продаю. Купите, Кнапс! Всю жизнь бу-

дете благодарны! Ну, если у вас денег мало, то извольте, я уступлю вам половину... Берите за пятьдесят! Грабьте!

— Нет, голубчик...— вздохнул Кнапс.— Будь ваша Милка мужеского пола, то, может быть, я и купил бы, а то...

— Милка не мужеского пола? — изумился поручик.— Кнапс, что с вами? Милка не мужеского... пола?! Ха-ха! Так что же она, по-вашему? Сука? Ха-ха... Хорош мальчик! Он еще не умеет отличить кобеля от суки!

— Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок...— обиделся Кнапс.— Конечно, сука!

— Пожалуй, вы еще скажете, что я дама! Ах, Кнапс, Кнапс! А еще тоже в техническом кончили! Нет, душа моя, это настоящий, чистокровный кобель! Мало того, любому кобелю десять очков вперед даст, а вы... не мужеского пола! Ха-ха...

— Простите, Михаил Иванович, но вы... просто за дурака меня считаете... Обидно даже...

— Ну, не нужно, черт с вами... Не покупайте... Вам не втолкуешь! Вы скоро скажете, что у нее это не хвост, а нога... Не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. Вахрамеев, коньяку!

Денщик подал еще коньяку. Приятели налили себе по стакану и задумались. Прошло полчаса в молчании.

— А хоть бы и женского пола...— прервал молчание поручик, угрюмо глядя на бутылку.— Удивительное дело! Для вас же лучше. Принесет вам щенят, а что ни щенок, то и четвертная... Всякий у вас охотно купит. Не знаю, почему это вам так нравятся кобели! Суки в тысячу раз лучше. Женский пол и признательнее и привязчивее... Ну, уж если вы так боитесь женского пола, то извольте, берите за двадцать пять.

— Нет, голубчик... Ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна, а во-вторых, денег нет.

— Так бы и сказали раньше. Милка, пошла отсюда!

Денщик подал яичницу. Приятели принялись за нее и молча очистили сковороду.

— Хороший вы малый, Кнапс, честный...— сказал

поручик, вытирая губы.— Жалко мне вас так отпускать, черт подери... Знаете что? Берите собаку даром!

— Куда же я ее, голубчик, возьму? — сказал Кнапс и вздохнул.— И кто у меня с ней возиться будет?

— Ну, не нужно, не нужно... черт с вами! Не хотите, и не нужно... Куда же вы? Сидите!

Кнапс, потягиваясь, встал и взялся за шапку.

— Пора, прощайте...— сказал он, зевая.

— Так постойте же, я вас провожу.

Дубов и Кнапс оделись и вышли на улицу. Первые сто шагов прошли молча.

— Вы не знаете, кому бы это отдать собаку? — начал поручик.— Нет ли у вас таких знакомых? Собака, вы видели, хорошая, породистая, но... мне решительно не нужна!

— Не знаю, милый... Какие же у меня тут знакомые?

До самой квартиры Кнапса приятели не сказали больше ни одного слова. Только когда Кнапс пожал поручику руку и отворил свою калитку, Дубов кашлянул и как-то нерешительно выговорил:

— Вы не знаете, здешние живодеры собак принимают или нет?

— Должно быть, принимают... Наверное не могу сказать.

— Пошлю завтра с Вахрамеевым... Черт с ней, пусть с нее кожу сдерут... Мерзкая собака! Отвратительная! Мало того что нечистоту в комнатах завела, но еще в кухне вчера все мясо сожрала, п-п-подлая... Добро бы порода хорошая, а то черт знает что, помесь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи!

— Прощайте! — сказал Кнапс.

Калитка хлопнула, и поручик остался один.

ПИСАТЕЛЬ

В комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам Ершаков, человек молодой, по моде одетый, но помятый и, видимо, поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому почерку с завитушками, капулю и тонкому сигарному запаху, он был не чужд европейской цивилизации. Но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил:

— Писатель пришел!

— А!.. Зови его сюда. Да скажи ему, чтоб калоши свои в магазине оставил.

Через минуту в комнатку тихо вошел седой, плешивый старик в рыжем, потертом пальто, с красным, помороженным лицом и с выражением слабости и неуверенности, какое обыкновенно бывает у людей хотя и мало, но постоянно пьющих.

— А, мое почтение...— сказал Ершаков, не оглядываясь на вошедшего.— Что хорошенького, господин Гейним?

Ершаков смешивал слова «гений» и «Гейне», и они сливались у него в одно — «Гейним», как он и называл всегда старика.

— Да вот-с, заказик принес,— ответил Гейним.— Уже готово-с...

— Так скоро?

— В три дня, Захар Семеныч, не то что рекламу, роман сочинить можно. Для рекламы и часа довольно.

— Только-то? А торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. Ну, показывайте, что вы сочинили?

Гейним вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке.

— У меня еще вчерне-с, в общих чертах-с...— сказал он.— Я вам прочту-с, а вы вникайте и указывайте, в случае ежели ошибку найдете. Ошибиться не мудрено, Захар Семеныч... Верите ли? Трем магазинам сразу рекламу сочинял... Это и у Шекспира бы голова закружилась.

Гейним надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом и точно декламируя:

— «Сезон тысяча восемьсот восемьдесят пятого — восемьдесят шестого года. Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу, З. С. Ершаков. Фирма существует с тысяча восемьсот четвертого года». Все это вступление, понимаете, будет в орнаментах, между гербами. Я одному купцу рекламу сочинял, так тот взял для объявления гербы разных городов. Так и вы можете сделать, и я для вас придумал такой орнамент, Захар Семеныч: лев, а у него в зубах лира. Теперь дальше: «Два слова к нашим покупателям. Милостивые государи! Ни политические события последнего времени, ни холодный индифферентизм, все более и более проникающий во все слои нашего общества, ни обмеление Волги, на которое еще так недавно указывала лучшая часть нашей прессы,— ничто не смущает нас. Долголетнее существование нашей фирмы и симпатий, которыми мы успели заручиться, дают нам возможность прочно держаться почвы и не изменять раз навсегда заведенной системе как в сношениях наших с владельцами чайных плантаций, так равно и в добросовестном исполнении заказов. Наш девиз достаточно известен. Выражается он в немногих, но многозначительных словах: добросовестность, дешевизна и скорость!!»

— Хорошо! Очень хорошо! — перебил Ершаков, двигаясь на стуле.— Даже не ожидал, что так сочи-

ните. Ловко! Только вот что, милый друг... нужно тут как-нибудь тень навести, затуманить, как-нибудь этак, знаешь, фокус устроить... Публикуем мы тут, что фирма только что получила партию свежих первосборных весенних чаев сезона тысяча восемьсот восемьдесят пятого года... Так? А нужно, кроме того, показать, что эти только что полученные чаи лежат у нас в складе уже три года, но тем не менее будто из Китая мы их получили только на прошлой неделе.

— Понимаю-с... Публика и не заметит противоречия. В начале объявления мы напишем, что чаи только что получены, а в конце мы так скажем: «Имея большой запас чая с оплатой прежней пошлины, мы без ущерба собственным интересам можем продавать их по прейскуранту прошлых лет...» — и так далее. Ну-с, на другой странице будет прейскурант. Тут опять пойдут гербы и орнаменты... Под ними крупным шрифтом: «Прейскурант отборным ароматическим фучанским, кяхтинским и байховым чаям первого весеннего сбора, полученным из вновь приобретенных плантаций»... Дальше-с: «Обращаем внимание истинных любителей на лянсинные чаи, из коих самою большою и заслуженною любовью пользуется «Китайская эмблема, или Зависть конкурентов», три рубля пятьдесят копеек. Из розанистых чаев мы особенно рекомендуем «Богдыханская роза», два рубля, и «Глаза китаянки», один рубль восемьдесят копеек». За ценами пойдет петитом о развеске и пересылке чая. Тут же о скидке и насчет премий: «Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывает удочку в виде премий. Мы, с своей стороны, протестуем против этого возмутительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих жертв. Всякий, купивший у нас не менее чем на пятьдесят рублей, выбирает и получает бесплатно одну из следующих пяти вещей: чайник из британского металла, сто визитных карточек, план города Москвы, чайницу в виде нагой китаянки и книгу «Жених удивлен, или Невеста под корытом», рассказ Игривого весельчака».

Кончив чтение и сделав кое-какие поправки, Гейним быстро переписал рекламу начисто и вручил ее Ершакову. После этого наступило молчание... Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую-то пакость.

— Деньги за работу сейчас прикажете получить или после? — спросил Гейним нерешительно.

— Когда хотите, хоть сейчас...— небрежно ответил Ершаков.— Ступай в магазин и бери чего хочешь на пять с полтиной.

— Мне бы деньгами, Захар Семеныч.

— У меня нет моды деньгами платить. Всем плачу чаем да сахаром: и вам, и певчим, где я старостой, и дворникам. Меньше пьянства.

— Разве, Захар Семеныч, мою работу можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд.

— Какой труд! Сел, написал, и все тут. Писанья не съешь, не выпьешь... плевое дело! И рубля не стоит.

— Гм... Как вы насчет писанья рассуждаете,— обиделся Гейним.— Не съешь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, может, когда сочинял эту рекламу, душой страдал. Пишешь и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Семеныч!

— Надоел, брат. Нехорошо так приставать.

— Ну, ладно. Так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы у меня его назад возьмут по восьми копеек за фунт. Потеряю на этой операции копеек сорок, ну, да что делать! Будьте здоровы-с!

Гейним повернулся, чтобы выйти, но остановился в дверях, вздохнул и сказал мрачно:

— Россию обманываю! Всю Россию! Отечество обманываю из-за куска хлеба! Эх!

И вышел. Ершаков закурил гаванку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным человеком.

ТАПЕР

Второй час ночи. Я сижу у себя в номере и пишу заказанный мне фельетон в стихах. Вдруг отворяется дверь, и в номер совсем неожиданно входит мой сожитель, бывший ученик М — ой консерватории, Петр Рублев. В цилиндре, в шубе нараспашку, он напоминает мне на первых порах Репетилова; потом же, когда я всматриваюсь в его бледное лицо и необыкновенно острые, словно воспаленные глаза, сходство с Репетиловым исчезает.

— Отчего ты так рано? — спрашиваю я.— Ведь еще только два часа! Разве свадьба уже кончилась?

Сожитель не отвечает. Он молча уходит за перегородку, быстро раздевается и с сопением ложится на свою кровать.

— Спи же, с-скотина! — слышу я через десять минут его шепот.— Лег, ну и спи! А не хочешь спать, так... ну тебя к черту!

— Не спится, Петя? — спрашиваю я.

— Да, черт его знает... не спится что-то... Смех разбирает... Не дает смех уснуть! Ха-ха!

— Что же тебе смешно?

— История смешная случилась. Нужно же было случиться этой анафемской истории!

Рублев выходит из-за перегородки и со смехом садится около меня.

— Смешно и... совестно...— говорит он, ероша

свою прическу.— Отродясь, братец ты мой, не испытывал еще таких пассажей... Ха-ха... Скандал — первый сорт! Великосветский скандал!

Рублев бьет себя кулаком по колену, вскакивает и начинает шагать босиком по холодному полу.

— В шею дали! — говорит он.— Оттого и пришел рано.

— Полно, что врать-то!

— Ей-богу... В шею дали — буквально!

Я гляжу на Рублева... Лицо у него испитое и поношенное, но во всей его внешности уцелело еще столько порядочности, барской изнеженности и приличия, что это грубое «дали в шею» совсем не вяжется с его интеллигентной фигурой.

— Скандал первостатейный... Шел домой и всю дорогу хохотал. Ах, да брось ты свою ерунду писать! Выскажусь, вылью все из души, может не так... смешно будет!.. Брось! История интересная... Ну, слушай же... На Арбате живет некий Присвистов, отставной подполковник, женатый на побочной дочери графа фон Крах... Аристократ, стало быть... Выдает он дочку за купеческого сына Ескимосова... Этот Ескимосов парвеню[1] и мовежанр[2], свинья в ермолке и моветон[2], но папаше с дочкой манже и буар[3] хочется, так что тут некогда рассуждать о мовежанрах. Отправляюсь я сегодня в девятом часу к Присвистову таперствовать. На улицах грязища, дождь, туман... На душе, по обыкновению, гнусно.

— Ты покороче,— говорю я Рублеву.— Без психологий...

— Ладно... Прихожу к Присвистову... Молодые и гости после венца фрукты трескают. В ожидании танцев иду к своему посту — роялю — и сажусь.

— А, а... вы пришли! — увидел меня хозяин.— Так вы уж, любезный, смотрите: играть как следует, и главное — не напиваться...

---

[1] выскочка (от *франц.* parvenu).

[2] человек дурного тона, плохо воспитанный (от *франц.* mauvais genre).

[3] есть и пить (от *франц.* manger, boire).

— Я, брат, привык к таким приветствиям, не обижаюсь... Ха-ха... Назвался груздем, полезай в кузов... Не так ли? Что я такое? Тапер, прислуга... официант, умеющий играть!.. У купцов тыкают и на чай дают, и — нисколько не обидно! Ну-с, от нечего делать, до танцев начинаю побринкивать этак слегка, чтоб, знаешь, пальцы разошлись. Играю и слышу немного погодя, братец ты мой, что сзади меня кто-то подпевает. Оглядываюсь — барышня! Стоит, бестия, сзади меня и на клавиши умильно глядит. «Я, говорю, mademoiselle [1], и не знал, что меня слушают!» А она вздыхает и говорит: «Хорошая вещь!» — «Да, говорю, хорошая... А вы нешто любите музыку?» И завязался разговор... Барышня оказалась разговорчивая. Я ее за язык не тянул, сама разболталась. «Как, говорит, жаль, что нынешняя молодежь не занимается серьезной музыкой». Я, дуррак, болван, рад, что на меня обратили внимание... осталось еще это гнусное самолюбие!.. принимаю, знаешь, этакую позу и объясняю ей индифферентизм молодежи отсутствием в нашем обществе эстетических потребностей... Зафилософствовался!

— В чем же скандал? — спрашиваю я Рублева.— Влюбился, что ли?

— Выдумал! Любовь, это — скандал личного свойства, а тут, брат, произошло нечто всеобщее, великосветское... да! Беседую я с барышней и вдруг начинаю замечать что-то неладное: за моей спиной сидят какие-то фигуры и шепчутся... Слышу слово «тапер», хихиканье... Про меня, значит, говорят... Что за оказия? Не галстук ли у меня развязался? Пробую галстук — ничего... Не обращаю, конечно, внимания и продолжаю разговор... А барышня горячится, спорит, раскраснелась вся... Так и чешет! Такую критику пустила на композиторов, что держись шапка! В «Демоне» оркестровка хороша, а мотивов нет, Римский-Корсаков барабанщик, Варламов не мог создать ничего цельного и проч. Нынешние мальчики и девочки едва гаммы играют, платят по четвертаку за урок, а

---

[1] сударыня *(франц.)*.

уж не прочь музыкальные рецензии писать... Так и моя барышня... Я слушаю и не оспариваю... Люблю, когда молодое, зеленое дуется, мозгами шевелит... Ну, а сзади-то всё бормочут, бормочут... И что же? Вдруг к моей барышне подплывает толстая пава, из породы маменек или тетенек, солидная, багровая, в пять обхватов... не глядит на меня и что-то шепчет ей на ухо... Слушай же... Барышня вспыхивает, хватается за щеки и как ужаленная отскакивает от рояля... Что за оказия? Мудрый Эдип, разреши! Ну, думаю, наверное, или фрак у меня на спине лопнул, или у девочки в туалете какой-нибудь грех приключился, иначе трудно понять этот казус. На всякий случай иду минут через десять в переднюю оглядеть свою фигуру... оглядываю галстук, фрак, тралала... все на месте, ничего не лопнуло! На мое счастье, братец, в передней стояла какая-то старушонка с узлом. Все мне объяснила... Не будь ее, я так бы и остался в счастливом неведении. «Наша барышня не может без того, чтоб характера своего не показать,— рассказывает она какому-то лакею.— Увидала около фортепьянов молодца и давай с ним балясы точить, словно с настоящим каким... ахи да смехи, а молодец-то этот, выходит, не гость, а тапер... из музыкантов... Вот тебе и поговорила! Спасибо Марфе Степановне, шепнула ей, а то бы она чего доброго и под ручку с ним бы прошлась... Теперь и совестно, да уж поздно: слов не воротишь»... А? Каково?

— И девчонка глупа,— говорю я Рублеву,— и старуха глупа. Не стоит и внимания обращать...

— Я и не обратил внимания... Только смешно и больше ничего. Я давно уж привык к таким пассажам... Прежде действительно больно было, а теперь— плевать! Девчонка глупая, молодая... ее же жалко! Сажусь я и начинаю играть танцы... Серьезного там ничего не нужно... Знай себе закатываю вальсы, кадрили-монстры да гремучие марши... Коли тошно твоей музыкальной душе, то поди рюмочку выпей, и сам же взыграешься от «Боккачио».

— Но в чем, собственно, скандал?

— Трещу я на клавишах и... не думаю о девочке... Смеюсь и больше ничего, но... ковыряет у меня что-то под сердцем! Точно сидит у меня под ложечкой мышь и казенные сухари грызет... Отчего мне грустно и гнусно, сам не пойму... Убеждаю себя, браню, смеюсь... подпеваю своей музыке, но саднит мою душу, да как-то особенно саднит... Повернет этак в груди, ковырнет, погрызет и вдруг к горлу подкатит этак... точно ком... Стиснешь зубы, переждешь, а оно и оттянет, потом же опять сначала... Что за комиссия! И как нарочно, в голове самые что ни на есть подлые мысли... Вспоминается мне, какая из меня дрянь вышла... Ехал в Москву за две тысячи верст, метил в композиторы и пианисты, а попал в таперы... В сущности, ведь это естественно... даже смешно, а меня тошнит... Вспомнился мне и ты... Думаю: сидит теперь мой сожитель и строчит... Описывает, бедняга, спящих гласных, булочных тараканов, осеннюю непогоду... описывает именно то, что давным-давно уже описано, изжевано и переварено... Думаю я, и почему-то жалко мне тебя... до слез жалко!.. Малый ты славный, с душой, а нет в тебе этого, знаешь, огня, желчи, силы... нет азарта, и почему ты не аптекарь, не сапожник, а писатель, Христос тебя знает! Вспомнились все мои приятели-неудачники, все эти певцы, художники, любители... Все это когда-то кипело, копошилось, парило в поднебесье, а теперь... черт знает что! Почему мне лезли в голову именно такие мысли, не понимаю! Гоню из головы *себя,* приятели лезут; приятелей гоню, девчонка лезет... Над девчонкой я смеюсь, ставлю ее ни в грош, но не дает она мне покоя... И что это, думаю, за черта у русского человека! Пока ты свободен, учишься или без дела шатаешься, ты можешь с ним и выпить, и по животу его похлопать, и с дочкой его полюбезничать, но как только ты стал в мало-мальски подчиненные отношения, ты уже сверчок, который должен знать свой шесток... Кое-как, знаешь, заглушаю мысль, а к горлу все-таки подкатывает... Подкатит, сожмет и этак... сдавит... В конце концов чувствую на своих глазах жидкость, «Боккачио»

мой обрывается и... все к черту. Благородная зала оглашается другими звуками... Истерика...

— Врёшь!

— Ей-богу...— говорит Рублев, краснея и стараясь засмеяться.— Каков скандал? Засим чувствую, что меня влекут в переднюю... надевают шубу... Слышу голос хозяина: «Кто напоил тапера? Кто смел дать ему водки?» В заключение... в шею... Каков пассаж? Ха-ха... Тогда не до смеха было, а теперь ужасно смешно... ужасно! Здоровила... верзила, с пожарную каланчу ростом, и вдруг — истерика! Ха-ха-ха!

— Что же тут смешного? — спрашиваю я, глядя, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха.—Петя, ради бога... что тут смешного? Петя! Голубчик!

Но Петя хохочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику. Начинаю возиться с ним и бранюсь, что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду.

Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать — сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? — обратился землемер к станционному жандарму.

— Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых... Да вам куда ехать?

— В Девкино, имение генерала Хохотова.

— Что ж? — зевнул жандарм.— Ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

— Черт знает какая у тебя телега! — поморщился землемер, влезая в телегу.— Не разберешь, где у нее зад, где перед...

— Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад...

Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой, когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

— Этак мы всю дорогу поедем? — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашью езду с душу выворачивающей тряской.

— До-о-едем! — успокоил возница.— Кобылка молодая, шустрая... Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь... Но-о-о, прокля...тая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и краю... Поедешь по ней, так, наверно, заедешь к черту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная, осенняя заря... Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели.— Ни кола ни двора. Не ровен час — нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали... Да и возница ненадежный... Ишь какая спинища! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

— Эй, милый,— спросил землемер,— как тебя зовут?

— Меня-то? Клим.

— Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

— Ничего, бог миловал... Кому ж шалить?

— Это хорошо, что не шалят... Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера,— соврал

землемер.— А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться...

Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево.

«Куда же это он меня повез? — подумал землемер.— Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и... и... Бывают ведь случаи!»— Послушай,—обратился он к вознице.— Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль... Я люблю с разбойниками драться... На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка... Однажды напало на меня три разбойника... Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что... что, понимаешь, богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли, на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю... Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и... и сковырнешь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.

— Да, брат...— продолжал землемер.— Не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, он еще и перед судом ответит... Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный... Я вот еду, а начальству известно... так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да сотские понатыканы... По... по... постой! — заорал вдруг землемер.— Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь?

— Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес...— подумал землемер.— А я-то испугался! Однако не нужно выдавать своего волнения... Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь... Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

— Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?

— Я ее не гоню. Сама разбежалась... Уж как разбежится, так никаким средствием ее не остановишь... И сама она не рада, что у ней ноги такие.

— Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе

не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь... Слышишь? Попридержи!

— Зачем?

— А затем... затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали... Они обещали догнать меня в этом лесу.. С ними веселей будет ехать... Народ здоровый, коренастый... у каждого по пистолету... Что это ты все оглядываешься и движешься, как на иголках? а? Я, брат тово... брат... На меня нечего оглядываться... интересного во мне ничего нет... Разве вот револьверы только... Изволь, если хочешь, я их выну, покажу... Изволь...

Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще.

— Караул!— заголосил он.— Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!

Послышались скорые, удаляющиеся шаги, треск хвороста — и все смолкло... Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал... испугался, дурак... Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл... Как быть?» — Клим! Клим!

— Клим!..— ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

— Климушка! — закричал он.— Голубчик! Где ты, Климушка?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.

— Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

— У...убьешь!

— Да я пошутил, голубчик! Накажи меня господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедем! Мерзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.

— Ну, чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался... Садись!

— Бог с тобой, барин,— проворчал Клим, влезая в телегу.— Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха...

Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

Кандидат прав Перепелкин сидел у себя в номере и писал:

«Дорогой дядя Иван Николаевич!.. Черт бы тебя взял с твоими рекомендательными письмами и практическими советами! В тысячу раз лучше, благороднее и человечнее сидеть без дела и питаться надеждами на туманное будущее, чем ежели нужно купаться в холодной, вонючей грязи, в которую ты толкаешь меня своими письмами и советами. Тошнит меня нестерпимо, точно я рыбой отравился. Тошнота самая гнусная, мозговая, от которой не отделаешься ни водкой, ни сном, ни душеспасительными размышлениями. Знаешь, дядя, хотя ты и старик, но ты большая скотина. Отчего ты не предупредил меня, что мне придется переживать такие мерзости! Стыдно!

Описываю тебе по порядку все мои мытарства. Читай и казнись. Прежде всего я отправился с твоим рекомендательным письмом к Бабкову. Застал я его в правлении железнодорожного общества N. Это маленький, совершенно лысый старикашка с желто-серым лицом и бритым, кривым ртом. Верхняя губа его глядит направо, нижняя налево. Он сидит за отдельным столом и читает газету.

Вокруг него, как вокруг парнасского Аполлона, на высоких, коммерческих табуретках за толстыми книгами сидят дамы. Одеты эти дамы шикарно; турнюры, веера, массивные браслеты. Как они умеют

мирить внешний шик с нищенским женским жалованьем, понять трудно. Или они служат здесь от нечего делать, с жиру, по протекции папашей и дядюшек, или же тут бухгалтерия есть только дополнение, а подлежащее и сказуемое подразумевается. Потом я узнал, что они ни черта не делают; работа их валится на плечи разных сверхштатных служащих, безгласных мужчин, получающих по 10—15 рублей в месяц. Я подал Бабкову твое письмо. Он, не приглашая меня сесть, медленно надел допотопное пенсне, еще медленнее распечатал конверт и стал читать.

— Ваш дядюшка просит для вас места,— сказал он, почесывая лысину.— Вакансий у нас нет и едва ли скоро они будут, но во всяком случае постараюсь для вашего дядюшки... доложу директору нашего общества. Может быть, и найдем что-нибудь.

Я чуть не подпрыгнул от радости и готов уже был рассыпаться в песок благодарности, как вдруг, братец ты мой, слышу такую фразу:

— Но, молодой человек, будь это место лично для вашего дядюшки, то я бы с него ничего не взял, а так как оно для вас, то тово... уверен, что вы поблагодарите... меня как следует... Понимаете?..

Ты предупреждал меня, что даром мне не дадут места, что я должен буду заплатить, но ты ни слова не сказал мне о том, что эти пакостные продажа и купля производятся так громко, публично, беззастенчиво... при дамах! Ах, дядя, дядя! Последние слова Бабкова до того меня огорошили, что я чуть не умер от тошноты. Мне стало совестно, точно я сам брал взятку. Я покраснел, залепетал какую-то чепуху и под конвоем двадцати женских смеющихся глаз попятился к выходу. В передней догнала меня какая-то мрачная, испитая личность, которая шепнула мне, что и без Бабкова можно найти себе место.

— Дайте мне пять целковых, и я вас сведу к Сахару Медовичу. Они хотя и не служат, но находят места. И берут они за это немного: половину жалованья за первый год.

Мне бы нужно было плюнуть, надсмеяться, а я поблагодарил, сконфузился и, как ошпаренный, пустил-

ся вниз по лестнице. От Бабкова я пошел к Шмаковичу. Это мягкий, пухлый толстячок с красной, благодушной физиономией и с маленькими, маслеными глазками. Его глазки маслены до приторности, так что тебе кажется, что они вымазаны касторовым маслом. Узнав, что я твой племянник, он ужасно обрадовался и даже заржал от удовольствия. Бросил свое дело и принялся поить меня чаем. Душа человек! Все время глядел мне в лицо и искал сходства с тобой. Тебя вспоминал со слезами. Когда я напомнил ему о цели своего визита, он похлопал меня по плечу и сказал:

— Надоест еще о деле говорить... Дело не медведь, в лес не уйдет. Вы где обедаете? Ежели для вас безразлично, где ни обедать, так поедемте к Палкину! Там и потолкуем.

При сем письме прилагаю палкинский счет 76 рублей, которые, ты там увидишь, съел и выпил твой друг Шмакович, оказавшийся большим гастрономом. Заплатил по счету, конечно, я. От Палкина Шмакович потащил меня в театр. Билеты купил я. Что еще? После театра твой подлец предложил мне проехаться за город, но я отказался, так как у меня деньги почти на исходе. Прощаясь со мной, Шмакович велел тебе кланяться и передать, что место он может мне выхлопотать не раньше как через пять месяцев.

— Нарочно не дам вам места! — пошутил он, милостиво хлопая по моему животу.— И зачем вам, университетскому, так хочется служить в нашем обществе? Поступали бы, ей-богу, на казенную службу!

— Я и без вас знаю про казенное место. Но дайте мне его!

С третьим твоим письмом я отправился к твоему куму Халатову в правление Живодеро-Хамской железн. дор. Тут произошло нечто мерзопакостное, перещеголявшее и Бабкова и Шмаковича, обоих разом. Повторяю: ну тебя к черту! Тошно мне до безобразия, и виноват в этом ты... Твоего Халатова я не застал. Принял меня какой-то Одеколонов — тощая, сухожильная фигура с рябой, иезуитской физией. Узнав, что я ищу место, он усадил меня и прочел мне целую

лекцию о трудностях, с какими получаются теперь места. После лекции он пообещал мне доложить, похлопотать, замолвить и проч. Помня твою заповедь — совать деньги где только возможно — и видя, что рябая физия не прочь от взятки, я, прощаясь, сунул в кулак... Берущая рука пожала мне палец, физия осклабилась, и опять посыпались обещания, но... Одеколонов оглянулся и увидел сзади себя посторонних, которые не могли не заметить рукопожатия. Иезуит смутился и забормотал:

— Место я вам обещаю, но... благодарностей не беру... Ни-ни! Возьмите обратно! Ни-ни! Вы обижаете...

И он разжал кулак и отдал мне назад деньги, но не четвертную, которую я ему сунул, а трехрублевку. Каков фокус? У этих чертей в рукавах, должно быть, целая система пружин и ниток, иначе я не понимаю превращения моей бедной четвертной в жалкую трехрублевку.

Относительно чистеньким и порядочным показался мне объект четвертого рекомендательного письма — Грызодубов.

Это еще молодой человек, красивый, с благородной осанкой, щегольски одетый. Принял меня он хотя и лениво, с видимой неохотой, но любезно. Из разговоров с ним я узнал, что он кончил в университете и тоже в свое время бился из-за куска хлеба как рыба о лед. Отнесся он к моей просьбе очень сочувственно, тем более что образованные служащие — его любимая мечта... Был я у него уже три раза, и за все три раза он не сказал мне ничего определенного. Он как-то мямлит, мнется, избегает прямых ответов, точно стесняется или не решается... Я дал тебе слово не сентиментальничать. Ты меня уверял, что у всех шулеров обыкновенно благородные осанки и самый рыцарский апломб... Может быть, это и правда, но сумей-ка ты отделить шулеров от порядочных. Так влопаешься, что небу жарко станет... Сегодня у Грызодубова я был в четвертый раз... Он по-прежнему мямлил и не говорил ничего определенного... Меня взорвало... Черт меня дернул вспомнить, что я дал тебе честное

слово наделять всех без исключения деньгами, и меня словно кто под локоть толкнул... Как решаются окунуться в холодную воду или взлезть на высоту, так и я решился рискнуть и сунуть...

Эх, что будет то будет! — решил я.— Раз в жизни можно испробовать...

Я решил рискнуть не столько ради места, сколько ради новизны ощущения. Хоть раз в жизни, мол, увидеть, как действует на порядочных людей «благодарность»! Но «ощущение» мое пошло к черту. Исполнил я неумело, аляповато... Вытащил из кармана депозитку и, краснея, дрожа всем телом, улучил минутку, когда Грызодубов на меня не глядел, и положил ее на стол... К счастью, Грызодубов положил в это время на стол какие-то книги и прикрыл ими депозитку... Итак, не удалось... Грызодубов депозитки не видел... Она затеряется между бумагами или ее украдут сторожа... Если же он ее увидит, то наверное оскорбится... Так-то, mon oncle...[1] И деньги пропали и совестно... до боли совестно! А все ты со своими проклятыми практическими советами! Ты развратил меня... Прерываю письмо, ибо кто-то звонит... Иду отворить дверь...

Сейчас получил от Грызодубова письмо. Пишет, что есть в контроле товарных сборов вакансия на 60 р. в месяц. Депозитку мою он, стало быть, видел».

---

[1] дядюшка... *(франц.)*

БРАК ЧЕРЕЗ 10 — 15 ЛЕТ

На этом свете все совершенствуется: шведские спички, оперетки, локомотивы, вина Депре и человеческие отношения. Совершенствуется и брак. Каков он был и каков теперь, вы знаете. Каков он будет лет через десять — пятнадцать, когда вырастут наши дети, угадать нетрудно. Вот вам схема романов этого близкого будущего.

В гостиной сидит девица лет двадцати — двадцати пяти. Одета она по последней моде: сидит сразу на трех стульях, причем один стул занимает она сама, два другие ее турнюр. На груди брошка величиной с добрую сковороду. Прическа, как и подобает образованной девице, скромная: два-три пуда волос, зачесанных кверху, и на волосах маленькая лестница для причесывающей горничной. Тут же на пианино лежит шляпа девицы. На шляпе искусно сделанная индейка на яйцах в натуральную величину.

Звонок. Входит молодой человек в красном фраке, узких брюках и в громадных, похожих на лыжи, башмаках.

— Честь имею представиться,— говорит молодой человек, расшаркиваясь перед девицей,— помощник присяжного поверенного Балалайкин!..

— Очень приятно... Чем могу быть полезна?

— Меня направило к вам «Общество заключения счастливых браков».

— Очень приятно... Садитесь!

Балалайкин садится и говорит:

— «Общество» указало мне на несколько невест, но думаю, что ваши условия для меня будут самыми подходящими. Из этой вот записки, данной мне секретарем «Общества», видно, что вы приносите с собой мужу дом на Плющихе, сорок тысяч деньгами и тысяч на пять движимого имущества... Так ли это?

— Нет... За мною идет только двадцать тысяч,— кокетничает девица.

— В таком случае, сударыня, виноват... извините за беспокойство... честь имею кланяться...

— Нет, нет... я пошутила! — смеется девица.— В вашей записке все верно... Деньги, дом и движимое... В «Обществе» вам, конечно, говорили, что ремонт дома будет производиться на счет мужа... и... и...— я ужасно застенчива! — и деньги муж получает не все сразу, а с рассрочкой на три года...

— Нет, сударыня,— вздыхает Балалайкин,— нынче с рассрочкой никто не женится! Если уж вы так настаиваете на рассрочке, то, извольте, я дам вам год...

Девица и Балалайкин начинают торговаться. Девица в конце концов сдается и довольствуется годом рассрочки.

— Теперь позвольте узнать ваши условия! — говорит она.— Вам сколько лет? Где служите?

— Собственно говоря, я не сам женюсь, а хлопочу за своего клиента... Я комиссионер...

— Но ведь я просила «Общество» не присылать ко мне комиссионеров! — обижается девица.

— Вы, сударыня, не сердитесь... Клиент мой человек пожилой, страдающий ревматизмом, сырой... Ходить по невестам, хлопотать у него нет сил, так что volens nolens[1] ему приходится действовать через третье лицо. Но вы не беспокойтесь, я дорого не возьму...

— Условия вашего клиента?

---

[1] волей-неволей *(лат.)*.

— Мой клиент — мужчина пятидесяти двух лет... Несмотря на такой возраст, он еще имеет людей, которые дают ему взаймы. Так, у него два портных, шьющих на него в кредит. В лавочках отпускают ему по книжке сколько угодно. Никто лучше его не может уходить от извозчиков в проходные ворота и так далее. Не стану распространяться в похвалах его деловитости, скажу только для полной характеристики, что он ухитряется даже в аптеке забирать в кредит.

— Он только и живет займами?

— Займы — это его главное занятие. Но, как натура широкая, не узкая, он не довольствуется одною только этою деятельностью... Без преувеличения можно сказать, что лучше его никто не сбудет с рук фальшивого купона... Кроме того, он состоит опекуном своей племянницы, что дает ему около трех тысяч в год... Далее, в театрах он выдает себя за рецензента и таким образом получает от актеров бесплатные ужины и контрамарки... Два раза он судился за растрату и ныне еще под судом за подлог...

— Разве еще существует суд?

— Да, как остаток не совсем еще отжившей, средневековой морали... Но можно надеяться, сударыня, пройдет еще год-два, и культурный человек расстанется и с этим устаревшим обрядом... Так какой ответ прикажете передать моему клиенту?

— Скажите, что я подумаю...

— О чем же думать, сударыня? Не смею советовать вам, но, желая вам добра, не могу не выразить своего удивления... Человек порядочный, блестящий во всех отношениях и... и вдруг вы не соглашаетесь сразу, зная, как гибельна может быть для вас проволочка. Ведь пока вы будете думать, он войдет в соглашение с другой невестой!

— Это правда... В таком случае я согласна...

— Давно бы так! Позвольте получить с вас задаток?

Девица дает комиссионеру десять — двадцать рублей. Тот берет, расшаркивается и идет к двери.

— А расписку? — останавливает его девица.

— Mille pardon [1], сударыня! Я совсем забыл! Ха-ха...

Балалайкин пишет расписку, шаркает еще раз и уходит, девица же закрывает лицо и падает на диван.

— Как я счастлива! — восклицает она, охваченная новым, неведомым ей доселе чувством.— Как я счастлива! Я... люблю и любима!!

Конец. Такова свадьба близкого будущего. А давно ли, читатель, невесты ходили в кринолинах, а женихи щеголяли в полосатых брюках и во фраках с искрой? Давно ли жених, прежде чем влюбиться в невесту, должен был переговорить с ее папашей и мамашей?

Соловьи, розы, лунные ночи, душистые записочки, романсы... все это ушло далеко, далеко... Шептаться в темных аллейках, страдать, жаждать первого поцелуя и проч. теперь так же несвоевременно, как одеваться в латы и похищать сабинянок. Все совершенствуется!

---

[1] Тысяча извинений *(франц.)*.

СТАРОСТЬ

Архитектор, статский советник Узелков, приехал в свой родной город, куда он был вызван для реставрации кладбищенской церкви. В этом городе он родился, учился, вырос и женился, но, вылезши из вагона, он едва узнал его. Все изменилось... Восемнадцать лет тому назад, когда он переселился в Питер, на том, например, месте, где теперь стоит вокзал, мальчуганы ловили сусликов; теперь при въезде на главную улицу высится четырехэтажная «Вена с номерами», тогда же тут тянулся безобразный серый забор. Но ни заборы, ни дома — ничто так не изменилось, как люди. Из допроса номерного лакея Узелков узнал, что больше чем половина тех людей, которых он помнил, вымерло, обедняло, забыто.

— А Узелкова ты помнишь? — спросил он про себя у старика лакея.— Узелкова, архитектора, что с женой разводился... У него еще дом был на Свиребеевской улице... Наверное, помнишь!

— Не помню-с...

— Ну, как не помнить! Громкое было дело, даже извозчики все знали. Припомни-ка! Разводил его с женой стряпчий Шапкин, мошенник... известный шулер, тот самый, которого в клубе высекли...

— Иван Николаич?

— Ну, да, да... Что, он жив? Умер?

— Живы-с, слава богу-с. Они теперь нотариусом,

контору держат. Хорошо живут. Два дома на Кирпичной улице. Недавно дочь замуж выдали...

Узелков пошагал из угла в угол, подумал и решил, скуки ради, повидаться с Шапкиным. Когда он вышел из гостиницы и тихо поплелся на Кирпичную улицу, был полдень. Шапкина он застал в конторе и еле узнал его. Из когда-то стройного, ловкого стряпчего, с подвижной, нахальной, вечно пьяной физиономией, Шапкин превратился в скромного, седовласого, хилого старца.

— Вы меня не узнаете, забыли...— начал Узелков.— Я ваш давнишний клиент, Узелков...

— Узелков? Какой Узелков? Ах!

Шапкин вспомнил, узнал и обомлел. Посыпались восклицания, расспросы, воспоминания.

— Вот не ожидал! Вот не думал! — кудахтал Шапкин.— Угощать-то чем? Шампанского хотите? Может, устриц желаете? Голубушка моя, сколько я от вас деньжиц перебрал в свое время, что и угощения не подберу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— сказал Узелков.— Мне некогда. Сейчас нужно мне на кладбище ехать, церковь осматривать. Я заказ взял.

— И отлично! Закусим, выпьем и поедем вместе. У меня отличные лошади! И свезу вас и со старостой познакомлю... все устрою... Да что вы, ангел, словно сторонитесь меня, боитесь? Сядьте поближе! Теперь уж нечего бояться... Хе-хе... Прежде действительно ловкий парень был, жох мужчина... никто не подходи близко, а теперь тише воды, ниже травы; постарел, семейным стал... дети есть. Умирать пора!

Приятели закусили, выпили и на паре поехали за город, на кладбище.

— Да, было времечко! — вспоминал Шапкин, сидя в санях.— Вспоминаешь и просто не веришь. А помните, как вы с вашей супругой разводились? Уж почти двадцать лет прошло, и небось вы все забыли, а я помню, словно вчера разводил вас. Господи, сколько я крови тогда испортил! Парень я был ловкий, казуист, крючок, отчаянная голова... Так, бывало, и рвусь ухватиться за какое-нибудь казусное дело,

особливо ежели гонорарий хороший, как, например, в вашем процессе. Что вы мне тогда заплатили? Пятьшесть тысяч! Ну, как тут крови не испортить? Вы тогда уехали в Петербург и все дело мне на руки бросили: делай как знаешь! А покойница супруга ваша, Софья Михайловна, была хоть и из купеческого дома, но гордая, самолюбивая. Подкупить ее, чтоб она на себя вину приняла, было трудно... ужасно трудно! Прихожу к ней, бывало, для переговоров, а она завидит меня и кричит горничной: «Маша, ведь я приказала тебе не принимать подлецов!» Уж я и так, и этак... и письма ей пишу, и нечаянно норовлю встретиться — не берет! Пришлось через третье лицо действовать. Долго я возился с ней, и только тогда, когда вы десять тысяч согласились дать ей, поддалась... Десяти тысяч не выдержала, не устояла... Заплакала, в лицо мне плюнула, но согласилась, приняла вину!

— Кажется, она взяла с меня не десять, а пятнадцать тысяч,— сказал Узелков.

— Да, да... пятнадцать, ошибся! — смутился Шапкин.— Впрочем, дело прошлое, нечего греха таить. Ей я десять дал, а остальные пять я у вас на свою долю выторговал. Обоих вас обманул... Дело прошлое, стыдиться нечего... Да и с кого же мне было брать, Борис Петрович, ежели не с вас, судите сами... Человек вы были богатый, сытый... С жиру вы женились, с жиру разводились. Наживали вы пропасть... Помню, с одного подряда дерябнули двадцать тысяч. С кого же и тянуть, как не с вас? Да и, признаться, зависть мучила... Вы ежели хапнете, перед вами шапки ломают, меня же, бывало, за рубли и секут и в клубе по щекам бьют... Ну, да что вспоминать! Забыть пора.

— Скажите, пожалуйста, как потом жила Софья Михайловна?

— С десятью тысячами-то? Плохиссиме... Бог ее знает, азарт ли на нее такой напал, или совесть и гордость стали мучить, что себя за деньги продала, или, может быть, любила вас, только, знаете ли, запила... Получила деньги и давай на тройках с офицерами разъезжать. Пьянство, гульба, беспутство... Заедет с офицерами в трактир и не то чтобы портвейнцу

или чего-нибудь полегче, а норовит коньячищу хватить, чтоб жгло, в одурь бросало.

— Да, она эксцентричная была... Натерпелся я от нее. Бывало, обидится на что-нибудь и начнет нервничать... А потом что было?

— Проходит неделя, другая... Сижу я у себя дома и что-то строчу. Вдруг отворяется дверь, и входит она... пьяная. «Возьмите, говорит, назад проклятые ваши деньги!» — и бросила мне в лицо пачку. Не выдержала, значит! Я подобрал деньги, сосчитал... Пятисот не хватало. Только пятьсот и успела прокутить.

— Куда же вы девали деньги?

— Дело прошлое... таиться незачем... Конечно, себе! Что вы на меня так поглядели? Погодите, что еще дальше будет... Роман целый, психиатрия! Этак месяца через два прихожу я однажды ночью к себе домой пьяный, скверный... Зажигаю огонь, гляжу, а у меня на диване сидит Софья Михайловна, и тоже пьяная, в растрепанных чувствах, дикая какая-то, словно из бедлама бежала... «Давайте, говорит, мне назад мои деньги, я раздумала. Падать, так уж падать как следует, взасос! Поворачивайтесь же, подлец, давайте деньги!» Безобразие!

— И вы... дали?

— Дал, помню, десять рублей...

— Ах, ну можно ли? — поморщился Узелков.— Если вы сами не могли или не хотели дать ей, то написали бы мне, что ли... И я не знал! А? И я не знал!

— Голубчик мой, да зачем мне писать, если она сама вам писала, когда потом в больнице лежала?

— Впрочем, я так был занят тогда новым браком, так кружился, что мне не до писем было... Но вы, частный человек, вы антипатии к Софье не чувствовали... отчего не подали ей руки?

— На теперешний аршин нельзя мерить, Борис Петрович. Теперь мы так думаем, а тогда совсем иначе думали... Теперь я ей, может быть, и тысячу рублей дал бы, а тогда и те десять... не задаром отдал. Скверная история! Забыть надо... Но вот и приехали...

Сани остановились у кладбищенских ворот. Узелков и Шапкин вылезли из саней, вошли в ворота

и направились по длинной, широкой аллее. Оголенные вишневые деревья и акации, серые кресты и памятники серебрились инеем. В каждой снежинке отражался ясный солнечный день. Пахло, как вообще пахнет на всех кладбищах: ладаном и свежевскопанной землей...

— Хорошенькое у нас кладбище,— сказал Узелков.— Совсем сад!

— Да, но жалко, воры памятники воруют... А вон за тем чугунным памятником, что направо, Софья Михайловна похоронена. Хотите посмотреть?

Приятели повернули направо и по глубокому снегу направились к чугунному памятнику.

— Вот тут...— сказал Шапкин, указывая на маленький памятник из белого мрамора.— Прапорщик какой-то памятник на ее могилке поставил.

Узелков медленно снял шапку и показал солнцу свою плешь. Шапкин, глядя на него, тоже снял шапку, и другая плешь заблестела на солнце. Тишина кругом была могильная, точно и воздух был мертв. Приятели глядели на памятник, молчали и думали.

— Спит себе! — прервал молчание Шапкин.— И горя ей мало, что вину она на себя приняла и коньяк пила. Сознайтесь, Борис Петрович!

— В чем? — угрюмо спросил Узелков.

— А в том... Как ни противно прошлое, но оно лучше, чем это.

И Шапкин указал на свои седины.

— Бывало, и не думал о смертном часе... Встреться со смертью, так, кажется, десять очков вперед дал бы ей, а теперь... Ну, да что!

Узелковым овладела грусть. Ему вдруг захотелось плакать, страстно, как когда-то хотелось любви... И он чувствовал, что плач этот вышел бы у него вкусный, освежающий. На глазах выступила влага, и уже к горлу подкатил ком, но... рядом стоял Шапкин, и Узелков устыдился малодушествовать при свидетеле. Он круто повернул назад и пошел к церкви.

Только часа два спустя, переговорив со старостой и осмотрев церковь, он улучил минутку, когда Шап-

кин заговорился со священником, и побежал плакать... Подкрался он к памятнику тайком, воровски, ежеминутно оглядываясь. Маленький, белый памятник глядел на него задумчиво, грустно и так невинно, словно под ним лежала девочка, а не распутная, разведенная жена.

«Плакать, плакать!» — думал Узелков.

Но момент для плача был уже упущен. Как ни мигал глазами старик, как ни настраивал себя, а слезы не текли и ком не подступал к горлу... Постояв минут десять, Узелков махнул рукой и пошел искать Шапкина.

ГОРЕ

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справиться казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба, или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

— Ты, Матрена, не плачь...— бормочет он.— Потерпи малость. В больницу, бог даст, приедем, и мигом у тебя, это самое... Даст тебе Павел Иваныч капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово... оттянет от бока. Павел Иваныч постарается... Покричит, ногами потопочет, а уж постарается... Славный господин, обходительный, дай бог ему

здоровья... Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? — закричит.— Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, черт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:

— «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед богом... вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели господь... матерь божия... прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть... Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось раз пять в кабак заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иваныч прикажет тебя в больницу снесть. А я в ноги... «Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иваныч взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» — «Истинно, пороть, Павел Иваныч, побей меня бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово... вот как перед богом... плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из

карельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные... все для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница...» Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза запорошило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иваныч порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

— Ты же, Матрена, тово...— бормочет он.— Ежели Павел Иваныч спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот

везу... стараюсь. А метет-то, метет! Господи твоя воля! Привел бы только бог с дороги не сбиться... Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

— Ну, и дура! — бормочет токарь.— Я тебе по совести, как перед богом... а ты, тово... Ну, и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Иванычу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

— Померла, стало быть. Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете все быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

— А ведь она по миру ходила! — вспоминает он.— Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то небось думает, что я и взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же к лешему я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится все хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.

«Жить бы сызнова...» — думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы — хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

— Куда же я еду? — спохватывается вдруг токарь.— Хоронить надо, а я в больницу... Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцой. Токарь раз за разом хлещет ее по спине... Сзади слышится какой-то стук, и он хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух все темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче...

«Сызнова бы жить...— думает токарь.— Инструмент бы новый завесть, заказы брать... деньги бы старухе отдавать... да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют...

«Все равно...— думает он,— сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь... Покеда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места... И он безмятежно засыпает.

Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий, солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

— Панихидку бы, братцы, по старухе! — говорит он.— Батюшке бы сказать...

— Ну, ладно, ладно! Лежи уж! — обрывает его чей-то голос.

— Батюшка! Павел Иваныч! — удивляется токарь, видя перед собой доктора.— Вашескородие! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

— Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?

— Прощайся с руками и ногами... Отморозил! Ну, ну... чего же ты плачешь? Пожил, и слава богу! Небось шесть десятков прожил — будет с тебя!

— Горе!.. Вашескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть...

— Зачем?

— Лошадь-то чужая, отдать надо... Старуху хоронить... И как на этом свете все скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иваныч! Портсигарчик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу...

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю — аминь!

— Шабаш, не буду больше пить!.. Ни... ни за что! Пора уж за ум взяться. Надо работать, трудиться... Любишь жалованье получать, так работай честно, усердно, по совести, пренебрегая покоем и сном. Баловство брось... Привык, брат, задаром жалованье получать, а это вот и не хорошо... и не хорошо.

Прочитав себе несколько подобных нравоучений, обер-кондуктор Подтягин начинает чувствовать непреодолимое стремление к труду. Уже второй час ночи, но, несмотря на это, он будит кондукторов и вместе с ними идет по вагонам контролировать билеты.

— Вашш... билеты! — выкрикивает он, весело пощелкивая щипчиками.

Сонные фигуры, окутанные вагонным полумраком, вздрагивают, встряхивают головами и подают свои билеты.

— Вашш... билеты! — обращается Подтягин к пассажиру II класса, тощему, жилистому человеку, окутанному в шубу и одеяло и окруженному подушками.— Вашш... билеты!

Жилистый человек не отвечает. Он погружен в сон. Обер-кондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо повторяет:

— Вашш... билеты!

Пассажир вздрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на Подтягина.

— Что? Кто? а?

— Вам говорят по-человечески: вашш... билеты! Па-а-трудитесь!

— Боже мой! — стонет жилистый человек, делая плачущее лицо.— Господи, боже мой! Я страдаю ревматизмом... три ночи не спал, нарочно морфию принял, чтоб уснуть, а вы... с билетом! Ведь это безжалостно, бесчеловечно! Если бы вы знали, как трудно мне уснуть, то не стали бы беспокоить меня такой чепухой... Безжалостно, нелепо! И на что вам мой билет понадобился? Глупо даже!

Подтягин думает, обидеться ему или нет,— и решает обидеться.

— Вы здесь не кричите! Здесь не кабак! — говорит он.

— Да в кабаке люди человечней...— кашляет пассажир.— Изволь я теперь уснуть во второй раз! И удивительное дело: всю заграницу объездил, и никто у меня там билета не спрашивал, а тут, словно черт их под локоть толкает, то и дело, то и дело!..

— Ну и поезжайте за границу, ежели вам там нравится!

— Глупо, сударь! Да! Мало того, что морят пассажиров угаром, духотой и сквозняком, так хотят еще, черт ее подери, формалистикой добить. Билет ему понадобился! Скажите, какое усердие! Добро бы это для контроля делалось, а то ведь половина поезда без билетов едет!

— Послушайте, господин! — вспыхивает Подтягин.— И ежели вы не перестанете кричать и беспокоить публику, то я принужден буду высадить вас на станции и составить акт об этом факте!

— Это возмутительно! — негодует публика.— Пристает к больному человеку! Послушайте, да имейте же сожаление!

— Да ведь они сами ругаются! — трусит Подтягин.— Хорошо, я не возьму билета... Как угодно... Только ведь, сами знаете, служба моя этого требует... Ежели б не служба, то, конечно... Можете даже начальника станции спросить... Кого угодно спросите...

Подтягин пожимает плечами и отходит от больного. Сначала он чувствует себя обиженным и несколько третированным, потом же, пройдя вагона два-три, он начинает ощущать в своей обер-кондукторской груди некоторое беспокойство, похожее на угрызения совести.

«Действительно, не нужно было будить больного,— думает он.— Впрочем, я не виноват... Они там думают, что это я с жиру, от нечего делать, а того не знают, что этого служба требует... Ежели они не верят, так я могу к ним начальника станции привести».

Станция. Поезд стоит пять минут. Перед третьим звонком в описанный вагон II класса входит Подтягин. За ним шествует начальник станции в красной фуражке.

— Вот этот господин,— начинает Подтягин,— говорят, что я не имею полного права спрашивать с них билет, и... и обижаются. Прошу вас, господин начальник станции, объяснить им — по службе я требую билет или зря? Господин,— обращается Подтягин к жилистому человеку.— Господин! Можете вот начальника станции спросить, ежели мне не верите.

Больной вздрагивает, словно ужаленный, открывает глаза и, сделав плачущее лицо, откидывается на спинку дивана.

— Боже мой! Принял другой порошок и только что задремал, как он опять... опять! Умоляю вас, имейте вы сожаление!

— Вы можете поговорить вот с господином начальником станции... Имею я полное право билет спрашивать или нет?

— Это невыносимо! Нате вам ваш билет! Нате! Я куплю еще пять билетов, только дайте мне умереть спокойно! Неужели вы сами никогда не были больны? Бесчувственный народ!

— Это просто издевательство! — негодует какой-то господин в военной форме.— Иначе я не могу понять этого приставанья!

— Оставьте...— морщится начальник станции, дергая Подтягина за рукав.

Подтягин пожимает плечами и медленно уходит за начальником станции.

«Изволь тут угодить! — недоумевает он.— Я для него же позвал начальника станции, чтоб он понимал, успокоился, а он... ругается».

Другая станция. Поезд стоит десять минут. Перед вторым звонком, когда Подтягин стоит около буфета и пьет сельтерскую воду, к нему подходят два господина, один в форме инженера, другой в военном пальто.

— Послушайте, обер-кондуктор! — обращается инженер к Подтягину.— Ваше поведение по отношению к больному пассажиру возмутило всех очевидцев. Я инженер Пузицкий, это вот... господин полковник. Если вы не извинитесь перед пассажиром, то мы подадим жалобу начальнику движения, нашему общему знакомому.

— Господа, да ведь я... да ведь вы...— оторопел Подтягин.

— Объяснений нам не надо. Но предупреждаем, если не извинитесь, то мы берем пассажира под свою защиту.

— Хорошо, я... я, пожалуй, извинюсь... Извольте...

Через полчаса Подтягин, придумав извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажира и не умалила его достоинства, входит в вагон.

— Господин! — обращается он к больному.— Послушайте, господин!

Больной вздрагивает и вскакивает.

— Что?

— Я того... как его?.. Вы не обижайтесь...

— Ох... воды...— задыхается больной, хватаясь за сердце.— Третий порошок морфия принял, задремал, и... опять! Боже, когда же наконец кончится эта пытка?

— Я тово... Вы извините...

— Слушайте... Высадите меня на следующей

К рассказу «Унтер Пришибеев».

Художник В. Бескаравайный. 1959.

станции... Более терпеть я не в состоянии. Я... я умираю...

— Это подло, гадко! — возмущается публика.— Убирайтесь вон отсюда! Вы поплатитесь за подобное издевательство! Вон!

Подтягин машет рукой, вздыхает и выходит из вагона. Идет он в служебный вагон, садится, изнеможенный, за стол и жалуется:

— Ну, публика! Извольте вот ей угодить! Извольте вот служить, трудиться! Поневоле плюнешь на все и запьешь... Ничего не делаешь — сердятся, начнешь делать — тоже сердятся... Выпить!

Подтягин выпивает сразу полбутылки и больше уже не думает о труде, долге и честности.

ТРЯПКА

Сценка

Был вечер. Секретарь провинциальной газеты «Гусиный вестник», Пантелей Диомидыч Кокин, шел в дом фабриканта, коммерции советника Блудыхина, где в этот вечер имел быть любительский спектакль, а после оного танцы и ужин.

Секретарь был весел, счастлив и доволен. Будущее представлялось ему блестящим... Он воображал, как он, пахнущий духами, завитой и галантный, войдет в большую освещенную залу. На лицо он напустит меланхолию и равнодушие, в походку и в пожимание плечами вложит чувство собственного достоинства, говорить будет небрежно, нехотя, взгляду постарается придать выражение усталое, насмешливое, одним словом, будет держать себя, как представитель печати! Проходящие мимо него кавалеры и барышни будут переглядываться и шептаться:

— Это из редакции. Недурен!

Он в «Гусином вестнике» только секретарь. Его дело не путать адресы, принимать подписку и глазеть, чтоб типографские не крали редакционного сахара,— только, но кому из публики известен круг его деятельности? Раз он из редакции, стало быть он литератор, хранилище редакционных тайн. Боже, а как действуют на женщин редакционные тайны! Кокин, наверное, встретит на вечере Клавдию Васильевну. Он норовит пройти мимо нее раз пять и сделать

вид, что не замечает ее. Когда она выйдет из терпения и первая окликнет его, он небрежно поздоровается с ней, слегка зевнет, взглянет на часы и скажет:

— Какая скука! Хоть бы скорей кончалась эта чепуха... Уже двенадцать часов, а мне еще нужно номер выпустить и просмотреть кое-какие статейки...

Клавдия Васильевна поглядит на него с благоговением, снизу вверх, как глядят на монументы. Очень возможно, что она спросит, кто это в последнем номере поместил такое язвительное стихотворение про актрису Кишкину-Брандахлыцкую? Тогда он поднимет глаза к потолку, таинственно промычит и скажет: «М-да...» Пусть думает она, что это он написал! Засим танцы, ужин, выпивка... После выпивки блаженное настроение, провожание Клавдии Васильевны до ее дома, и мечты, мечты... Конечно, все это суетно, мелочно, несерьезно, но ведь молодость имеет свои права, господа!

У освещенного подъезда блудыхинского дома секретарь увидел два ряда экипажей. Двери отворял и затворял толстый швейцар с булавой. Верхнее платье принимали лакеи, одетые в синие фраки и красные жилетки. Антре[1] было великолепное, с цветами, коврами и зеркалами. Секретарь небрежно сбросил на руки лакея свою шубу, провел рукой по волосам, поднял с достоинством голову...

— Из редакции! — проговорил он, поравнявшись с двумя лакеями, которые стояли на нижней ступени антре и отрывали углы у билетов...

— Нельзя! нельзя! Не пускать! — послышался в это время сверху резкий, металлический голос.— Не пускать!

Кокин взглянул наверх. Там на верхней ступени стоял толстый человек во фраке и глядел прямо на него. Будучи уверен, что резкий голос не к нему относится, секретарь занес ногу на ступень, но в это время к ужасу своему заметил, что лакеи делают движение, чтобы загородить ему дорогу.

---

[1] Вход (от *франц.* entrée).

— Не пускать! — повторил толстяк.

— То есть... почему же меня не пускать? — обомлел Кокин.— Я из редакции!

— Потому-то и не пускать, что из редакции! — ответил толстяк, раскланиваясь с какой-то дамой.— Нельзя!

Секретарь ошалел, точно его оглоблей по голове съездили. Прежде всего он ужасно сконфузился. Как хотите, а густой запах Виолет-де-Парм[1], новые перчатки и завитая голова плохо вяжутся с унизительной ролью человека, которого не пускают и перед которым лакеи растопыривают руки, да еще при дамах, при прислуге! Кроме стыда, недоумения и удивления, секретарь почувствовал в себе пустоту, разочарование, словно кто взял и отрезал в нем ножницами мечты о предстоящих радостях. Так должны чувствовать себя люди, которые вместо ожидаемой «благодарности» получают подзатыльник.

— Я не понимаю... я из редакции! — забормотал Кокин.— Пустите!

— Не велено-с! — сказал лакей.— Отойдите-с от лестницы, вы проходить мешаете.

— Странно! — пробормотал секретарь, стараясь улыбнуться с достоинством...— Очень странно... Гм.

Мимо него с веселым смехом и шурша модными платьями, одна за другой проходили барышни и дамы... То и дело хлопала дверь, пролетал до передней сквозной ветер и на лестницу всходила новая партия гостей...

— Почему же это не велено меня пускать? — недоумевал секретарь, все еще не придя в себя от неожиданного реприманда и даже не веря своим глазам.— Тот толстый сказал, что потому-то и не пускать, что я из редакции... Но почему же? Черт их подери... Не дай бог, знакомые увидят, что я здесь мерзну, спросят, в чем дело... срам!

Кокин сделал еще раз попытку ступить на лестницу, но его еще раз осадили... Он пожал плечами, высморкался, подумал, опять подошел к лакеям...

---

[1] Пармской фиалки (от *франц.* Violette de Parme).

его опять осадили. Наверху заиграл оркестр. У секретаря затрепетало под сердцем, захватило дух от желания поскорее очутиться в большой зале, держать высоко голову, играть терпением Клавдии Васильевны. Музыка сразу воскресила и взбудоражила в нем мечты, которыми он услаждал себя, идя на вечер...

— Послушайте! — крикнул он толстяку, который то появлялся наверху, то исчезал.— Отчего меня не пускают?

— Что-с? Из редакции никого не пускать!

— Но... но почему же? Вы объясните по крайней мере!

— Господин Блудыхин не велел! Не мое дело-с! Мне не велено, я и не пускаю!.. Позвольте пройти даме! Ты же смотри, Андрей, из редакции никого! Не велел хозяин!

Кокин пожал плечами и, чувствуя, как глупо и некстати это пожатие, отошел от лестницы... Что делать? Конечно, самое лучшее, что мог сделать в данном случае Кокин, это — побежать скорее в редакцию и сообщить редактору, что дурак Блудыхин сделал такое-то распоряжение. Редактор бы удивился, засмеялся и сказал:

— Ну, не идиот ли? Нашел чем мстить за рецензии! Не понимает, осел, что если мы ходим на его вечера, то этим самым не он нам делает одолжение, а мы ему! Ах, да и дурак же, господи помилуй! Ну, погоди же, поднесу я тебе в завтрашнем номере гвоздику!

Так бы отнесся к событию редактор... Ну, а дальше что? Дальше секретарь, как порядочный человек, должен был бы остаться дома и пренебречь Блудыхиным. Этого потребовали бы и его гордость и достоинство редакции. Но, господа, все это хорошо в теории, на практике же, когда куплены новые перчатки, заплачено цирюльнику за завивку, когда там, наверху, ждали Клавдия Васильевна, закуска и выпивка, совсем не хорошо...

«Ждал этого вечера два месяца, мечтал, готовился! — думал Кокин.— Целых два месяца ходил по

городу, нового сюртука искал... дал слово Клавдии, и вдруг... Нет, это невозможно! Тут недоразумение какое-нибудь... Ей-богу, недоразумение! И в редакцию незачем ходить, стоит только с распорядителем поговорить...»

— Послушайте! — обратился Кокин к толстяку.— Вы позвольте мне хоть наверх пойти... В залу я не войду, а поговорю только с распорядителем или с господином Блудыхиным!

— Идите, только знайте, что в залу вас ни за что не пустят!

«Боже мой! — думал Кокин, идя вверх по лестнице.— Эти две дамы, что идут, слышали его слова... Срам! Стыд! Уйти бы мне, ей-богу...»

Наверху, около входа в залу, стоял рыженький распорядитель с бантом на лацкане. Тут же за столиком сидела какая-то разодетая дама и продавала афишки.

— Скажите, пожалуйста,— обратился к ним секретарь плачущим голосом,— отчего это распорядились не пускать никого из редакции? За что?

— Сами вы, господа, виноваты! — отвечал рыженький.— Вам почетные билеты посылают, вас в первый ряд всегда сажают, а вы пасквили пишете...

— Господи, да ведь... Послушайте...

В это время за дверью послышались громкие аплодисменты и симпатичный голос княжны Рожкиной, певшей «Я вновь пред тобою...». У секретаря затрепетало под сердцем. Муки Тантала были ему не по силам.

— Какие же пасквили? — обратился он к даме.— Положим, сударыня, в газете и были пасквили, но чем же я виноват? Виноват редактор, сотрудники, а я-то тут при чем? Я только секретарь... на манер бухгалтера. Я совсем не писатель... Ей-богу, я не писатель! Послушайте, я даже честное слово даю, что я не писатель!

— Мы ничего не можем для вас сделать,— вздохнула дама.— Это приказание самого Блудыхина... Впрочем... вы можете купить билет!

«Черт возьми, как же мне это раньше не пришло в голову?» — подумал Кокин и тотчас же вспомнил, что у него в кармане только сорок копеек, взятые им на случай, ежели Клавдия Васильевна захочет, чтоб ее провожали на извозчике.— В таком случае я поговорю с Блудыхиным! — сказал он.

— Подождите антракта...

Кокин стал ждать... За дверью трещали аплодисменты, пели знакомые женские голоса, смеялись... Там кипела жизнь! А бедный секретарь стоял перед дверью в позе кающегося грешника, à la Генрих в Каноссе, и глядел на дверь, как лошадь, которая чует близкое присутствие овса, но не видит его... Долго он ждал антракта, но наконец за дверью задвигались стулья, зашумели, заговорили; распахнулась дверь, и в коридор повалила публика.

«А ведь счастье было так близко, так возможно!» — подумал секретарь, заглянув в открывшуюся дверь.— Нет, я не могу даже допустить мысли, что меня не пустят...»

Скоро показался сам Блудыхин, розовый, сияющий... Кокин заходил около него, долго не решался заговорить с ним и, наконец, решился...

— Виноват-с... я побеспокою вас... Вы, Анисим Иваныч, приказали никого не впускать из редакции...

— Да, так что же?

— Я и пришел вот... Но я не понимаю! Вы согласитесь сами! Чем я виноват? Редакторы или сотрудники виноваты, их и не пускайте, но я... честное слово, не писатель!..

— Ааа... вы, стало быть, из редакции? — спросил Блудыхин, растопыривая ноги в виде буквы А и закидывая назад голову.— Вы, конечно, в претензии? Но послушайте! Пусть будет свидетельницей публика! Господа публика, будьте судьями! Вот господин корреспондент на меня в прретензии за то, так сказать, что я... эээ... некоторым образом выказал прротест... Взгляд мой на печать, надеюсь, известен. Я всегда за печать! Но, господа (Блудыхин состроил умоляющее лицо)... господа, надо же иметь границы! Ругайте

вы актеров, пьесу, обстановку, но зачем писать несообразности? Зачем? В последнем номере вашей газеты была великолепная статья... ве-ли-ко-лепная! Но, описывая живую картину «Юдифь и Олоферн», в которой участвовала моя дочь, он... Бог знает что! Меч, говориг, который держала в руках Юдифь, так, говорит, длинен, что им можно зарезать только издали или же взлезши на крышу... При чем тут крыша? Моя дочь прочла и... заплакала! Это, господа, не критика! Не-ет-с, это не критика! Это личности! Придрался человек к мечу, просто чтоб насолить мне...

—Я... я с вами согласен! — залепетал Кокин, чувствуя на себе сотни глаз.— Я сам всегда против ругательств... Но, ей-богу, ну при чем тут я? Я, честное слово, не писатель! Я секретарь... Я вам даже больше скажу, но... между нами, конечно... Статью эту писал сам редактор... («К чему я, скотина, это говорю?» —подумал Кокин.) Но он хороший... честный человек. Если и написал что-нибудь этакое, то нечаянно... по легкомыслию...

Овечий тон секретаря умилил Блудыхина. Коммерции советник взял за пуговицу Кокина и принялся снова выкладывать перед ним свой взгляд на печать. В груди секретаря закопошилась сразу тысяча чувств. Ему было лестно, что с ним откровенничает такая важная птица, как Блудыхин; он чувствовал, что его сейчас, наверное, впустят в залу, что недоразумение уже кончено, что он опять может мечтать... но в то же время ему было страшно совестно, гнусно, мерзко... Он чувствовал, что благодаря своей тряпичности предал себя, редактора, «Гусиный вестник», предал публично, при знакомых, как самый последний Иуда! Ему бы нужно было наплевать, выругаться, посмеяться, а он просил, унижался, чуть ли не плакал... Ах!

Блудыхин говорил, говорил. Порисовавшись и поломавшись вдоволь, он уже взял секретаря под руку, и уже секретарь был у входа в Эдем, как послышался крик:

— Анисим Иванович! Генерал приехал!

Блудыхин встрепенулся и, оставив Кокина, опрометью полетел вниз по лестнице. Секретарь постоял немного, походил, поправил галстук. Он уж ничего не ждал, не желал. Когда началось второе действие и он подошел к двери, распорядитель не пустил его.

— Блудыхин нам ничего не сказал. Нельзя!

Через десять минут секретарь скреб своими большими калошами мерзлую землю. Он шел домой, но лучше, если бы он шел в прорубь! Ему было стыдно, противно. Противны были ему и его запах духов, и новые перчатки, и завитая голова. Так бы он и ударил себя по этой голове!

СВЯТАЯ ПРОСТОТА

Рассказ

К отцу Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-Троицкой церкви в городе П., нежданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр, известный московский адвокат. Вдовый и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которого он не видал лет двенадцать — пятнадцать, с тех самых пор, как проводил его в университет, побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радостям и восторгам конца не было.

Вечером в день приезда отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил и умилялся.

— А у тебя здесь хорошо, мило! — восторгался он, ерзая на стуле.— Уютно, тепло и пахнет чем-то этаким патриархальным. Ей-богу, хорошо!

Отец Савва, заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на «ученый» лад.

— Такие-то, брат, факты...— говорил он.— Вышло именно так, как я желал в сердце своем: и ты и я — оба по образованной части пошли. Ты вот в университете, а я в Киевской академии кончил, да... По одной стезе, стало быть... Понимаем друг друга... Только вот не знаю, как нынче в академиях. В мое время сильно на классицизм налегали и даже древнееврейский язык учили. А теперь?

— Не знаю. А у тебя, батя, бедовая стерлядь. Уже сыт, но еще съем.

— Ешь, ешь. Тебе нужно больше есть, потому что у тебя труд умственный, а не физический... гм... не физический... Ты университант, головой работаешь. Долго гостить будешь?

— Я не гостить приехал. Я, батя, к тебе случайно, на манер deus ex machina[1]. Приехал сюда на гастроли, вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет.

— Тэк-с... Стало быть, ты по судебной части? Юриспрудент?

— Да, я присяжный поверенный.

— Так... Помогай бог. Чин у тебя какой?

— Ей-богу, не знаю, батя.

«Спросить бы о жалованье,— подумал отец Савва,— но по-ихнему это вопрос нескромный... Судя по одежде и в рассуждении золотых часов, должно полагать, больше тысячи получает».

Старик и адвокат помолчали.

— Не знал я, что у тебя стерляди такие, а то бы я к тебе в прошлом году приехал,— сказал сын.— В прошлом году я тут недалеко был, в вашем губернском городе. Смешные у вас тут города!

— Именно, смешные... хоть плюнь! — согласился отец Савва.— Что поделаешь! Далеко от умственных центров... предрассудки. Не проникла еще цивилизация...

— Не в том дело... Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Захожу я в вашем губернском городе в театр, иду в кассу за билетом, а мне и говорят: спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано! А я и спрашиваю: как велик ваш полный сбор? Говорят, триста рублей! Скажите, говорю, чтоб играли, я плачу триста... Заплатил от скуки триста рублей, а как стал глядеть их раздирательную драму, то еще скучнее стало... Ха-ха...

---

[1] бог из машины *(лат.)* — употребляется в смысле: неожиданное появление.

Отец Савва недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак...

«Вот врет-то!» — подумал он.— Где же ты, Шуренька, взял эти триста рублей? — спросил он робко.

— Как где взял? Из своего кармана, конечно...

— Гм... Сколько же ты, извини за нескромный вопрос, жалованья получаешь?

— Как когда... В иной год тысяч тридцать заработаю, а в иной и двадцати не наберется... Годы разные бывают.

«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот врет! — подумал отец Савва, хохоча и любовно глядя на посоловевшее лицо сына.— Брехлива молодость! Хо-хо-хо... Хватил — тридцать тысяч!» — Невероятно, Сашенька! — сказал он.— Извини, но... хо-хо-хо... тридцать тысяч! За эти деньги два дома построить можно...

— Не веришь?

— Не то что не верю, а так... как бы этак выразиться, ты уж больно тово... Хо-хо-хо... Ну, ежели ты так много получаешь, то куда же ты деньги деваешь?

— Проживаю, батя... В столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно тысячу прожить, а там пять. Лошадей держу, в карты играю... покучиваю иногда.

— Это так... А ты бы копил!

— Нельзя... Не такие у меня нервы, чтоб копить (адвокат вздохнул)... Ничего с собой не поделаю... В прошлом году купил я себе на Полянке дом за шестьдесят тысяч. Все-таки подмога к старости! И что ж ты думаешь? Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришлось заложить. Заложил, и все денежки — фюйть! Овое[1] в карты проиграл, о́вое пропил.

— Хо-хо-хо! Вот врет-то! — взвизгнул старик.— Занятно врет!

— Не вру я, батя.

— Да нешто можно дом проиграть или прокутить?

— Можно не то что дом, но и земной шар пропить. Завтра я с вашего головы пять тысяч сдеру, но

---

[1] То, это *(церковнослав.)*.

чувствую, что не довезти мне их до Москвы. Такая у меня планида.

— Не планида, а планета,— поправил отец Савва, кашлянув и с достоинством поглядев на старуху кухарку.— Извини, Шуренька, но я сомневаюсь в твоих словах. За что же ты получаешь такие суммы?

— За талант...

— Гм... Может, тысячи три и получаешь, а чтоб тридцать тысяч или, скажем, дома покупать, извини... сомневаюсь. Но оставим эти пререкания. Теперь скажи мне, как у вас в Москве? Чай, весело? Знакомых у тебя много?

— Очень много. Вся Москва меня знает.

— Хо-хо-хо! Вот врет-то! Хо-хо! Чудеса и чудеса, брат, ты рассказываешь.

Долго еще в таком роде беседовали отец и сын. Адвокат рассказал еще про свою женитьбу с сорокатысячным приданым, описал свои поездки в Нижний, свой развод, который стоил ему десять тысяч. Старик слушал, всплескивал руками, хохотал.

— Вот врет-то! Хо-хо-хо! Не знал я, Шуренька, что ты такой мастер балясы точить! Хо-хо-хо! Это я тебе не в осуждение. Мне занятно тебя слушать. Говори, говори.

— Но, однако, я заболтался,— кончил адвокат, вставая из-за стола.— Завтра разбирательство, а я еще дела не читал. Прощай.

Проводив сына в свою спальню, отец Савва предался восторгам.

— Каков, а? Видала? — зашептал он кухарке.— То-то вот и есть... Университант, гуманный, эмансипе, а не устыдился старика посетить. Забыл отца и вдруг вспомнил. Взял да и вспомнил. Дай, подумал, своего старого хрена вспомню! Хо-хо-хо. Хороший сын! Добрый сын! И ты заметила? Он со мной, как с ровней... своего брата ученого во мне видит. Понимает, стало быть. Жалко, дьякона мы не позвали, поглядел бы.

Изливши свою душу перед старухой, отец Савва на цыпочках подошел к своей спальной и заглянул

в замочную скважину. Адвокат лежал на постели и, дымя сигарой, читал объемистую тетрадь. Возле него на столике стояла винная бутылка, которой раньше отец Савва не видел.

— Я на минуточку... поглядеть, удобно ли,— забормотал старик, входя к сыну.— Удобно? Мягко? Да ты бы разделся.

Адвокат промычал и нахмурился. Отец Савва сел у его ног и задумался.

— Так-с...— начал он после некоторого молчания.— Я все про твои разговоры думаю. С одной стороны, благодарю за то, что повеселил старика, с другой же стороны, как отец и... и образованный человек, не могу умолчать и воздержаться от замечания. Ты, я знаю, шутил за ужином, но ведь, знаешь, как вера, так и наука осудили ложь даже в шутку. Кгм... Кашель у меня. Кгм... Извини, но я как отец. Это у тебя откуда же вино?

— Это я с собой привез. Хочешь? Вино хорошее, восемь рублей бутылка.

— Во-семь? Вот врет-то! — всплеснул руками отец Савва.— Хо-хо-хо! Да за что тут восемь рублей платить? Хо-хо-хо! Я тебе самого наилучшего вина за рубль куплю. Хо-хо-хо!

— Ну, маршируй, старче, ты мне мешаешь... Айда!

Старик, хихикая и всплескивая руками, вышел и тихо затворил за собою дверь. В полночь, прочитав «правила» и заказав старухе завтрашний обед, отец Савва еще раз заглянул в комнату сына.

Сын продолжал читать, пить и дымить.

— Спать пора... раздевайся и туши свечку...— сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гари.— Уже двенадцать часов... Ты это вторую бутылку? Ого!

— Без вина нельзя, батя... Не возбудишь себя, дела не сделаешь.

Савва сел на кровать, помолчал и начал:

— Такая, брат, история... Мда... Не знаю, буду ли жив, увижу ли тебя еще раз, а потому лучше, ежели сегодня преподам тебе завет мой... Видишь ли... За все время сорокалетнего служения моего скопил

я тебе полторы тысячи денег. Когда умру, возьми их, но...

Отец Савва торжественно высморкался и продолжал:

— Но не транжирь их и храни... И, прошу тебя, после моей смерти пошли племяннице Вареньке сто рублей. Если не пожалеешь, то и Зинаиде рублей двадцать пошли. Они сироты.

— Ты им пошли все полторы тысячи... Они мне не нужны, батя...

— Врешь?

— Серьезно... Все равно растранжирю.

— Гм... Ведь я их копил! — обиделся Савва.— Каждую копеечку для тебя складывал...

— Изволь, под стекло я положу твои деньги как знак родительской любви, но так они мне не нужны... Полторы тысячи — фи!

— Ну, как знаешь... Знал бы я, не хранил, не лелеял... Спи!

Отец Савва перекрестил адвоката и вышел. Он был слегка обижен... Небрежное, безразличное отношение сына к его сорокалетним сбережениям его сконфузило. Но чувство обиды и конфуза скоро прошло... Старика опять потянуло к сыну поболтать, поговорить «по-ученому», вспомнить былое, но уже не хватило смелости обеспокоить занятого адвоката. Он ходил, ходил по темным комнатам, думал, думал и пошел в переднюю поглядеть на шубу сына. Не помня себя от родительского восторга, он охватил обеими руками шубу и принялся обнимать ее, целовать, крестить, словно это была не шуба, а сам сын, «университант»... Спать он не мог.

ШИЛО В МЕШКЕ

На обывательской тройке, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спешил Петр Павлович Посудин в уездный городишко N., куда вызывало его полученное им анонимное письмо.

«Накрыть... Как снег на голову...— мечтал он, пряча лицо свое в воротник.— Натворили мерзостей, пакостники, и торжествуют, небось воображают, что концы в воду спрятали... Ха-ха... Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» То-то переполох будет! Ха-ха...»

Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек, алчущий популярности, он прежде всего спросил о себе самом:

— А Посудина ты знаешь?

— Как не знать! — ухмыльнулся возница.— Знаем мы его!

— Что же ты смеешься?

— Чудное дело! Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб Посудина не знать! На то он здесь и поставлен, чтоб его все знали.

— Это так... Ну, что? Как он, по-твоему? Хорош?

— Ничего...— зевнул возница.— Господин хороший, знает свое дело... Двух годов еще нет, как его сюда прислали, а уж наделал делов.

— Что же он такое особенное сделал?

— Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Хохрюкова в нашем уезде увольнил... Конца-краю не было этому Хохрюкову... Шельма был, выжига, все прежние его руку держали, а приехал Посудин — и загудел Хохрюков к черту, словно его и не было... Во, брат! Посудина, брат, не подкупишь, не-ет! Дай ты ему хоть сто, хоть тыщу, а он не станет тебе приймать грех на душу... Не-ет!

«Слава богу, хоть с этой стороны меня поняли,— подумал Посудин ликуя.— Это хорошо».

— Образованный господин...— продолжал возница,— не гордый... Наши ездили к нему жалиться, так он словно с господами: всех за ручку, «вы, садитесь...» Горячий такой, быстрый... Слова тебе путем не скажет, а все — фырк! фырк! Чтоб он тебе шагом ходил или как — ни боже мой, а норовит все бегом, все бегом! Наши ему и слова сказать не успели, как он: «Лошадей!!» — да прямо сюда... Приехал и все обделал... ни копейки не взял. Куда лучше прежнего! Конечно, и прежний хорош был. Видный такой, важный, звончее его во всей губернии никто не кричал... Бывало, едет, так за десять верст слыхать; но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее! У нынешнего в голове этой самой мозги во сто раз больше... Одно только горе... Всем хорош человек, но одна беда: пьяница!

«Вот так клюква!» — подумал Посудин.

— Откуда же ты знаешь,— спросил он,— что я... что он пьяница?

— Оно, конечно, ваше благородие, сам я не видал его пьяного, не стану врать, но люди сказывали. И люди-то его пьяным не видали, а слава такая про него ходит... При публике или куда в гости пойдет, на бал это или в обчество,— никогда не пьет. Дома хлещет... Встанет утром, протрет глаза и первым делом — водки! Камердин принесет ему стакан, а он уж другого просит... Так цельный день и глушит. И скажи ты на милость: пьет, и ни в одном глазе! Стало быть, соблюдать себя может. Бывало, как наш Хохрюков запьет, так не то что люди, даже собаки воют. Посудин же — хоть бы тебе нос у него покраснел! Запрется у себя

в кабинете и лакает... Чтоб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил, с трубочкой. Всегда в этом ящике водка... Нагнешься к трубочке, пососешь, и пьян... В карете тоже, в портфеле...

«Откуда они знают? — ужаснулся Посудин.— Боже мой, даже это известно! Какая мерзость...»

— А вот тоже насчет женского пола... Шельма! (Возница засмеялся и покрутил головой.) Безобразие, да и только! Штук десять у него этих самых... вертефлюх... Две у него в доме живут... Одна у него, эта Настасья Ивановна, как бы заместо распорядительши, другая — как ее, черт? Людмила Семеновна, на манер писарши... Главнее всех Настасья. Эта что захочет, он все делает... Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее... Ха-ха... А третья вертуха на Качальной улице живет... Срамота!

«Даже по именам знает,— подумал Посудин краснея.— И кто же знает? Мужик, ямщик... который и в городе-то никогда не бывал!.. Какая мерзость... гадость... пошлость!»

— Откуда же ты все это знаешь? — спросил он раздраженным голосом.

— Люди сказывали... Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать нешто трудно? Камердину или кучеру языка не отрежешь... Да, чай, и сама Настасья ходит по всем переулкам да счастьем своим бабьим похваляется. От людского глаза не скроешься... Вот тоже взял манеру этот Посудин потихоньку на следствия ездить... Прежний, бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать, а когда едет, так шуму этого, грому, звону и... не приведи создатель! И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту, выспится, наестся, напьется и давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку, потопочет ногами, опять выспится и тем же порядком назад... А нынешний, как прослышит что, норовит съездить потихоньку, быстро, чтоб никто не видал и не знал... Па-а-теха! Выйдет неприметно из дому, чтоб чиновники не видали, и на машину... Доедет до какой ему нужно станции и не то что почтовых или что

поблагородней, а норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голоса его не узнали. Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают. Едет, дурень, и думает, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человеку — тьфу! раз плюнуть...

— Как же его узнают?

— Оченно просто. Прежде, как наш Хохрюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Ежели седок бьет по зубам, то это, значит, и есть Хохрюков. А Посудина сразу увидать можно... Простой пассажир просто себя и держит, а Посудин не таковский, чтоб простоту соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию, и начнет!.. Ему и воняет, и душно, и холодно... Ему и цыплят подавай, и фруктов, и вареньев всяких... Так на станциях и знают: ежели кто зимой спрашивает цыплят и фруктов, то это и есть Посудин. Ежели кто говорит смотрителю «милейший мой» и гоняет народ за разными пустяками, то и божиться можно, что это Посудин. И пахнет от него не так, как от людей, и ложится спать на свой манер... Ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами и велит около подушки три свечки поставить. Лежит и бумаги читает... Уж тут не то что смотритель, но и кошка разберет, что это за человек такой...

«Правда, правда...— подумал Посудин.— И как я этого раньше не знал!»

— А кому есть надобность, то и без фруктов и без цыплят узнает. По телеграфу все известно... Как там ни кутай рыла, как ни прячься, а уж тут знают, что едешь. Ждут... Посудин еще у себя из дому не выходил, а тут уж — сделай одолжение, все готово! Приедет он, чтоб их на месте накрыть, под суд отдать или сменить кого, а они над ним же и посмеются. Хоть ты, скажут, ваше сиятельство, и потихоньку приехал, а гляди: у нас все чисто!.. Он повертится, повертится да с тем и уедет, с чем приехал... Да еще похвалит, руки пожмет им всем, извинения за беспокойство попросит... Вот как! А ты думал как? Хо-хо, ваше благородие! Народ тут ловкий, ловкач на ловкаче!.. Глядеть любо, что за черти! Да вот хоть нынешний случай взять... Еду

я сегодня утром порожнем, а навстречу со станции летит жид-буфетчик. «Куда, спрашиваю, ваше жидовское благородие, едешь?» А он и говорит: «В город N. вино и закуску везу. Там нынче Посудина ждут». Ловко? Посудин, может, еще только собирается ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уж едет и думает, что знать никто не знает, что он едет, а уж для него, скажи пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная... А? Едет он и думает: «Крышка вам, ребята!» — а ребятам и горя мало! Пущай едет! У них давно уж все спрятано!

— Назад! — прохрипел Посудин.— Поезжай назад, ссскотина!

И удивленный возница повернул назад.

ЦИНИК

Полдень. Управляющий «зверинца братьев Пихнау», отставной портупей-юнкер Егор Сюсин, здоровеннейший парень с обрюзглым, испитым лицом, в грязной сорочке и в засаленном фраке, уже пьян. Перед публикой вертится он, как черт перед заутреней: бегает, изгибается, хихикает, играет глазами и словно кокетничает своими угловатыми манерами и расстегнутыми пуговками. Когда его большая, стриженая голова бывает наполнена винными парами, публика любит его. В это время он «объясняет» зверей не просто, а по-новому, ему одному только принадлежащему способу.

— Как объяснять? — спрашивает он публику, подмигивая глазом.— Просто или с психологией и тенденцией?

— С психологией и тенденцией!

— Bene![1] Начинаю! Африканский лев! — говорит он, покачиваясь и насмешливо глядя на льва, сидящего в углу клетки и кротко мигающего глазами.— Синоним могущества, соединенного с грацией, краса и гордость фауны! Когда-то, в дни молодости, пленял своею мощью и ревом наводил ужас на окрестности, а теперь... Хо-хо-хо... а теперь, болван этакий, сидит в клетке... Что, братец лев? Сидишь? Философствуешь? А небось как по лесам рыскал, так куда тебе! думал,

[1] Хорошо! *(лат.)*

что сильнее и зверя нет, что и черт тебе не брат,— ан и вышло, что дура судьба сильнее... хоть и дура она, а сильнее... Хо-хо-хо! Ишь ведь, куда черти занесли из Африки! Чай, и не снилось, что сюда попадешь! Меня тоже, братец ты мой, ух как черти носили! Был я и в гимназии, и в канцелярии, и в землемерах, и на телеграфе, и на военной и на макаронной фабрике... и черт меня знает где я только не был! В конце концов в зверинец попал... в вонь... Хо-хо-хо!

И публика, зараженная искренним смехом пьяного Сюсина, сама гогочет.

— Чай, хочется на свободу! — мигает глазом на льва малый, пахнущий краской и покрытый разноцветными жирными пятнами.

— Куда ему! Выпусти его, так он опять в клетку придет. Примирился. Хо-хо-хо... Помирать, лев, пора, вот что! Что уж тут, брат, тово... канителить? Взял бы да издох! Ждать ведь нечего! Что глядишь? Верно говорю!

Сюсин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьется о решетку дикая кошка.

— Дикая кошка! Прародитель наших васек и марусек! Еще и трех месяцев нет, как поймана и посажена в клетку. Шипит, мечется, сверкает глазами, не позволяет подойти близко. День и ночь царапает решетку: выхода ищет! Миллион, полжизни, детей отдала бы теперь, чтобы только домой попасть. Хо-хо-хо... Ну, что мечешься, дура? Что снуешь? Ведь не выйдешь отсюда! Издохнешь, не выйдешь! Да еще привыкнешь, примиришься! Мало того что привыкнешь, но еще нам, мучителям твоим, руки лизать будешь! Хо-хо-хо... Тут, брат, тот же дантовский ад: оставьте всякую надежду!

Цинизм Сюсина начинает мало-помалу раздражать публику.

— Не понимаю, что тут смешного! — замечает чей-то бас.

— Скалит зубы и сам не знает, с какой радости...— говорит красильщик.

— Это обезьяна! — продолжает Сюсин, подходя к следующей клетке.— Дрянь животное! Знаю, что вот ненавидит нас, рада бы, кажется, в клочки изорвать, а

улыбается, лижет руку! Холуйская натура! Хо-хо-хо... За кусочек сахару своему мучителю и в ножки поклонится и шута разыграет. Не люблю таких!.. А вот это, рекомендую, газель! — говорит Сюсин, подводя публику к клетке, где сидит маленькая, тощая газель с большими заплаканными глазами.— Эта уже готова! Не успела попасть в клетку, как уже готова развязка: в последнем градусе чахотки! Хо-хо-хо... Поглядите: глаза совсем человечьи — плачут! Оно и понятно. Молодая, красивая... жить хочется! Ей бы теперь на воле скакать да с красавцами нюхаться, а она тут на грязной соломе, где воняет псиной да конюшней. Странно: умирает, а в глазах все-таки надежда! Что значит молодость! а? Потеха с вами, с молодыми! Это ты напрасно надеешься, матушка! Так со своей надеждой и протянешь ножки. Хо-хо-хо...

— Ты, брат, тово... не донимай ее словами...— говорит красильщик хмурясь.— Жутко!

Публика уже не смеется. Хохочет и фыркает один только Сюсин. Чем угрюмее становится публика, тем громче и резче его смех. И все почему-то начинают замечать, что он безобразен, грязен, циничен, во всех глазах появляется ненависть, злоба.

— А вот это сам журавль! — не унимается Сюсин, подходя к журавлю, стоящему около одной из клеток.— Родился в России, бывал перелетом на Ниле, где с крокодилами и тиграми разговаривал. Прошлое самое блестящее... Глядите: задумался, сосредоточен! Так занят мыслями, что ничего не замечает... Мечты, мечты! Хо-хо-хо... «Вот, думает, продолблю всем головы, вылечу в окошко и — айда в синеву, в лазурь небесную! А в синеве-то теперь вереницы журавлей в теплые края летят и крл... крл... крл...» О, глядите: перья дыбом стали! Это, значит, в самый разгар мечтаний вспомнил, что у него крылья подрезаны, и... ужас охватил его, отчаяние. Хо-хо-хо... Натура непримиримая. Вечно этак перья будут дыбом торчать, до самой дохлой смерти. Непримиримый, гордый! А нам, тре-журавле́, плевать на то, что ты непримиримый! Ты гордый, непримиримый, а я вот захочу и поведу тебя при публике за нос. Хо-хо-хо...

Сюсин берет журавля за клюв и ведет его.

— Не издеваться! — слышатся голоса.— Оставить! Черт знает что! Где хозяин? Как это позволяют пьяному... мучить животных!

— Хо-хо-хо... Да чем же я их мучу?..

— Тем... вот этим, разными этими... шутками... Не надо!

— Да ведь вы сами просили, чтоб я с психологией!.. Хо-хо-хо...

Публика вспоминает, что только за «психологией» и пришла она в зверинец, что она с нетерпением ждала, когда выйдет из своей каморки пьяный Сюсин и начнет объяснения, и чтобы хоть чем-нибудь мотивировать свою злобу, она начинает придираться к плохой кормежке, тесноте клеток и проч.

— Мы их кормим,— говорит Сюсин, насмешливо щуря глаза на публику.— Даже сейчас будет кормление... помилуйте!

Пожав плечами, он лезет под прилавок и достает из нагретых одеял маленького удава.

— Мы их кормим... Нельзя! Те же актеры: не корми — околеют! Господин кролик, вене иси![1] Пожалуйте!

На сцену появляется белый, красноглазый кролик.

— Мое почтение-с! — говорит Сюсин, жестикулируя перед его мордочкой пальцами.— Честь имею представиться! Рекомендую господина удава, который желает вас скушать! Хо-хо-хо... Неприятно, брат! Морщишься? Что ж, ничего не поделаешь! Не моя тут вина! Не сегодня, так завтра... не я, так другой... все равно. Философия, брат кролик! Сейчас вот ты жив, воздух нюхаешь, мыслишь, а через минуту ты — бесформенная масса! Пожалуйте. А жизнь, брат, так хороша! Боже, как хороша!

— Не нужно кормления! — слышатся голоса.— Довольно! Не надо!

— Обидно! — продолжает Сюсин, как бы не слыша ропота публики.— Личность, индивидуум, целая

---

[1] идите сюда! (от *франц.* venez ici)

жизнь... имеет самочку, деточек и... и вдруг сейчас — гам! Пожалуйте! Как ни жаль, но что делать!

Сюсин берет кролика и со смехом ставит его против пасти удава. Но не успевает кролик окаменеть от ужаса, как его хватают десятки рук. Слышны восклицания публики по адресу Общества покровительства животным. Галдят, машут руками, стучат. Сюсин со смехом убегает в свою каморку.

Публика выходит из зверинца злая. Ее тошнит, как от проглоченной мухи. Но проходит день-другой, и успокоенных завсегдатаев зверинца начинает потягивать к Сюсину, как к водке или табаку. Им опять хочется его задирательного, дерущего холодом вдоль спины цинизма.

MARI D'ELLE[1]

Подпраздничная ночь. Опереточная певица Наталья Андреевна Бронина, по мужу Никиткина, лежит у себя в спальной и всем своим существом предается отдыху. Она сладко дремлет и думает о своей маленькой дочери, живущей где-то далеко у бабушки или тетушки... Эта девочка для нее дороже публики, букетов, рецензий, поклонников... и она рада думать о ней до самого утра. Она счастлива, покойна и жаждет только одного, чтобы ей не помешали безмятежно валяться, дремать, мечтать о дочке.

Вдруг певица вздрагивает и широко открывает глаза: в передней раздается резкий, отрывистый звонок. Не проходит и десяти секунд, как дребезжит другой звонок, третий. Отворяется шумно дверь, и в переднюю, стуча ногами, как лошадь, отдуваясь от холода и фыркая, кто-то входит.

— Черт возьми, некуда шубу повесить! — слышит артистка хриплый бас.— Известная артистка, посмотришь! Получает пять тысяч в год, а не может себе порядочной вешалки завести!

«Муж...— морщится певица.— И, кажется, привел с собой ночевать одного из своих приятелей... Противно!»

Пропал покой. Когда в передней утихают громкое сморканье и установка калош, певица слышит в своей

[1] Ее муж *(франц.)*.

спальной осторожные шаги... Это вошел ее муж, mari d'elle, Денис Петрович Никиткин. От него несет холодом и запахом коньяка. Он долго ходит по спальной, тяжело дышит и, натыкаясь в потемках на стулья, чего-то ищет...

— Ну, чего тебе? — стонет певица, когда ей надоедает эта возня.— Ты меня разбудил.

— Я, душенька, спички ищу. Ты... ты, стало быть, не спишь? А я тебе поклон принес. Кланяется тебе этот... как его?.. рыжий, что постоянно тебе букеты подносит. Загвоздкин... Сейчас только что у него был.

— Зачем ты у него был?

— Да так... Посидели, потолковали... выпили. Как хочешь, Натали, а не нравится мне этот субъект. Ужасно не нравится! Такой болван, каких мало. Богач, капиталист, тысяч шестьсот имеет, а нисколько в нем этого не заметно. Для него деньги, что псу редька. И сам не трескает, и другим не дает. Надо капитал в оборот пускать, а он за него держится, расстаться боится... А что толку в лежачем капитале? Лежачий капитал — это та же трава.

Mari d'elle нащупывает край кровати и, отдуваясь, садится у ног жены.

— Лежачий капитал — это вред...— продолжает он.— Почему в России дела хуже пошли? А потому, что у нас лежачих капиталов много, кредита боятся... Не то, что в Англии... В Англии, брат, нет таких гусей, как Загвоздкин... Там каждая копейка в оборот пускается... Да... В сундуках там не держат...

— Ну, и отлично. Я спать хочу.

— Я сейчас... О чем бишь я? Да... По нынешним временам Загвоздкина повесить мало... Подлец и дурак... Дурак и больше ничего. Ежели б я без ручательства у него просил взаймы, а то ведь и ребенку видно, что тут никакого риска нет. Не понимает, осел! За десять тысяч он сто бы получил. Через год бы у него еще сто тысяч было! Просил, толковал... так и не дал, болван!

— Надеюсь, что ты не от моего имени у него взаймы просил!

— Гм... Странный вопрос...— обижается mari d'elle.— Во всяком случае, он мне бы скорей дал десять тысяч, чем тебе. Ты женщина, а я все-таки мужчина, деловой человек. А какой проект я ему предлагал! Не воздушные шары, не химеры какие-нибудь, а дело, суть! Ежели на понимающего человека наскочить, так за одну идею могут тысяч двадцать дать! Ты даже поймешь, ежели тебе рассказать, в чем дело. Только ты тово... не разболтай... ни-ни... Да я, кажется, уже говорил тебе. Говорил я тебе про кишки?

— Мм... после...

— Говорил, кажется... Понимаешь, в чем дело? Теперь гастрономические магазины и колбасники получают кишки на месте и за дорогую цену. Ну-с, а ежели привозить сюда кишки с Кавказа, где они нипочем, выбрасываются, то... как по-твоему? У кого колбасники будут покупать кишки: здесь, в бойнях, или у меня? Конечно, у меня! Ведь я буду продавать в десять раз дешевле! Теперь станем так рассуждать: ежегодно в столицах и в центрах покупается этих самых кишок на... положим, на пятьсот тысяч. Это минимум. Ну-с, а ежели...

— Завтра расскажешь... После...

— Да, правда... Тебе спать хочется, pardon...[1] Сейчас уйду... Что ни говори, а с капиталом куда ни сунься, везде можно дело сделать... С капиталом даже на окурках можно миллион нажить... Взять хоть ваше театральное дело. Почему, например, Лентовский прогорел? Очень просто! С самого начала не так дело повел. Капитала нет, а он во всю ивановскую жарит, сломя голову... Нужно сначала капиталом заручиться, а потом потихоньку да полегоньку... Нынче на частном или народном театре отлично нажить можно... Ежели ставить настоящие пьесы, по дешевой цене пустить да публике в жилку попасть, то в первый же год сто тысяч в карман положишь... Ты вот не понимаешь, а я верно говорю... Тоже ведь и ты лежачие капиталы любишь, не лучше этого шута Загвоздкина... Копит и сама не знает, для чего... Не слушаешься, не хочешь... Пустила бы

[1] извини *(франц.)*.

в оборот, так не мыкалась бы по свету белому... Ведь для первого раза, чтоб частный театр устроить, довольно и пяти тысяч... Не так, конечно, как Лентовский, а скромно... потихоньку... Антрепренер у меня уже есть, помещение я присмотрел... денег только нет... Если б ты понимала, то давно бы уже рассталась со своими этими разными пятипроцентными... процентными, выигрышными...

— Нет, mercі... Ты и так уж меня достаточно пощипал... Будет с меня, наказана...

— Если по-бабьи рассуждать, то, конечно...— вздыхает Никиткин, поднимаясь...— Конечно!

— Будет с меня... Ну, ступай, не мешай мне спать... Надоело твои бредни слушать.

— Гм... Тэк-с... Конечно! Пощипал... обобрал... Мы что сами даем, то помним, а что берем, того не помним.

— Я у тебя никогда ничего не брала.

— Так ли? А когда мы еще не были известной артисткой, то на чей счет мы жили? А кто, позвольте вас спросить, вытянул вас из нищеты и осчастливил! Этого вы не помните?

— Ну, ступай, спи. Поди проспись.

— Ежели я кажусь вам пьян... ежели я для такой персоны низок, то я могу вовсе уйти.

— И уходи. Отлично сделаешь.

— И уйду. Довольно уж я унижался. И уйду.

— Ах, боже мой! Да уходи же! Я буду очень рада!

— Ладно. Увидим.

Никиткин что-то бормочет про себя и, натыкаясь на стулья, выходит из спальной. Засим доносится из передней шепот, шарканье калош и звук запираемой двери. Mari d'elle всерьез обиделся и ушел.

«Слава богу, ушел...— думает певица.— Теперь спать можно». И, засыпая, она думает о своем mari d'elle: кто он и откуда взялось это наказание? Когда-то он жил в Чернигове и служил там бухгалтером. Как обыкновенный серенький обыватель, а не mari d'elle, он был очень сносен: ходил на службу, получал жалованье, и все его проекты и затеи не шли дальше новой гитары, модных брюк и янтарного мундштука. Ставши же «мужем знаменитости», он совсем преобразился.

Певица помнит, что, когда впервые она объявила ему, что поступает на сцену, он долго ломался, возмущался, жаловался ее родителям, гнал ее из дому. Пришлось поступать на сцену без его позволения. Потом же, узнав по газетам и от людей, что она берет хорошие куши, он «простил» ее, бросил бухгалтерию и стал ее прихвостнем. Диву давалась артистка, глядя на прихвостня: когда и где успел он приобрести новые вкусы, лоск и замашки? Где он узнал вкус устриц и бургонских вин? Кто научил его одеваться по моде, причесываться, говорить Наталѝ вместо Наташа?

«Странно...— думает певица.— Прежде, бывало, получит жалованье и прячет, а теперь и ста рублей в день ему мало. Бывало, при гимназистах говорить боялся, чтоб глупости не сказать, а теперь даже с князьями фамильярничает... Дрянной человечишка!»

Но вот певица опять вздрагивает: опять в передней дребезжит звонок. Горничная, бранясь и сердито шлепая туфлями, идет отворять дверь. Опять кто-то входит и стучит, как лошадь.

«Вернулся! — думает певица.— Когда же наконец дадут мне покой? Это возмутительно!»

Артисткой овладевает злоба.

«Постой же... Я покажу тебе, как комедии играть! Ты у меня уйдешь! Я заставлю тебя уйти!»

Бронина вскакивает и босая бежит в маленький зал, где обыкновенно спит на диване ее mari. Застает она его в то время, когда он раздевается и старательно складывает свою одежду на кресло.

— Ты же ушел! — говорит она, глядя на него блестящими, ненавидящими глазами.— Зачем же ты вернулся?

Никиткин молчит и только сопит...

— Ты же ушел! Изволь сию же минуту убираться! Сию же минуту! Слышишь?

Mari d'elle кашляет и, не глядя на жену, снимает помочи.

— Если ты, нахал, не уйдешь, то я уйду! — продолжает певица, топая босой ногой и сверкая глазами.— Я уйду! Слышишь ты, нахал... негодяй, лакей? Вон!

— Постыдилась бы хоть при посторонних...— бормочет муж.

Певица оглядывается и теперь только видит незнакомую ей актерскую физиономию... Физиономия, видевшая оголенные плечи и босые ноги артистки, сконфужена и готова провалиться...

— Рекомендую...— бормочет Никиткин.— Провинциальный антрепренер Безбожников.

Певица вскрикивает и убегает к себе в спальную.

— Вот-с...— говорит mari d'elle, растягиваясь на диване.— Все шло как по маслу. Милый, разлюбезный мой, хороший... Поцелуи и объятия... А как только дело коснулось до денег, то... как видите... Великое дело деньги!.. Спокойной ночи.

Через минуту слышится храп.

АНТРЕПРЕНЕР ПОД ДИВАНОМ

Закулисная история

Шел «Водевиль с переодеванием». Клавдия Матвеевна Дольская-Каучукова, молодая симпатичная артистка, горячо преданная святому искусству, вбежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы в мгновение ока облечься в гусарский костюм. Во избежание лишних складок, чтобы этот костюм сидел возможно гладко и красиво, даровитая артистка решила сбросить с себя все до последней нитки и надеть его поверх одеяния Евы. И вот, когда она разделась и, пожимаясь от легкого холода, стала расправлять гусарские рейтузы, до ее слуха донесся чей-то вздох. Она сделала большие глаза и прислушалась. Опять кто-то вздохнул и даже как будто прошептал:

— Грехи наши тяжкие... Оxx...

Недоумевающая артистка осмотрелась и, не увидев в уборной ничего подозрительного, решила заглянуть на всякий случай под свою единственную мебель — под диван. И что же? Под диваном она увидела длинную человеческую фигуру.

— Кто здесь?! — вскрикнула она, в ужасе отскакивая от дивана и прикрываясь гусарской курткой.

— Это я... я...— послышался из-под дивана дрожащий шепот.— Не пугайтесь, это я... Тсс!

В гнусавом шепоте, похожем на сковородное шипение, артистке нетрудно было узнать голос антрепренера Индюкова.

— Вы?! — возмутилась она, красная, как пион.— Как... как вы смели? Это значит, вы, старый подлец, все время здесь лежали? Этого еще недоставало!

— Матушка... голуба моя! — зашипел Индюков, высовывая свою лысую голову из-под дивана,— не сердитесь, драгоценная! Убейте, растопчите меня, как змия, но не шумите! Ничего я не видел, не вижу и видеть не желаю. Напрасно даже вы прикрываетесь, голубушка, красота моя неописанная! Выслушайте старика, одной ногой уже в могиле стоящего! Не за чем иным тут валяюсь, как только ради спасения моего! Погибаю! Глядите: волосы на голове моей стоят дыбом! Из Москвы приехал муж моей Глашеньки, Прындин. Теперь ходит по театру и ищет погибели моей. Ужасно! Ведь, кроме Глашеньки, я ему, злодею моему, пять тысяч должен!

— Мне какое дело? Убирайтесь сию же минуту вон, иначе я... я не знаю, что с вами, с подлецом, сделаю!

— Тсс! Душенька, тсс! На коленях прошу, ползаю! Куда же мне от него укрыться, ежели не у вас? Ведь он везде меня найдет, сюда только не посмеет войти! Ну, умоляю! Ну, прошу! Часа два назад я его видел! Стою это я во время первого действия за кулисами, гляжу, а он идет из партера на сцену.

— Стало быть, вы и во время драмы здесь валялись? — ужаснулась артистка.— И... и все видели?

Антрепренер заплакал.

— Дрожу! Трясусь! Матушка, трясусь! Убьет, проклятый! Ведь уж раз стрелял в меня в Нижнем... В газетах писали!

— Ах... это, наконец, невыносимо! Уходите, мне пора уже одеваться и на сцену выходить! Убирайтесь, иначе я... крикну, громко расплачусь... лампой в вас пущу!

— Тссс!.. Надежда вы моя... якорь спасения! Пятьдесят рублей прибавки, только не гоните! Пятьдесят!

Артистка прикрылась кучей платья и побежала к двери, чтобы крикнуть. Индюков пополз за ней на коленях и схватил ее за ногу повыше лодыжек.

— Семьдесят пять рублей, только не гоните! — прошипел он задыхаясь.— Еще полбенефиса прибавлю!

— Лжете!

— Накажи меня бог! Клянусь! Чтоб мне ни дна ни покрышки... Полбенефиса и семьдесят пять прибавки!

Дольская-Каучукова минуту поколебалась и отошла от двери.

— Ведь вы всё врете...— сказала она плачущим голосом.

— Провались я сквозь землю! Чтоб мне царствия небесного не было! Да разве я подлец какой, что ли?

— Ладно, помните же...— согласилась артистка.— Ну, полезайте под диван.

Индюков тяжело вздохнул и с сопеньем полез под диван, а Дольская-Каучукова стала быстро одеваться. Ей было совестно, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек, но сознание, что она сделала уступку только в интересах святого искусства, подбодрило ее настолько, что, сбрасывая с себя немного спустя гусарское платье, она уже не только не бранилась, но даже и посочувствовала:

— Вы там выпачкаетесь, голубчик Кузьма Алексеич! Чего я только под диван не ставлю!

Водевиль кончился. Артистку вызывали одиннадцать раз и поднесли ей букет с лентами, на которых было написано: «Оставайтесь с нами». Уходя после оваций к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова. Запачканный, помятый и взъерошенный, антрепренер сиял и потирал руки от удовольствия.

— Ха-ха... Вообразите, голубушка! — заговорил он, подходя к ней.— Посмейтесь над старым хрычом! Вообразите, то был вовсе не Прындин! Ха-ха... Черт его возьми, длинная рыжая борода меня с панталыку сбила... У Прындина тоже длинная рыжая борода... Обознался, старый хрен! Ха-ха... Напрасно только беспокоил вас, красавица...

— Но вы же смотрите, помните, что мне обещали,— сказала Дольская-Каучукова.

— Помню, помню, родная моя, но... голубушка моя, ведь то не Прындин был! Мы только насчет Прындина условились, а зачем я буду обещание исполнять, ежели это не Прындин? Будь то Прындин, ну, тогда, конечно, другое дело, а то ведь, сами видите, обознался... Чудака какого-то за Прындина принял!

— Как это низко! — возмутилась актриса.— Низко! Мерзко!

— Будь это Прындин, конечно, вы имели бы полное право требовать, чтоб я обещание исполнил, а то ведь черт его знает, кто он такой. Может, он сапожник какой или, извините, портной — так мне и платить за него? Я честный человек, матушка... Понимаю...

И отойдя, он все жестикулировал и говорил:

— Если бы то был Прындин, то, конечно, я обязан, а то ведь кто-то неизвестный... какой-то, шут его знает, рыжий человек, а вовсе не Прындин.

СОН

Святочный рассказ

Бывают погоды, когда зима, словно озлившись на человеческую немощь, призывает к себе на помощь суровую осень и работает с нею сообща. В беспросветном, туманном воздухе кружатся снег и дождь. Ветер, сырой, холодный, пронизывающий, с неистовой злобой стучит в окна и в кровли. Он воет в трубах и плачет в вентиляциях. В темном, как сажа, воздухе висит тоска... Природу мутит... Сыро, холодно и жутко...

Точно такая погода была в ночь под рождество тысяча восемьсот восемьдесят второго года, когда я еще не был в арестантских ротах, а служил оценщиком в ссудной кассе отставного штабс-капитана Тупаева.

Было двенадцать часов. Кладовая, в которой я по воле хозяина имел свое ночное местопребывание и изображал из себя сторожевую собаку, слабо освещалась синим лампадным огоньком. Это была большая квадратная комната, заваленная узлами, сундуками, этажерками... На серых деревянных стенах, из щелей которых глядела растрепанная пакля, висели заячьи шубки, поддевки, ружья, картины, бра, гитара... Я, обязанный по ночам сторожить это добро, лежал на большом красном сундуке за витриной с драгоценными вещами и задумчиво глядел на лампадный огонек...

Почему-то я чувствовал страх. Вещи, хранящиеся в кладовых ссудных касс, страшны... В ночную пору, при тусклом свете лампадки они кажутся живыми... Теперь же, когда за окном роптал дождь, а в печи и над потолком жалобно выл ветер, мне казалось, что они издавали воющие звуки. Все они, прежде чем попасть сюда, должны были пройти через руки оценщика, то есть через мои, а потому я знал о каждой из них всё... Знал, например, что за деньги, вырученные за эту гитару, куплены порошки от чахоточного кашля... Знал, что этим револьвером застрелился один пьяница; жена скрыла револьвер от полиции, заложила его у нас и купила гроб. Браслет, глядящий на меня из витрины, заложен человеком, укравшим его... Две кружевные сорочки, помеченные 178 №, заложены девушкой, которой нужен был рубль для входа в Salon, где она собиралась заработать... Короче говоря, на каждой вещи читал я безвыходное горе, болезнь, преступление, продажный разврат...

В ночь под рождество эти вещи были как-то особенно красноречивы.

«Пусти нас домой!..— плакали они, казалось мне, вместе с ветром.— Пусти!»

Но не одни вещи возбуждали во мне чувство страха. Когда я высовывал голову из-за витрины и бросал робкий взгляд на темное, вспотевшее окно, мне казалось, что в кладовую с улицы глядели человеческие лица.

«Что за чушь! — бодрил я себя.— Какие глупые нежности!»

Дело в том, что человека, наделенного от природы нервами оценщика, в ночь под рождество мучила совесть — событие невероятное и даже фантастическое. Совесть в ссудных кассах имеется только под закладом. Здесь она понимается как предмет продажи и купли, других же функций за ней не признается... Удивительно, откуда она могла у меня взяться? Я ворочался с боку на бок на своем жестком сундуке и, щуря глаза от мелькавшей лампадки, всеми силами

старался заглушить в себе новое, непрошеное чувство. Но старания мои оставались тщетны...

Конечно, тут отчасти было виновато физическое и нравственное утомление после тяжкого целодневного труда. В канун рождества бедняки ломились в ссудную кассу толпами. В большой праздник и вдобавок еще в злую погоду бедность не порок, но страшное несчастье! В это время утопающий бедняк ищет в ссудной кассе соломинку и получает вместо нее камень... За весь сочельник у нас перебывало столько народу, что три четверти закладов, за неимением места в кладовой, мы принуждены были снести в сарай. От раннего утра до позднего вечера, не переставая ни на минуту, я торговался с оборвышами, выжимал из них гроши и копейки, глядел слезы, выслушивал напрасные мольбы... К концу дня я еле стоял на ногах: изнемогли душа и тело. Немудрено, что я теперь не спал, ворочался с боку на бок и чувствовал себя жутко...

Кто-то осторожно постучался в мою дверь... Вслед за стуком я услышал голос хозяина:

— Вы спите, Петр Демьяныч?

— Нет еще, а что?

— Я, знаете ли, думаю, не отворить ли нам завтра рано утречком дверь? Праздник большой, а погода злющая. Беднота нахлынет, как мухи на мед. Так вы уж завтра не идите к обедне, а посидите в кассе... Спокойной ночи!

«Мне оттого так жутко,— решил я по уходе хозяина,— что лампадка мелькает... Надо ее потушить...»

Я встал с постели и пошел к углу, где висела лампадка. Синий огонек, слабо вспыхивая и мелькая, видимо боролся со смертью. Каждое мельканье на мгновение освещало образ, стены, узлы, темное окно... А в окне две бледные физиономии, припав к стеклам, глядели в кладовую.

«Никого там нет...— рассудил я...— Это мне представляется».

И когда я, потушив лампадку, пробирался ощупью к своей постели, произошел маленький казус, имевший немалое влияние на мое дальнейшее настрое-

ние... Над моей головой вдруг, неожиданно, раздался громкий, неистово визжащий треск, продолжавшийся не долее секунды. Что-то треснуло и, словно почувствовав страшную боль, громко взвизгнуло.

То лопнула на гитаре квинта, я же, охваченный паническим страхом, заткнул уши и, как сумасшедший, спотыкаясь о сундуки и узлы, побежал к постели... Я уткнул голову под подушку и, еле дыша, замирая от страха, стал прислушиваться.

«Отпусти нас! — выл ветер вместе с вещами.— Ради праздника отпусти! Ведь ты сам бедняк, понимаешь! Сам испытал голод и холод! Отпусти!»

Да, я сам был бедняк и знал, что значит голод и холод. Бедность толкнула меня на это проклятое место оценщика, бедность заставила меня ради куска хлеба презирать горе и слезы. Если бы не бедность, разве у меня хватило бы храбрости оценивать в гроши то, что стоит здоровья, тепла, праздничных радостей? За что же винит меня ветер, за что терзает меня моя совесть?

Но как ни билось мое сердце, как ни терзали меня страх и угрызения совести, утомление взяло свое. Я уснул. Сон был чуткий... Я слышал, как ко мне еще раз стучался хозяин, как ударили к заутрене... Я слышал, как выл ветер и стучал по кровле дождь. Глаза мои были закрыты, но я видел вещи, витрину, темное окно, образ. Вещи толпились вокруг меня и, мигая, просили отпустить их домой. На гитаре с визгом одна за другой лопались струны, лопались без конца... В окно глядели нищие, старухи, проститутки, ожидая, пока я отопру ссуду и возвращу им их вещи.

Слышал я сквозь сон, как что-то заскребло, как мышь. Скребло долго, монотонно. Я заворочался и съежился, потому что на меня сильно подуло холодом и сыростью. Натягивая на себя одеяло, я слышал шорох и человеческий шепот.

«Какой нехороший сон! — думал я.— Как жутко! Проснуться бы».

Что-то стеклянное упало и разбилось. За витриной мелькнул огонек, и на потолке заиграл свет.

— Не стучи! — послышался шепот.— Разбудишь того ирода... Сними сапоги!

Кто-то подошел к витрине, взглянул на меня и потрогал висячий замочек. Это был бородатый старик с бледной, испитой физиономией, в порванном солдатском сюртучишке и в опорках. К нему подошел высокий худой парень с ужасно длинными руками, в рубахе навыпуск и в короткой, рваной жакетке. Оба они что-то пошептали и завозились около витрины.

«Грабят!» — мелькнуло у меня в голове.

Хотя я спал, но помнил, что под моей подушкой всегда лежал револьвер. Я тихо нащупал его и сжал в руке. В витрине звякнуло стекло.

— Тише, разбудишь. Тогда уколошматить придется.

Далее мне снилось, что я вскрикнул грудным, диким голосом и, испугавшись своего голоса, вскочил. Старик и молодой парень, растопырив руки, набросились на меня, но, увидев револьвер, попятились назад. Помнится, что через минуту они стояли передо мной бледные и, слезливо мигая глазами, умоляли меня отпустить их. В поломанное окно с силою ломил ветер и играл пламенем свечки, которую зажгли воры.

— Ваше благородие,— заговорил кто-то под окном плачущим голосом.— Благодетели вы наши! Милостивцы!

Я взглянул на окно и увидел старушечью физиономию, бледную, исхудалую, вымокшую на дожде.

— Не трожь их! Отпусти! — плакала она, глядя на меня умоляющими глазами.— Бедность ведь!

— Бедность! — подтвердил старик.

«Бедность!» — пропел ветер.

У меня сжалось от боли сердце, и я, чтобы проснуться, защипал себя... Но вместо того, чтобы проснуться, я стоял у витрины, вынимал из нее вещи и судорожно пихал их в карманы старика и парня.

— Берите, скорей! — задыхался я.— Завтра праздник, а вы нищие! Берите!

Набив нищенские карманы, я завязал остальные драгоценности в узел и швырнул их старухе. Подал

я в окно старухе шубу, узел с черной парой, кружевные сорочки и кстати уж и гитару. Бывают же такие странные сны! Засим, помню, затрещала дверь. Точно из земли выросши, предстали предо мной хозяин, околоточный, городовые. Хозяин стоит около меня, а я словно не вижу и продолжаю вязать узлы.

— Что ты, негодяй, делаешь?

— Завтра праздник,— отвечаю я.— Надо им есть.

Тут занавес опускается, вновь поднимается, и я вижу новые декорации. Я уже не в кладовой, а где-то в другом месте. Около меня ходит городовой, ставит мне на ночь кружку воды и бормочет: «Ишь ты! Ишь ты! Что под праздник задумал!» Когда я проснулся, было уже светло. Дождь уже не стучал в окно, ветер не выл. На стене весело играло праздничное солнышко. Первый, кто поздравил меня с праздником, был старший городовой.

— И с новосельем...— добавил он.

Через месяц меня судили. За что? Я уверял судей, что то был сон, что несправедливо судить человека за кошмар. Судите сами, мог ли я отдать ни с того ни с сего чужие вещи ворам и негодяям? Да и где это видано, чтоб отдавать вещи, не получив выкупа? Но суд принял сон за действительность и осудил меня. В арестантских ротах, как видите. Не можете ли вы, ваше благородие, замолвить за меня где-нибудь словечко? Ей-богу, не виноват.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Святочный рассказ

В ночь под рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный.

— Отвяжись ты, нечистая сила! — рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего он такой хмурый.

Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще, потом же незаметно перешли к образовательному цензу служащей братии, причем было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу низкого уровня. И тут, как это водится во всех российских компаниях, с общих материй перешли к личностям.

— Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич,— обратился к Перекладину один юноша.— Вы занимаете приличное место... а какое образование вы получили?

— Никакого-с. Да у нас образование и не требуется,— кротко ответил Перекладин.— Пиши правильно, вот и все...

— Где же это вы правильно писать-то научились?

— Привык-с... За сорок лет службы можно руку набить-с... Оно, конечно, спервоначалу трудно было, делывал ошибки, но потом привык-с... и ничего...

— А знаки препинания?

— И знаки препинания ничего... Правильно ставлю.

— Гм!..— сконфузился юноша.— Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите... мало-с! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите... да-с! А это ваше бессознательное... рефлекторное правописание и гроша не стоит. Это машинное производство и больше ничего.

Перекладин смолчал и даже кротко улыбнулся (юноша был сын статского советника и сам имел право на чин X класса), но теперь, ложась спать, он весь обратился в негодование и злобу.

«Сорок лет служил,— думал он,— и никто меня дураком не назвал, а тут, поди ты, какие критики нашлись! «Бессознательно!.. Лефректорно! Машинное производство...» Ах ты, черт тебя возьми! Да я еще, может быть, больше тебя понимаю, даром что в твоих университетах не был!»

Излив мысленно по адресу критика все известные ему ругательства и согревшись под одеялом, Перекладин стал успокаиваться.

«Я знаю... понимаю...— думал он засыпая.— Не поставлю там двоеточия, где запятую нужно, стало быть сознаю, понимаю. Да... Так-то, молодой человек... Сначала пожить нужно, послужить, а потом уж стариков судить...»

В закрытых глазах засыпавшего Перекладина сквозь толпу темных, улыбавшихся облаков метеором пролетела огненная запятая. За ней другая, третья, и скоро весь безграничный, темный фон, расстилавшийся перед его воображением, покрылся густыми толпами летавших запятых...

«Хоть эти запятые взять...— думал Перекладин, чувствуя, как его члены сладко немеют от наступавшего сна.— Я их отлично понимаю... Для каждой могу место найти, ежели хочешь... и... и сознательно, а не зря... Экзаменуй, и увидишь... Запятые ставятся в разных местах, где надо, где и не надо. Чем путанее бумага выходит, тем больше запятых нужно. Ставятся они перед «который» и перед «что». Ежели в

бумаге перечислять чиновников, то каждого из них надо запятой отделять... Знаю!»

Золотые запятые завертелись и унеслись в сторону. На их место прилетели огненные точки...

«А точка в конце бумаги ставится... Где нужно большую передышку сделать и на слушателя взглянуть, там тоже точка. После всех длинных мест нужно точку, чтоб секретарь, когда будет читать, слюной не истек. Больше же нигде точка не ставится...»

Опять налетают запятые... Они мешаются с точками, кружатся — и Перекладин видит целое сонмище точек с запятой и двоеточий...

«И этих знаю...— думает он.— Где запятой мало, а точки много, там надо точку с запятой. Перед «но» и «следственно» всегда ставлю точку с запятой... Ну-с, а двоеточие? Двоеточие ставится после слов «постановили», «решили»...»

Точки с запятой и двоеточия потухли. Наступила очередь вопросительных знаков. Эти выскочили из облаков и заканканировали...

«Эка невидаль: знак вопросительный! Да хоть тысяча их, всем место найду. Ставятся они всегда, когда запрос нужно делать или, положим, о бумаге справиться: «Куда отнесен остаток сумм за такой-то год?» — или: «Не найдет ли Полицейское управление возможным оную Иванову и проч.?..»

Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крюками и моментально, словно по команде, вытянулись в знаки восклицательные...

«Гм!.. Этот знак препинания в письмах часто ставится. «Милостивый государь мой!» или «Ваше превосходительство, отец и благодетель!..» А в бумагах когда?»

Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились в ожидании...

«В бумагах они ставятся, когда... тово... этого... как его? Гм!.. В самом деле, когда же их в бумагах ставят? Постой... дай бог память... Гм!..»

Перекладин открыл глаза и повернулся на другой бок. Но не успел он вновь закрыть глаза, как на темном фоне опять появились восклицательные знаки.

«Черт их возьми... Когда же их ставить нужно? — подумал он, стараясь выгнать из своего воображения непрошеных гостей.— Неужели забыл? Или забыл, или же... никогда их не ставил...»

Перекладин стал припоминать содержание всех бумаг, которые он написал за сорок лет своего служения; но как он ни думал, как ни морщил лоб, в своем прошлом он не нашел ни одного восклицательного знака.

«Что за оказия! Сорок лет писал и ни разу восклицательного знака не поставил... Гм!.. Но когда же он, черт длинный, ставится?»

Из-за ряда огненных восклицательных знаков показалась ехидно смеющаяся рожа юноши-критика. Сами знаки улыбнулись и слились в один большой восклицательный знак.

Перекладин встряхнул головой и открыл глаза.

«Черт знает что...— подумал он.— Завтра к утрене вставать надо, а у меня это чертобесие из головы не выходит... Тьфу! Но... когда же он ставится? Вот тебе и привычка! Вот тебе и набил руку! За сорок лет ни одного восклицательного! А?»

Перекладин перекрестился и закрыл глаза, но тотчас же открыл их; на темном фоне все еще стоял большой знак...

«Тьфу! Этак всю ночь не уснешь».— Марфуша! — обратился он к своей жене, которая часто хвасталась тем, что кончила курс в пансионе.— Ты не знаешь ли, душенька, когда в бумагах ставится восклицательный знак?

— Еще бы не знать! Недаром в пансионе семь лет училась. Наизусть всю грамматику помню. Этот знак ставится при обращениях, восклицаниях и при выражениях восторга, негодования, радости, гнева и прочих чувств.

«Тэк-с...— подумал Перекладин.— Восторг, негодование, радость, гнев и прочие чувства...»

Коллежский секретарь задумался... Сорок лет писал он бумаги, написал он их тысячи, десятки тысяч, но не помнит ни одной строки, которая выражала бы восторг, негодование или что-нибудь в этом роде...

«И прочие чувства...— думал он.— Да нешто в бумагах нужны чувства? Их и бесчувственный писать может...»

Рожа юноши-критика опять выглянула из-за огненного знака и ехидно улыбнулась. Перекладин поднялся и сел на кровати. Голова его болела, на лбу выступил холодный пот... В углу ласково теплилась лампадка, мебель глядела празднично, чистенько, от всего так и веяло теплом и присутствием женской руки, но бедному чиноше было холодно, неуютно, точно он заболел тифом. Знак восклицательный стоял уже не в закрытых глазах, а перед ним, в комнате, около жениного туалета, и насмешливо мигал ему...

«Пишущая машина! Машина! — шептало привидение, дуя на чиновника сухим холодом.— Деревяшка бесчувственная!»

Чиновник укрылся одеялом, но и под одеялом он увидел привидение; прильнул лицом к женину плечу, и из-за плеча торчало то же самое... Всю ночь промучился бедный Перекладин, но и днем не оставило его привидение. Он видел его всюду: в надеваемых сапогах, в блюдечке с чаем, в Станиславе...

«И прочие чувства...— думал он.— Это правда, что никаких чувств не было... Пойду сейчас к начальству расписываться... а разве это с чувствами делается? Так, зря... Поздравительная машина...»

Когда Перекладин вышел на улицу и крикнул извозчика, то ему показалось, что вместо извозчика подкатил восклицательный знак.

Придя в переднюю начальника, он вместо швейцара увидел тот же знак... И все это говорило ему о восторге, негодовании, гневе... Ручка с пером тоже глядела восклицательным знаком. Перекладин взял ее, обмакнул перо в чернила и расписался:

«Коллежский секретарь Ефим Перекладин!!!»

И ставя эти три знака, он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом.

— На тебе! На тебе! — бормотал он, надавливая на перо.

Огненный знак удовлетворился и исчез.

ЗЕРКАЛО

Подновогодний вечер. Нелли, молодая и хорошенькая дочь помещика-генерала, день и ночь мечтающая о замужестве, сидит у себя в комнате и утомленными, полузакрытыми глазами глядит в зеркало. Она бледна, напряжена и неподвижна, как зеркало.

Несуществующая, но видимая перспектива, похожая на узкий, бесконечный коридор, ряд бесчисленных свечей, отражение ее лица, рук, зеркальной рамы — все это давно уже заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное, серое море. Море колеблется, мигает, изредка вспыхивает заревом...

Глядя на неподвижные глаза и открытый рот Нелли, трудно понять, спит она или бодрствует, но тем не менее она видит. Сначала видит она только улыбку и мягкое, полное прелести выражение чьих-то глаз, потом же на колеблющемся сером фоне постепенно проясняются контуры головы, лицо, брови, борода. Это он, суженый, предмет долгих мечтаний и надежд. Суженый для Нелли составляет все: смысл жизни, личное счастье, карьеру, судьбу. Вне его, как и на сером фоне, мрак, пустота, бессмыслица. И немудрено поэтому, что, видя перед собою красивую, кротко улыбающуюся голову, она чувствует наслаждение, невыразимо сладкий кошмар, который не передашь ни на словах, ни на бумаге. Далее она слышит его голос, видит, как живет с ним под одной кровлей,

как ее жизнь постепенно сливается с его жизнью. На сером фоне бегут месяцы, годы... и Нелли отчетливо, во всех подробностях, видит свое будущее.

На сером фоне мелькают картина за картиной. Вот видит Нелли, как она в холодную зимнюю ночь стучится к уездному врачу Степану Лукичу. За воротами лениво и хрипло лает старый пес. В докторских окнах потемки. Кругом тишина.

— Ради бога... ради бога! — шепчет Нелли.

Но вот наконец скрипит калитка, и Нелли видит перед собой докторскую кухарку.

— Доктор дома?

— Спят-с...— шепчет кухарка в рукав, словно боясь разбудить своего барина.— Только что с эпидемии приехали. Не велено будить-с.

Но Нелли не слышит кухарки. Отстранив ее рукой, она, как сумасшедшая, бежит в докторскую квартиру. Пробежав несколько темных и душных комнат, свалив на пути два-три стула, она наконец находит докторскую спальню. Степан Лукич лежит у себя в постели одетый, но без сюртука и, вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночничок. Нелли, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, вздрагивая всем телом.

— Му... муж болен! — выговаривает она.

Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостью сонными, неподвижными глазами.

— Муж болен! — продолжает Нелли, сдерживая рыдания.— Ради бога, поедемте... Скорее... как можно скорее!

— А? — мычит доктор, дуя на ладонь.

— Поедемте! И сию минуту! Иначе... иначе... страшно выговорить... Ради бога!

И бледная, измученная Нелли, глотая слезы и задыхаясь, начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдания ее способны тронуть камень, но доктор глядит на нее, дует себе на ладонь и — ни с места.

— Завтра приеду...— бормочет он.

— Это невозможно! — пугается Нелли.— Я знаю, у мужа... тиф! Сейчас... сию минуту вы нужны!

— Я тово... только что приехал...— бормочет доктор.— Три дня на эпидемию ездил. И утомлен, и сам болен... Абсолютно не могу! Абсолютно! Я... я сам заразился... Вот!

И доктор сует к глазам Нелли максимальный термометр.

— Температура к сорока идет... Абсолютно не могу! Я... я даже сидеть не в состоянии. Простите: лягу...

Доктор ложится.

— Но я прошу вас, доктор! — стонет в отчаянии Нелли.— Умоляю! Помогите мне, ради бога. Соберите все ваши силы, и поедемте... Я заплачу вам, доктор.

— Боже мой... да ведь я уже сказал вам! Ах!

Нелли вскакивает и нервно ходит по спальне. Ей хочется объяснить доктору, втолковать... Думается ей, что если бы он знал, как дорог для нее муж и как она несчастна, то забыл бы и утомление и свою болезнь. Но где взять красноречия?

— Поезжайте к земскому доктору...— слышит она голос Степана Лукича.

— Это невозможно!.. Он живет за двадцать пять верст отсюда, а время дорого. И лошадей не хватит: от нас сюда сорок верст, да отсюда к земскому доктору почти столько... Нет, это невозможно! Поедемте, Степан Лукич! Я подвига прошу. Ну, совершите вы подвиг! Сжальтесь!

— Черт знает что... Тут жар... дурь в голове, а она не понимает. Не могу! Отстаньте.

— Но вы обязаны ехать! И не можете вы не ехать! Это эгоизм! Человек для ближнего должен жертвовать жизнью, а вы... вы отказываетесь поехать!.. Я в суд на вас подам!

Нелли чувствует, что говорит обидную и незаслуженную ложь, но для спасения мужа она способна забыть и логику, и такт, и сострадание к людям... В ответ на ее угрозу доктор с жадностью выпивает стакан холодной воды. Нелли начинает опять умо-

лять, взывать к состраданию, как самая последняя нищая... Наконец доктор сдается. Он медленно поднимается, отдувается, кряхтит и ищет свой сюртук.

— Вот он, сюртук! — помогает ему Нелли.— Позвольте, я его на вас надену... Вот так. Едемте. Я вам заплачу... всю жизнь буду признательна...

Но что за мука! Надевши сюртук, доктор опять ложится. Нелли поднимает его и тащит в переднюю... В передней долгая, мучительная возня с калошами, шубой... Пропала шапка... Но вот наконец Нелли сидит в экипаже. Возле нее доктор. Теперь остается только проехать сорок верст, и у ее мужа будет медицинская помощь. Над землей висит тьма: зги не видно... Дует холодный зимний ветер. Под колесами мерзлые кочки. Кучер то и дело останавливается и раздумывает, какой дорогой ехать...

Нелли и доктор всю дорогу молчат. Их трясет ужасно, но они не чувствуют ни холода, ни тряски.

— Гони! Гони! — просит Нелли кучера.

К пяти часам утра замученные лошади въезжают во двор. Нелли видит знакомые ворота, колодец с журавлем, длинный ряд конюшен и сараев... Наконец она дома.

— Погодите, я сейчас...— говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовой на диван.— Остыньте, а я пойду посмотрю, что с ним.

Вернувшись через минуту от мужа, Нелли застает доктора лежащим. Он лежит на диване и что-то бормочет.

— Пожалуйте, доктор... Доктор!

— А? Спросите у Домны...— бормочет Степан Лукич.

— Что?

— На съезде говорили... Власов говорил... Кого? Что?

И Нелли, к великому своему ужасу, видит, что у доктора такой же бред, как и у ее мужа. Что делать?

— К земскому врачу! — решает она.

Засим следуют опять потемки, резкий, холодный ветер, мерзлые кочки. Страдает она и душою и

телом, и чтобы уплатить за эти страдания, у обманщицы-природы не хватит никаких средств, никаких обманов...

Видит далее она на сером фоне, как муж ее каждую весну ищет денег, чтобы уплатить проценты в банк, где заложено имение. Не спит он, не спит она, и оба до боли в мозгу думают, как бы избежать визита судебного пристава.

Видит она детей. Тут вечный страх перед простудой, скарлатиной, дифтеритом, единицами, разлукой. Из пяти-шести карапузов, наверное, умрет один.

Серый фон не свободен от смертей. Оно и понятно. Муж и жена не могут умереть в одно время. Один из двух во что бы то ни стало должен пережить похороны другого. И Нелли видит, как умирает ее муж. Это страшное несчастие представляется ей во всех своих подробностях. Она видит гроб, свечи, дьячка и даже следы, которые оставил в передней гробовщик.

— К чему это? Для чего? — спрашивает она, тупо глядя в лицо мертвого мужа.

И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти.

Что-то падает из рук Нелли и стучит о пол. Она вздрагивает, вскакивает и широко раскрывает глаза. Одно зеркало, видит она, лежит у ее ног, другое стоит по-прежнему на столе. Она смотрится в зеркало и видит бледное, заплаканное лицо. Серого фона уже нет.

«Я, кажется, уснула...» — думает она, легко вздыхая.

НОВОГОДНИЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ

На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперед с треском и шумом снуют парадные сани и кареты... На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры... Бегут они с таким азартом, что, ухвати жена Пентефрия какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничий бок с печенками и с селезенками...

Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций и бегут к свистку...

— Разойдитесь! Идите дальше! Нечего вам здесь глядеть! Мертвых людей никогда не видали, что ли? Нарррод...

У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах... Возле его мертвецки бледного, свежевыбритого лица валяются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Станислава третьей степени. Грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты...

— Господин! — толкает городовой чиновника.— Господин, не велено тут лежать! Ваше благородие!

Но господин — ни гласа, ни воздыхания... Повозившись с ним минут пять и не приведя его в чувство,

блюстители кладут его на извозчика и везут в приемный покой...

— Хорошие штаны! — говорит городовой, помогая фельдшеру раздеть больного.— Должно, рублей шесть стоят! И жилетка ловкая... Ежели по штанам судить, то из благородных...

В приемном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувство... Узнают, что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синклетеев.

— Что у вас болит? — спрашивает его полицейский врач.

— С Новым годом, с новым счастьем...— бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша.

— И вас также... Но... что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили что-нибудь?

— Не... нет...

— Но отчего же вам дурно сделалось?

— Ошалел-с... Я... я визиты делал...

— Много, стало быть, визитов сделали?

— Не... нет, не много-с... От обедни пришедши... выпил я чаю и пошел к Николаю Михайлычу... Тут, конечно, расписался... Оттеда пошел на Офицерскую... к Качалкину... Тут тоже расписался... Еще, помню, тут в передней меня сквозняком продуло... От Качалкина на Выборгскую сходил, к Ивану Иванычу... Расписался...

— Еще одного чиновника привезли! — докладывает городовой.

— От Ивана Иваныча,— продолжает Синклетеев,— к купцу Хрымову рукой подать... Зашел поздравить... с семейством... Предлагают выпить для праздника... А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь... Ну, выпил рюмки три... колбасой закусил... Оттуда на Петербургскую сторону к Лиходееву... Хороший человек...

— И все пешком?

— Пешком-с... Расписался у Лиходеева... От него пошел к Пелагее Емельяновне... Тут завтракать посадили и кофеем попотчевали. От кофею распарился, оно, должно быть, в голову и ударило... От Пелагеи

Емельяновны пошел к Облеухову... Облеухова Василием звать, именинник... Не съешь именинного пирога — обидишь...

— Отставного военного и двух чиновников привезли! — докладывает городовой...

— Съел кусок пирога, выпил рябиновой и пошел на Садовую к Изюмову... У Изюмова холодного пива выпил... в горло ударило... От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карлычу... оттеда к дяде Петру Семенычу... Племянница Настя шоколатом попоила... Потом к Ляпкину зашел... нет, вру, не к Ляпкину, а к Дарье Никодимовне. От нее уж к Ляпкину пошел... Ну-с, и везде хорошо себя чувствовал... Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был, у полковника Порошкова был, и там себя хорошо чувствовал... У купца Дунькина был... Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел... Выпил я рюмки три... пару сосисок съел — и тоже ничего... Только уж потом, когда от Рыжова выходил, почувствовал в голове... мерцание... Ослабел... Не знаю, отчего...

— Вы утомились... Отдохните немного, и мы вас домой отправим...

— Нельзя мне домой...— стонет Синклетеев.— Нужно еще к зятю Кузьме Вавилычу сходить... к экзекутору, к Наталье Егоровне... У многих я еще не был...

— И не следует ходить.

— Нельзя... Как можно с Новым годом не поздравить? Нужно-с... Не сходи к Наталье Егоровне, так жить не захочешь... Уж вы меня отпустите, господин доктор, не невольте...

Синклетеев поднимается и тянется к одеже.

— Домой езжайте, если хотите,— говорит доктор,— но о визитах вам думать даже нельзя...

— Ничего-с, бог поможет...— вздыхает Синклетеев.— Я потихонечку пойду...

Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и, пошатываясь, выходит на улицу.

— Еще пятерых чиновников привезли! — докладывает городовой.— Куда прикажете положить?

Хмурое зимнее утро.

На гладкой и блестящей поверхности речки Быстрянки, кое-где посыпанной снегом, стоят два мужика: куцый Сережка и церковный сторож Матвей. Сережка, малый лет тридцати, коротконогий, оборванный, весь облезлый, сердито глядит на лед. Из его поношенного полушубка, словно на линяющем псе, отвисают клочья шерсти. В руках он держит циркуль, сделанный из двух длинных спиц. Матвей, благообразный старик, в новом тулупе и валенках, глядит кроткими голубыми глазами наверх, где на высоком, отлогом берегу живописно ютится село. В руках у него тяжелый лом.

— Что ж, это мы до вечера так будем стоять сложа руки? — прерывает молчание Сережка, вскидывая свои сердитые глаза на Матвея.— Ты стоять сюда пришел, старый шут, или работать?

— Так ты тово... показывай...— бормочет Матвей, кротко мигая глазами.

— Показывай... Все я: я и показывай, я и делай. У самих ума нет! Мерять чиркулем, вот нужно что! Не вымерявши, нельзя лед ломать. Меряй! Бери чиркуль!

Матвей берет из рук Сережки циркуль и неумело, топчась на одном месте и тыча во все стороны локтями, начинает выводить на льду окружность. Сережка презрительно щурит глаза и, видимо, наслаждается его застенчивостью и невежеством.

— Э-э-э! — сердится он.— И того уж не можешь! Сказано, мужик глупый, деревенщина! Тебе гусей пасти, а не Иордань делать! Дай сюда чиркуль! Дай сюда, тебе говорю!

Сережка рвет из рук вспотевшего Матвея циркуль и в одно мгновение, молодцевато повернувшись на одном каблуке, чертит на льду окружность. Границы для будущей Иордани уже готовы; теперь остается только колоть лед...

Но прежде чем приступить к работе, Сережка долго еще ломается, капризничает, попрекает:

— Я не обязан на вас работать! Ты при церкви служишь, ты и делай!

Он, видимо, наслаждается своим обособленным положением, в какое поставила его теперь судьба, давшая ему редкий талант — удивлять раз в год весь мир своим искусством. Бедному кроткому Матвею приходится выслушать от него много ядовитых, презрительных слов. Принимается Сережка за дело с досадой, с сердцем. Ему лень. Не успел он начертить окружность, как его уже тянет наверх в село пить чай, шататься, пустословить.

— Я сейчас приду...— говорит он, закуривая.— А ты тут пока, чем так стоять и считать ворон, принес бы на чем сесть, да подмети.

Матвей остается один. Воздух сер и неласков, но тих. Из-за разбросанных по берегу изб приветливо выглядывает белая церковь. Около ее золотых крестов не переставая кружатся галки. В сторону от села, где берег обрывается и становится крутым, над самой кручей стоит спутанная лошадь неподвижно, как каменная — должно быть, спит или задумалась.

Матвей стоит тоже неподвижно, как статуя, и терпеливо ждет. Задумчиво-сонный вид реки, круженье галок и лошадь нагоняют на него дремоту. Проходит час, другой, а Сережки все нет. Давно уже река подметена и принесен ящик, чтобы сидеть, а пьянчуга не показывается. Матвей ждет и только позевывает. Чувство скуки ему незнакомо. Прикажут ему стоять на реке день, месяц, год, и он будет стоять.

Наконец Сережка показывается из-за изб. Он идет вразвалку, еле ступая. Идти далеко, лень, и он спускается не по дороге, а выбирает короткий путь, сверху вниз по прямой линии, и при этом вязнет в снегу, цепляется за кусты, ползет на спине — и все это медленно, с остановками.

— Ты что же это? — набрасывается он на Матвея.— Что без дела стоишь? Когда же колоть лед?

Матвей крестится, берет в обе руки лом и начинает колоть лед, строго придерживаясь начерченной окружности. Сережка садится на ящик и следит за тяжелыми, неуклюжими движениями своего помощника.

— Легче у краев! Легче! — командует он.— Не умеешь, так не берись, а коли взялся, так делай. Ты!

Наверху собирается толпа. Сережка при виде зрителей еще больше волнуется.

— Возьму и не стану делать...— говорит он, закуривая вонючую папиросу и сплевывая.— Погляжу, как вы без меня тут. В прошлом годе в Костюкове Степка Гульков взялся по-моему Иордань строить. И что ж? Смех один вышел. Костюковские к нам же и пришли — видимо-невидимо! Изо всех деревень народу навалило.

— Потому, окроме нас, нигде настоящей Иордани...

— Работай, некогда разговаривать... Да, дед... Во всей губернии другой такой Иордани не найдешь. Солдаты сказывают, поди-ка поищи, в городах даже хуже. Легче, легче!

Матвей кряхтит и отдувается. Работа не легкая. Лед крепок и глубок; нужно его скалывать и тотчас же уносить куски далеко в сторону, чтобы не загромождать площади.

Но как ни тяжела работа, как ни бестолкова команда Сережки, к трем часам дня на Быстрянке уже темнеет большой водяной круг.

— В прошлом годе лучше было...— сердится Сережка.— И этого даже ты не мог сделать! Э, голова! Держат же таких дураков при храме божием! Ступай доску принеси колышки делать! Неси круг, ворона! Да того... хлеба захвати где-нибудь... огурцов, что ли.

Матвей уходит и немного погодя приносит на плечах громадный деревянный круг, покрашенный еще в прежние годы, с разноцветными узорами. В центре круга красный крест, по краям дырочки для колышков. Сережка берет этот круг и закрывает им прорубь.

— Как раз... годится... Подновим только краску, и за первый сорт... Ну, что ж стоишь? Делай аналой! Или того... ступай бревна принеси, крест делать...

Матвей, с самого утра ничего не евший и не пивший, опять плетется на гору. Как ни ленив Сережка, но колышки он делает сам, собственноручно. Он знает, что эти колышки обладают чудодейственной силою: кому достанется колышек после водосвятия, тот весь год будет счастлив. Такая ли работа неблагодарна?

Но самая настоящая работа начинается со следующего дня. Тут Сережка являет себя перед невежественным Матвеем во всем величии своего таланта. Его болтовне, попрекам, капризам и прихотям нет конца. Сколачивает Матвей из двух больших бревен высокий крест, он недоволен и велит переделывать. Стоит Матвей, Сережка сердится, отчего он не идет; он идет, Сережка кричит ему, чтобы он не шел, а работал. Не удовлетворяют его ни инструменты, ни погода, ни собственный талант; ничто не нравится.

Матвей выпиливает большой кусок льда для аналоя.

— Зачем же ты уголок отшиб? — кричит Сережка и злобно таращит на него глаза.— Зачем же ты, я тебя спрашиваю, уголок отшиб?

— Прости, Христа ради.

— Делай сызнова!

Матвей пилит снова... и нет конца его мукам! Около проруби, покрытой изукрашенным кругом, должен стоять аналой; на аналое нужно выточить крест и раскрытое евангелие. Но это не все. За аналоем будет стоять высокий крест, видимый всей толпе и играющий на солнце, как осыпанный алмазами и рубинами. На кресте голубь, выточенный из льда. Путь

от церкви к Иордани будет посыпан елками и можжевельником. Такова задача.

Прежде всего Сережка принимается за аналой. Работает он терпугом, долотом и шилом. Крест на аналое, евангелие и епитрахиль, спускающаяся с аналоя, удаются ему вполне. Затем приступает к голубю. Пока он старается выточить на лице голубя кротость и смиренномудрие, Матвей, поворачиваясь, как медведь, обделывает крест, сколоченный из бревен. Он берет крест и окунает его в прорубь. Дождавшись, когда вода замерзнет на кресте, он окунает его в другой раз, и так до тех пор, пока бревна не покроются густым слоем льда... Работа не легкая, требующая и избытка сил и терпения.

Но вот тонкая работа кончена. Сережка бегает по селу как угорелый. Он спотыкается, бранится, клянется, что сейчас пойдет на реку и сломает всю работу. Это он ищет подходящих красок.

Карманы у него полны охры, синьки, сурика, медянки; не заплатив ни копейки, он опрометью выбегает из одной лавки и бежит в другую. Из лавки рукой подать в кабак. Тут выпьет, махнет рукой и, не заплатив, летит дальше. В одной избе берет он свекловичных бураков, в другой луковичной шелухи, из которой делает он желтую краску. Он бранится, толкается, грозит и... хоть бы одна живая душа огрызнулась! Все улыбаются ему, сочувствуют, величают Сергеем Никитичем, все чувствуют, что художество есть не его личное, а общее, народное дело. Один творит, остальные ему помогают. Сережка сам по себе ничтожество, лентяй, пьянчуга и мот, но когда он с суриком или циркулем в руках, то он уже нечто высшее, божий слуга.

Настает крещенское утро. Церковная ограда и оба берега на далеком пространстве кишат народом. Все, что составляет Иордань, старательно скрыто под новыми рогожами. Сережка смирно ходит около рогож и старается побороть волнение. Он видит тысячи народа: тут много и из чужих приходов; все эти люди в мороз, по снегу прошли немало верст пешком только затем, чтобы увидеть его знаменитую Иордань.

Матвей, который кончил свое чернорабочее, медвежье дело, уже опять в церкви; его не видно, не слышно; про него уже забыли... Погода прекрасная... На небе ни облачка. Солнце светит ослепительно.

Наверху раздается благовест... Тысячи голов обнажаются, движутся тысячи рук,— тысячи крестных знамений!

И Сережка не знает, куда деваться от нетерпения. Но вот наконец звонят к «Достойно»; затем, полчаса спустя, на колокольне и в толпе заметно какое-то волнение. Из церкви одну за другою выносят хоругви, раздается бойкий, спешащий трезвон. Сережка дрожащей рукой сдергивает рогожи... и народ видит нечто необычайное. Аналой, деревянный круг, колышки и крест на льду переливают тысячами красок. Крест и голубь испускают из себя такие лучи, что смотреть больно... Боже милостивый, как хорошо! В толпе пробегает гул удивления и восторга; трезвон делается еще громче, день еще яснее. Хоругви колышутся и двигаются над толпой, точно по волнам. Крестный ход, сияя ризами икон и духовенства, медленно сходит вниз по дороге и направляется к Иордани. Машут колокольне руками, чтобы там перестали звонить, и водосвятие начинается. Служат долго, медленно, видимо стараясь продлить торжество и радость общей народной молитвы. Тишина.

Но вот погружают крест, и воздух оглашается необыкновенным гулом. Пальба из ружей, трезвон, громкие выражения восторга, крики и давка в погоне за колышками. Сережка прислушивается к этому гулу, видит тысячи устремленных на него глаз, и душа лентяя наполняется чувством славы и торжества.

НОЧЬ НА КЛАДБИЩЕ

Святочный рассказ

— Расскажите, Иван Иваныч, что-нибудь страшное!

Иван Иваныч покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал:

— Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания; был я, признаться, выпивши... Встречал я Новый год у одного своего старинного приятеля и нализался, как сорок тысяч братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже... По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег...

Итак, напился я с горя... Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейшая... Сам черт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаза выколи: глядишь-глядишь и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. Порол дождь... Холодный и резкий ветер выводил ужас-

ные нотки; он выл, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть; фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы... Бедная природа переживала фридрих-гераус...[1] Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойник, но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение...

«Жизнь — канитель...— философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь.— Пустое бесцветное прозябание... мираж... Дни идут за днями, годы за годами, а ты все такая же скотина, как и был... Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим... В конце концов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но, жалко, подлец, мало денег оставил!..»

Шел я с Мещанской на Пресню — дистанция для выпившего почтенная... Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел по тротуару, потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу: тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву...

Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой: сначала я встречал по дороге тускло горящие фонари, потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью... Вглядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра, я торопился... Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх... Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути.

— Извозчик! — закричал я.

Ответа не последовало... Тогда я порешил идти прямо, куда глаза глядят, зря, в надежде, что рано

---

[1] тошноту (от *нем.* Friedrich-heraus).

или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал... Навстречу мне дул резкий, холодный ветер, в глаза хлестал крупный дождь... То я бежал по тротуарам, то по дороге... Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно.

Иван Иваныч выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал:

— Не помню, как долго я бежал... Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет... Видеть его я не мог, а осязавши, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошлифованного... Я сел на него, чтобы отдохнуть... Не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что когда немного спустя я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что я сижу на могильной плите...

Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил... Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет... И представьте мой ужас! Это был деревянный крест...

«Боже мой, я попал на кладбище! — подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту.— Вместо того чтобы идти в Пресню, я побрел в Ваганьково!»

Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов... Свободен я от предрассудков и давно уже отделался от нянюшкиных сказок, но, очутившись среди безмолвных могил темною ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом и по спине разлился внутренний холод...

— Не может быть! — утешал я себя.— Это оптический обман, галлюцинация... Все это кажется мне оттого, что в моей голове сидят Депре, Бауэр и Арабажи... Трус!

И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги... Кто-то медленно шел, но...

то были не человеческие шаги... для человека они были слишком тихи и мелки...

«Мертвец»,— подумал я.

Наконец этот таинственный «кто-то» подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул... Засим я услышал вой... Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу... Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой! Я отупел и окаменел от ужаса... Депре, Бауэр и Арабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа... Мне казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое костлявое лицо, полусгнивший саван...

— Боже, хоть бы скорее утро,— молился я...

Но пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и не поддающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги... Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня... Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и, минуту спустя, холодная, костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо... Я потерял сознание.

Иван Иваныч выпил рюмку водки и крякнул.

— Ну? — спросили его барышни.

— Очнулся я в маленькой квадратной комнате... В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался рассвет... «Ну,— подумал я,— это, значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили...» Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса:

— Где ты его взял? — допрашивал чей-то бас.

— Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие,— отвечал другой бас,— где памятники и кресты выставлены. Гляжу, а он сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пес воет... Должно, выпивши...

Утром, когда я проснулся, меня выпустили...

К рассказу «Тоска».

Художники Кукрыниксы. 1941.

НЕУДАЧА

Илья Сергеич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, объяснение в любви; объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин.

— Клюет! — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки.— Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять... Накроем... Благословение образом свято и ненарушимо... Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает.

А за дверью происходил такой разговор:

— Оставьте ваш характер,— говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки.— Вовсе я не писал вам писем!

— Ну да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало.— Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?

— Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени... Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писа-

тель был, а совестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк.

— То Некрасов, а то вы... (вздох). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал!

— Стихи и я могу написать вам, ежели желаете.

— О чем же вы писать можете?

— О любви... о чувствах... о ваших глазах... Прочтете — очумеете... Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать?

— Велика важность!.. Да хоть сейчас целуйте!

Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом ручке.

— Снимай образ,— заторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнея от волнения и застегиваясь.— Идем! Ну!

И, не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь.

— Дети...— забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами.— Господь вас благословит, дети мои... Живите... плодитесь... размножайтесь...

— И... и я благословляю...— проговорила мамаша, плача от счастья.— Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище! — обратилась она к Щупкину.— Любите же мою дочь, жалейте ее...

Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова.

«Попался! Окрутили! — подумал он, млея от ужаса.— Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!»

И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «Берите, я побежден!»

— Бла...благословляю...— продолжал папаша и тоже заплакал.— Наташенька, дочь моя... становись рядом... Петровна, давай образ...

Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева.

— Тумба! — сердито сказал он жене.— Голова твоя глупая! Да нешто это образ?

— Ах, батюшки-светы!

Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен: мамаша впопыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал.

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

Рассказ

Помощник присяжного поверенного Пятеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка N., куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил на веки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение. Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренне мигал глазами и так чистосердечно, просто расписывал свою невинность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста (каковыми считал себя юный защитник) имели вид бесцеремонных натяжек, придирок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к черту.

Во-вторых, он, Пятеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно: заикался, путался в вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел. Язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою говорил он вяло, словно в тумане, глядя через головы присяжных. Говорил, и все время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно.

В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый, матерый адвокат, вели себя не товарищески. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника и если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражнять на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. В их речах слышались ирония и снисходительный тон. Говорили они и точно извинения просили, что защитник такой дурачок и барашек. Пяткин в конце концов не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю.

В-четвертых... Впрочем, если перечислять все то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, шестых... до сотых включительно...

«Позор... мерзость! — страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник.— Кончено! К черту адвокатура! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение... подальше от этих господ... подальше от этих дрязг».— Да езжай же, черт тебя возьми! — набросился он на возницу.— Что ты едешь, точно мертвого жениться везешь? Гони!

— Гони... гони...— передразнил возница.— Нешто не видишь, какая дорога? Черта погони, так и тот замучается. Это не погода, а наказание господне.

Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала заодно с Пяткиным. В воздухе, непроглядном, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный, влажный ветер. Шел дождь. Под колесами всхлипывал снег, мешавшийся с вязкою грязью. Буеракам, колдобинам и размытым мостикам не было конца.

— Зги не видать...— продолжал возница.— Этак мы и до утра не доедем. Придется на ночь у Луки остановиться.

— У какого Луки?

— Тут по дороге в лесу старик такой живет. Заместо лесника его держут. Да вот она и изба самая.

Послышался хриплый собачий лай, и между голыми ветками замелькал тусклый огонек. Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастною, глухою ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Пятеркиным. Когда телега остановилась у избы, из единственного окошечка которой робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче.

— Здорово, старик! — сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот.— Можно у тебя переночевать?

— Мо... можно...— проворчал Лука.— Тут уж есть двое... Пожалуйте в светелку...

Пятеркин нагнулся, вошел в светелку и... мизантропия воротилась к нему во всей своей силе. За маленьким столом, при свете сальной свечки, сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение: товарищ прокурора фон Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Пятеркину, они возвращались из N. и тоже попали к Луке. Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и привскочили.

— Коллега! Какими судьбами? — заговорили они.— И вас загнало сюда ненастье? Милости просим! Присаживайтесь.

Пятеркин думал, что, увидев его, они отвернутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством.

— Я не понимаю...— пробормотал он, с достоинством пожимая плечами.— После того, что между нами произошло, я... я даже удивляюсь!

Фон Пах удивленно поглядел на Пятеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу:

— Ну-с, читаю я дознание... А в дознании, батенька, противоречие на противоречии... Пишет, например, становой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла от гостей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя три версты пешком. Как она могла пройти

три версты пешком, если была мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие? А?

Пока фон Пах таким образом разглагольствовал, Пятеркин сел на скамью и принялся осматривать свое временное жилище... Лесной огонек поэтичен только издалека, вблизи же он — жалкая проза... Здесь освещал он маленькую, серую каморку с кривыми стенами и с закопченным потолком. В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь. На потолке по балкам тянулся длинный шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и две узкие, шаткие скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью.

«Свиньи...— подумал Пятеркин, косясь на своих врагов.— Оскорбили человека, втоптали его в грязь и беседуют теперь как ни в чем не бывало».

— Послушай,— обратился он к Луке,— нет ли у тебя другой комнаты? Я здесь не могу быть.

— Сени есть, да там холодно-с.

— Чертовски холодно...— проворчал Семечкин.— Знал бы, напитков и карт с собой захватил. Чаю напиться, что ли? Дедусь, сочини-ка самоварчик!

Через полчаса Лука подал грязный самовар, чайник с отбитым носиком и три чашки.

— Чай у меня есть...— сказал фон Пах.— Теперь бы только сахару достать... Дед, дай-ка сахару!

— Эва! Сахару...— ухмыльнулся в сенях Лука.— В лесу сахару захотели! Тут не город.

— Что ж? Будем пить без сахару,— решил фон Пах.

Семечкин заварил чай и налил три чашки.

«И мне налили...— подумал Пятеркин.— Очень нужно! Наплевали в рожу и потом чаем угощают. У этих людей просто самолюбия нет. Потребую у Луки еще чашку и буду одну горячую воду пить. Кстати же у меня есть сахар».

Четвертой чашки у Луки не оказалось. Пятеркин вылил из третьей чашки чай, налил в нее горячей воды и стал прихлебывать, кусая сахар. Услыхав

громкое кусанье, его враги переглянулись и прыснули.

— Ей-богу, это мило! — зашептал фон Пах.— У нас нет сахара, у него нет чая... Ха-ха... Весело! Какой же, однако, он еще мальчик! Верзила, а настолько еще сохранился, что умеет дуться, как институтка... Коллега! — повернулся он к Пятеркину.— Вы напрасно брезгаете нашим чаем... Он не из дешевых... А если вы не пьете из амбиции, то ведь за чай вы могли бы заплатить нам сахаром!

Пятеркин промолчал.

«Нахалы...—подумал он.— Оскорбили, оплевали и еще лезут! И это люди! Им, стало быть, нипочем те дерзости, которые я наговорил им в суде... Не буду обращать на них внимание... Лягу...»

Около печи на полу был расстелен тулуп... У изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой... Пятеркин растянулся на тулупе, положил свою горячую голову на подушку и укрылся шубой.

— Какая скучища! — зевнул Семечкин.— Читать холодно и темно, спать негде... Бррр!.. Скажите мне, Осип Осипыч, если, например, Лука пообедает в ресторане и не заплатит за это денег, то что это будет: кража или мошенничество?

— Ни то, ни другое... Это только повод к гражданскому иску...

Поднялся спор, тянувшийся полтора часа. Пятеркин слушал и дрожал от злости... Раз пять порывался он вскочить и вмешаться в спор.

«Какой вздор! — мучился он, слушая их.— Как отстали, как нелогичны!»

Спор кончился тем, что фон Пах лег рядом с Пятеркиным, укрылся шубой и сказал:

— Ну, будет... Мы своим спором не даем спать господину защитнику. Ложитесь...

— Он, кажется, уже спит...— сказал Семечкин, ложась по другую сторону Пятеркина.— Коллега, вы спите?

«Пристают...— подумал Пятеркин.— Свиньи...»

— Молчит, значит спит...— промычал фон Пах.— Ухитрился уснуть в этом хлеву... Говорят, что жизнь

юристов кабинетная... Не кабинетная, а собачья... Ишь ведь куда черти занесли! А мне, знаете ли, нравится наш сосед... как его?.. Шестеркин, что ли? Горячий, огневой.

— Мда... Лет через пять хорошим адвокатом будет... Есть у мальчика манера... Еще на губах молоко не обсохло, а уж говорит с завитушками и любит фейерверки пускать... Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал.

Близкое соседство врагов и их хладнокровный, снисходительный тон душили Пятеркина. Его распирало от злости и стыда.

— А с сахаром-то история...— ухмыльнулся фон Пах.— Сущая институтка! За что он на нас обиделся? Вы не знаете?

— А черт его знает...

Пятеркин не вынес. Он вскочил, открыл рот, чтобы сказать что-то, но мучения истекшего дня были уж слишком сильны: вместо слов из груди вырвался истерический плач.

— Что с ним? — ужаснулся фон Пах. — Голубчик, что с вами?

— Вы... вы больны? — вскочил Семечкин.— Что с вами? Денег у вас нет? Да что такое?

— Это низко... гадко! Целый день... целый день!

— Душенька моя, что гадко и низко? Осип Осипыч, дайте воды! Ангел мой, в чем дело? Отчего вы сегодня такой сердитый? Вы, вероятно, защищали сегодня в первый раз? Да? Ну, так это понятно! Плачьте, милый... Я в свое время вешаться хотел, а плакать лучше, чем вешаться. Вы плачьте, оно легче будет!

— Гадко... мерзко!

— Да ничего гадкого не было! Все было так, как нужно. И говорили вы хорошо, и слушали вас хорошо. Мнительность, батенька! Помню, вышел я в первый раз на защиту. Штанишки рыжие, фрачишко музыкант одолжил. Сижу я, и кажется мне, что над моими штанишками публика смеется. И подсудимый-то, выходит, меня надул, и прокурор глумится,

и сам-то я глуп. Чай, порешили уже адвокатуру к черту? Со всеми это бывает! Не вы первый, не вы последний. Не дешево, батенька, первый дебют стоит!

— А кто издевался? Кто... глумился?

— Никто! Вам только казалось это! Всегда дебютантам это кажется. Вам не казалось ли также, что присяжные глядели вам в глаза презрительно? Да? Ну, так и есть. Выпейте, голубчик. Укройтесь.

Враги укрыли Пятеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь. Страдания истекшего дня оказались пуфом.

ДЕТВОРА

Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать; но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрышки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка — копейка. Условие: если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафья Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить, а старший брат Вася, ученик V класса, лежит в гостиной на диване и скучает.

Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький, девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исклю-

чительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему сидеть спокойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка шести лет, с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках, играет в лото ради процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать — и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него не похитили его стеклышек и копеек. Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черномазый болезненный мальчик, в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию: сколько на этом свете разных цифр и как это они не перепутаются!

Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел практика выработ-

тала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семь у игроков называется кочергой, одиннадцать — палочками, семьдесят семь — Семен Семенычем, девяносто — дедушкой и т. д. Игра идет бойко.

— Тридцать два! — кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики.— Семнадцать! Кочерга! Двадцать восемь — сено косим!

Аня видит, что Андрей прозевал двадцать восемь. В другое время она указала бы ему на это, теперь же, когда на блюдечке вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует.

— Двадцать три! — продолжает Гриша.— Семен Семеныч! Девять!

— Прусак, прусак! — вскрикивает Соня, указывая на прусака, бегущего через стол.— Ай!

— Не бей его,— говорит басом Алеша.—У него, может быть, есть дети...

Соня провожает глазами прусака и думает о его детях: какие это, должно быть, маленькие прусачата!

— Сорок три! Один! — продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны.— Шесть!

— Партия! У меня партия! — кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча.

У партнеров вытягиваются физиономии.

— Проверить! — говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню.

На правах большого и самого умного Гриша забрал себе решающий голос. Что́ он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Соню, и, к величайшему сожалению ее партнеров, оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия.

— А что я вчера видела! — говорит Аня как бы про себя.— Филипп Филиппыч заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа.

— Я тоже видел,— говорит Гриша.— Восемь! А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать семь!

Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит:

— И я умею ушами шевелить...

— А ну-ка, пошевели!

Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех.

— Нехороший человек этот Филипп Филиппыч,— вздыхает Соня.— Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке... И мне стало так неприлично!

— Партия! — вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги.— У меня партия! Проверяйте, если хотите!

Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет.

— Мне, значит, уж больше нельзя играть,— шепчет он.

— Почему?

— Потому что... потому что у меня больше денег нет.

— Без денег нельзя! — говорит Гриша.

Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусанного карандашика, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет...

— Я за тебя поставлю! — говорит Соня, не вынося его мученического взгляда.— Только смотри, отдашь после.

Деньги взносятся, и игра продолжается.

— Кажется, где-то звонят,— говорит Аня, делая большие глаза.

Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы.

— Это послышалось.

— Ночью только на кладбище звонят...— говорит Андрей.

— А зачем там звонят?

— Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся.

— А для чего разбойникам в церковь забираться? — спрашивает Соня.

— Известно для чего: сторожей поубивать!

Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей.

— Он смошенничал,— басит ни с того ни с сего Алеша.

— Врешь, я не смошенничал!

Андрей бледнеет, кривит рот и — хлоп Алешу по голове! Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь,— хлоп Андрея по щеке! Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив: недоразумение было!

В столовую входит Вася, ученик V класса. Вид у него заспанный, разочарованный.

«Это возмутительно! — думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки.— Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать. Возмутительно!»

Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоседиться к ним и попытать счастья.

— Погодите, и я сяду играть,— говорит он.

— Ставь копейку!

— Сейчас,— говорит он, роясь в карманах.— У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль.

— Нет, нет, нет... копейку ставь!

— Дураки вы. Ведь рубль во всяком случае дороже копейки,— объясняет гимназист.— Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст.

— Нет, пожалуйста! Уходи!

Ученик V класса пожимает плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочи. В кухне не оказывается ни копейки.

— В таком случае разменяй мне,— пристает он к Грише, придя из кухни.— Я тебе промен заплачу. Не хочешь? Ну, продай мне за рубль десять копеек.

Гриша подозрительно косится на Васю: не подвох ли это какой-нибудь, не жульничество ли?

— Не хочу,— говорит он, держась за карман.

Вася начинает выходить из себя, браниться, называя игроков болванами и чугунными мозгами.

— Вася, да я за тебя поставлю! — говорит Соня.— Садись.

Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа.

— Копейку уронил! — заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом.— Постойте!

Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стукаются головами, но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках.

Но вот наконец копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру.

— Соня спит! — заявляет Алеша.

Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку.

— Поди на мамину постель ложись! — говорит Аня, уводя ее из столовой.— Иди!

Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же кстати заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи!

ОТКРЫТИЕ

Навозну кучу разрывая,
Петух нашел жемчужное зерно...

Крылов

Инженер статский советник Бахромкин сидел у себя за письменным столом и от нечего делать настраивал себя на грустный лад. Не далее как сегодня вечером, на бале у знакомых, он нечаянно встретился с барыней, в которую лет двадцать — двадцать пять тому назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, в которую так же легко было влюбиться, как наступить соседу на мозоль. Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было выстлано нежным голубым бархатом, и длинные, золотисто-каштановые волосы, похожие на поле поспевшей ржи, когда оно волнуется в бурю перед грозой... Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато, раз улыбнувшись — «пламя гаснущих свечей она улыбкой оживляла...» Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция с кислыми глазами и желтыми зубами... Фи!

«Возмутительно! — думал Бахромкин, водя машинально карандашом по бумаге.— Никакая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа. Знай тогда красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, она умерла бы от ужаса...»

Долго размышлял таким образом Бахромкин и вдруг вскочил, как ужаленный...

— Господи Иисусе! — ужаснулся он.— Это что за новости? Я рисовать умею?!

На листе бумаги, по которому машинально водил карандаш, из-за аляповатых штрихов и каракуль выглядывала прелестная женская головка, та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем рисунок хромал, но томный суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве...

— Что за оказия? — продолжал изумляться Бахромкин.— Я рисовать умею! Пятьдесят два года жил на свете, не подозревал в себе никаких талантов, и вдруг на старости лет — благодарю, не ожидал, талант явился! Не может быть!

Не веря себе, Бахромкин схватил карандаш и около красивой головки нарисовал голову старухи... Эта удалась ему так же хорошо, как и молодая...

— Удивительно! — пожал он плечами.— И как недурно, черт возьми! Каков? Стало быть, я художник! Значит, во мне призвание есть! Как же я этого раньше не знал? Вот диковина!

Найди Бахромкин у себя в старом жилете деньги, получи известие, что его произвели в действительные статские, он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв в себе способность творить. Целый час провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, лошадей...

— Превосходно! Браво! — восхищался он.— Поучиться бы только технике, совсем бы отлично было.

Рисовать дольше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином. Съевши рябчика и выпив два стакана бургонского, Бахромкин раскис и задумался... Вспомнил он, что за все пятьдесят два года он ни разу и не помыслил даже о существовании в себе какого-либо таланта. Правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвизался на любительской сцене, играл, пел, малевал декорации... Потом, до самой старости, он не переставал читать, любить театр, записывать на память хорошие стихи... Острил он удачно, говорил

хорошо, критиковал метко... Огонек, очевидно, был, но всячески заглушался суетою...

«Чем черт не шутит,— подумал Бахромкин,— может быть, я еще умею стихи и романы писать? В самом деле, что, если бы я открыл в себе талант в молодости, когда еще не поздно было, и стал бы художником или поэтом? А?»

И перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее с жизнями обыкновенных смертных совсем невозможно.

«Правы люди, что не дают *им* чинов и орденов...— подумал он.— Они стоят вне всяких рангов и капитулов... Да и судить-то об их деятельности могут только избранные...»

Тут же кстати Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого... Его мать, нервная, эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» — удивился он. «Это поэт!» — ответила она. И она, по его мнению, права... Поцелуй она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, хуже которого для развитой женщины и придумать нельзя, поцеловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно...

«Вольная жизнь, не будничная...— думал Бахромкин, идя к постели.— А слава, известность? Как я широко ни шагай по службе, на какие ступени ни взбирайся, а имя мое не пойдет дальше муравейника... У них же совсем другое... Поэт или художник спит или пьянствует себе безмятежно, а в это время незаметно для него в городах и весях зубрят его стихи или рассматривают картинки... Не знать их имен считается невоспитанностью, невежеством... моветонством... [1]»

Окончательно раскисший Бахромкин опустился на кровать и кивнул лакею... Лакей подошел к нему и принялся осторожно снимать с него одежду за одеждой.

---

[1] дурным тоном (от *франц.* mauvais ton).

«Мда... необыкновенная жизнь... Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидия и Гомера всегда будут помнить... На что плох Тредьяковский, и того помнят... Бррр... Холодно!.. А что, если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?»

Пока лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину... Вот он, художник или поэт, темною ночью плетется к себе домой... Лошадей у талантов не бывает; хочешь не хочешь, иди пешком... Идет он жалкенький, в порыжелом пальто, быть может, даже без калош... У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар; эта грубая скотина отворяет дверь и не глядит... Там, где-то в толпе, имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло ни холодно: швейцар не вежливее, прислуга не ласковее, домочадцы не снисходительнее... Имя в почете, но личность в забросе... Вот он, утомленный и голодный, входит наконец к себе в темный и душный номер... Ему хочется есть и пить, но рябчиков и бургонского — увы! — нет... Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей... Воду наливай себе сам, раздевайся сам... ходи босиком по холодному полу... В конце концов он, дрожа, засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей... что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем — чековой книжки...

Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым одеялом.

«Ну его к черту! — подумал он, нежась и сладко засыпая.— Ну его... к... черту... Хорошо, что я... в молодости не тово... не открыл...»

Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел.

ТОСКА

Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона.— Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный.— Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы.— Куда черти несут? Прправа держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный.— Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

— А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках.— Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай...— говорит седок.— Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его

на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач.— Троих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак — для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы.— Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

— Гы-ы... гы-ы...— хохочет Иона.— Какая есть...

— Ну, ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит...— говорит один из длинных.— Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачем врать! — сердится другой длинный.— Врет, как скотина.

— Накажи меня бог, правда...

— Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона.— Ве-еселые господа!

— Тьфу, чтоб тебя черти!..— возмущается горбач.— Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длинные

начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

— Все помрем...— вздыхает горбач, вытирая после кашля губы.— Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

— А ты его легонечко подбодри... в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

— Гы-ы...— смеется он.— Веселые господа... дай бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена — сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему невмоготу.

«Ко двору,— думает он.— Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил,— думает он.— Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что́ говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть,— думает Иона.— Спать всегда успеешь... Небось выспишься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза.— Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Теперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей все...

НОЧЬ ПЕРЕД СУДОМ

Рассказ подсудимого

— Быть, барин, беде! — сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу.

Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в с — ий окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли,— до того я озяб, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня станционный смотритель, высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему нюхать.

А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в станционные «покои» и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного клопа,— и я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные некрашеные стены, коптила, как лучина.

— Да и вонь же у вас, синьор! — сказал я, входя и кладя чемодан на стол.

Смотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой.

— Пахнет, как обыкновенно,— сказал он и почесался.— Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут.

Я услал смотрителя и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит клеенкой и был холоден, как лед. Кроме дивана, в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Снявши сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги... Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть, но тут случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно упал на ширмы и... представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки — стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взор, я смирнехонько направился к дивану, лег и укрылся шубой.

«Какая оказия! — подумал я.— Значит, она видела, как я прыгал! Нехорошо...»

И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнее затеснились в моем воображении, и... и, словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело: запахло раздавленным клопом.

— Это черт знает, что такое! — услышал я в то же время женский голосок.— Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня!

Гм!.. Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не изменил этой привычке. Жестянка с порошком

была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от «энциклопедии» и — знакомство готово. Но как предложить?

— Это ужасно!

— Сударыня,— сказал я возможно сладеньким голосом.— Насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то...

— Ах, пожалуйста!

— В таком случае я сейчас... надену только шубу,— обрадовался я,— и принесу...

— Нет, нет... Вы через ширму подайте, а сюда не ходите!

— Я и сам знаю, что через ширму. Не пугайтесь: не башибузук какой-нибудь...

— А кто вас знает! Народ вы проезжий...

— Гм!.. А хоть бы и за ширму... Тут ничего нет особенного... тем более что я доктор,— солгал я,— а доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.

— Вы правду говорите, что вы доктор? Серьезно?

— Честное слово. Так позволите принести вам порошок?

— Ну, если вы доктор, то пожалуй... Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам... Федя! — сказала брюнетка, понизив голос.— Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и поди за ширму. Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку.

Присутствие за ширмой «Феди» было для меня ошеломляющею новостью. Меня словно обухом ударило... Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делает осечку: и совестно, и досадно, и жалко... На душе у меня стало так скверно и таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал караул. Федя изображал из себя высокого жилистого человека, лет пятидесяти, с седыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и с синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях.

— Вы очень любезны, доктор...— сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы.— Mercі... И вас застала пурга?

— Да! — проворчал я, ложась на диван и остервенело натягивая на себя шубу.— Да!

— Так-с... Зиночка, по твоему носику клопик бежит! Позволь мне снять его!

— Можешь,— засмеялась Зиночка.— Не поймал! Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь!

— Зиночка, при постороннем человеке... (вздох). Вечно ты... Ей-богу...

— Свиньи, спать не дают! — проворчал я, сердясь сам не зная чего.

Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час... и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочались и стали шепотом браниться.

— Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет! — проворчал Федя.— Так их много, этих клопов! — Доктор! Зиночка просит меня спросить вас: отчего это клопы так мерзко пахнут?

Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии; поговорили об Эдисоне...

— Ты, Зиночка, не стесняйся... Ведь он доктор! — услышал я шепот после разговора об Эдисоне.— Не церемонься и спроси... Бояться нечего. Шервецов не помог, а этот, может быть, и поможет.

— Спроси сам! — прошептала Зиночка.

— Доктор,— обратился ко мне Федя,— отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли... теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то...

— Это длинный разговор, сразу нельзя сказать...— попытался я увернуться.

— Ну, так что ж, что длинный? Время есть... все одно не спим... Посмотрите ее, голубчик! Надо вам заметить, лечит ее Шервецов... Человек-то он хороший, но... кто его знает? Не верю я ему! Не верю! Вижу, вам не хочется, но будьте так добры! Вы ее посмот-

рите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить.

Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок.

— Покажите язык! — начал я, садясь около нее и хмуря брови.

Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.

— Гм...— промычал я, не найдя пульса.

Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся личико, помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов.

Наконец я сидел в компании Феди и Зиночки за самоваром; надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки:

Rp. Sic transit 0,05
Gloria mundi 1,0
Aquae destillatae 0,1 [1]
Через два часа по столовой ложке.
Г-же Съеловой.
Д-р Зайцев.

Утром, когда я, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убеждал:

— Нет, вы обязаны взять! Я привык платить за всякий честный труд! Вы учились, работали! Ваши знания достались вам пóтом и кровью! Я понимаю это!

Нечего было делать, пришлось взять десятирублевку.

Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь и судебный

---

[1] Возьми: Так проходит 0,05
Мирская слава 1,0
Дестиллированной воды 0,1 *(лат.)*.

пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз; и я прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно важные физиономии присяжных...

Но я не могу описать, а вы представить себе, моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте — кого бы вы думали? — Федю! Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый Ледовитый океан пробежал по моей спине... Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла... рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами...

— Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч.,— начал председатель.

Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу.

«Ну, быть бане!» — подумал я.

По всем признакам, прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал...

Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда, во время обеденного перерыва... Сейчас будет речь прокурора.

Что-то будет?

ПЕРЕПОЛОХ

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак.

Сверху доносился шум.

«Вероятно, с хозяйкой припадок...— подумала Машенька,— или с мужем поссорилась...»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен. Его передергивало... Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул:

— О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!

Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и

вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки... Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала:

— Pardon [1], я... я нечаянно рассыпала... зацепила рукавом...

И сказав еще что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха... Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель — все носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но к чему он, зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который все еще продолжался, заплаканную горничную; не имело ли все это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем.

В комнату вошла горничная.

— Лиза, вы не знаете, зачем это меня... обыскивали? — спросила у нее гувернантка.

— У барыни пропала брошка в две тысячи...— сказала Лиза.

— Да, но зачем же меня обыскивать?

— Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... Нас раздевали всех догола и обыскивали...

---

[1] Извините *(франц.)*.

А я, барышня, вот как перед богом... Не то, чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.

— Но... зачем же меня обыскивать? — продолжала недоумевать гувернантка.

— Брошку, говорю, украли... Барыня сама своими руками все обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли! Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

— Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно! — сказала Машенька, задыхаясь от негодования.—Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?

— В чужих людях живете, барышня,— вздохнула Лиза.— Хоть вы и барышня, а все же... как бы прислуга... Это не то, что у папаши с мамашей жить...

Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над нею не совершали такого насилия, никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь... Ее, благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх: что теперь будет?! В голову ее полезли всякие несообразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам...— думала Машенька дрожа.— Я объясню им, присягну... Они поверят, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой

институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого — от страха, стыда, от обиды — началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

— Пожалуйте кушать! — позвали Машеньку.

«Идти или нет?»

Машенька поправила прическу, утерлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать... За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, серьезным лицом, за другим — Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.

— Что у нас к третьему блюду? — спросила она у лакея томным, страдальческим голосом.

— Эстуржон а ля рюсс! [1] — ответил лакей.

— Это, Феня, я заказал...— поторопился сказать Николай Сергеич.— Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, ma chère [2], то пусть не подают. Я ведь это так... между прочим...

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами.

— Ну, перестанем волноваться,— сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь так же сладко.— Мы и без того достаточно нервны. Забудем о броши! Здоровье дороже двух тысяч!

— Мне не жалко двух тысяч! — ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке.— Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня—

---

[1] Осетрина по-русски (от *франц.* de l'esturgeon à la russe).

[2] моя дорогая *(франц.)*.

это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту...

Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

— Pardon,— пробормотала она.— Я не могу. Голова болит. Уйду.

И она встала из-за стола, неловко гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла.

— Бог знает что! — проговорил Николай Сергеич морщась.— Нужно было делать у нее обыск! Как это, право... некстати.

— Я не говорю, что она взяла брошку,— сказала Федосья Васильевна,— но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым беднячкам.

— Право, Феня, некстати... Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.

— Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка, вот и все. И я найду эту брошку! — она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули.— А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ею в лицо этой самодурке. Если бы бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню. О, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить с шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала!

Но все это мечты, в действительности же оставалось только одно — поскорее уйти, не оставаться

здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что, кажется, все на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

— Можно войти? — спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно и говорил тихим, мягким голосом.— Можно?

— Войдите.

Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло, и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

— Это что же? — спросил он, указывая на корзину.

— Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу долее оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск!

— Я понимаю... Только вы это напрасно... Зачем? Обыскали, а вы того... что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал заискивающим голосом:

— Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго...

Машенька молчала.

— Если уж вы так оскорблены,— продолжал Николай Сергеич,— то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека

даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.

— Гм... Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены... Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин...

Николай Сергеич прошелся, вздохнул и продолжал:

— Вам надо еще, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под сердцем... Вам надо, чтобы меня совесть мучила...

— Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты,— сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами.— Зачем же вам мучиться?

— Конечно... Но вы все-таки того... не уезжайте... Прошу вас.

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.

— Для меня подобные недоразумения — это чистая пытка,— проговорил он.— Что же, мне на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже пред смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.

— Я взял у жены брошку! — быстро сказал Николай Сергеич.— Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я... взял... Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность... Ради бога, никому ни слова, ни полнамека!

Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеичем, она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.

— И удивляться нечего... — продолжал Николай Сергеич, помолчав немного.— Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она... не дает. Ведь этот дом и все это мой отец наживал, Марья Андреевна! Все ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и... все мое! А она забрала, завладела всем... Не судиться же мне с ней, согласитесь... Прошу вас убедительно, извините и... и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner [1]. Остаетесь?

— Нет! — сказала Машенька решительно, начиная дрожать.— Оставьте меня, умоляю вас.

— Ну, бог с вами,— вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана.— Я, признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел... Так, стало быть, не остаетесь? Я понимаю... Иначе и быть не должно... Да, конечно... Вам-то хорошо, а вот мне так — тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины прохвосты... управляющие, агрономы, черт бы их взял. Закладывают, перезакладывают... Рыбы не ловить, травы не топтать, деревьев не ломать.

— Николай Сергеич! — послышался из залы голос Федосьи Васильевны.— Агния, позови барина!

— Так не остаетесь? — спросил Николай Сергеич, быстро поднимаясь и идя к двери.— А то бы остались, ей-богу. Вечерком я заходил бы к вам... толковали бы. А? Останьтесь! Уйдете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.

Через полчаса она была уже в дороге.

---

[1] Все понять, все простить *(франц.)*.

БЕСЕДА ПЬЯНОГО С ТРЕЗВЫМ ЧЕРТОМ

Бывший чиновник интендантского правления, отставной коллежский секретарь Лахматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него черт... Но не пугайтесь, читательница. Вы знаете, что такое черт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными, выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки... Прическа à la Капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой... Вместо пальцев — когти, вместо ног — лошадиные копыта. Лахматов, увидев черта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился.

— С кем я имею честь говорить? — обратился он к непрошеному гостю.

Черт сконфузился и потупил глазки.

— Вы не стесняйтесь,— продолжал Лахматов.— Подойдите ближе... Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренне... по душе... Кто вы?

Черт нерешительно подошел к Лахматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился.

— Я черт, или дьявол...— отрекомендовался он.— Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии господина Сатаны!

— Слышал, слышал... Очень приятно. Садитесь! Не хотите ли водки? Очень рад... А чем вы занимаетесь?

Черт еще больше сконфузился...

— Собственно говоря, занятий у меня определенных нет...— ответил он, в смущении кашляя и сморкаясь в «Ребус».— Прежде действительно у нас было занятие... Мы людей искушали... совращали их с пути добра на стезю зла... Теперь же это занятие, антр-ну-суади[1], и плевка не стоит... Пути добра нет уже, не с чего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас... Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел! Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?

— Это так... Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь?

— Да... Прежняя должность наша теперь может быть только номинальной, но мы все-таки имеем работу... Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала... В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. Ни рожна мы в этом не смыслим... Многие из нас сотрудничают в «Ребусе», есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди... Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты, вообще очень дельные и уважаемые люди!

— Извините за нескромный вопрос: какое содержание вы получаете?

— Положение у нас прежнее-с...— ответил черт.— Штат нисколько не изменился... По-прежнему кварти-

---

[1] между нами будь сказано (от *франц.* entre nous soit dit).

ра, освещение и отопление казенные... Жалованья же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому, что черт — должность почетная... Вообще, откровенно говоря, плохо живется, хоть по миру иди... Спасибо людям, научили нас взятки брать, а то бы давно уже мы переколели... Только и живем доходами... Поставляешь грешникам провизию, ну и... хапнешь... Сатана постарел, ездит все на Цукки смотреть, не до отчетности ему теперь...

Лахматов налил черту рюмку водки. Тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал и так понравился Лахматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез.

АКТЕРСКАЯ ГИБЕЛЬ

Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой, «вдрызг» поругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар руготни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Антрепренер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего объяснения начинал истерически хохотать и падать в обморок, но Щипцов на сей раз не стал дожидаться такого конца и поспешил восвояси. Брань и ощущение разрыва в груди так взволновали его, что, уходя из театра, он забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду.

Придя к себе в номер, Щипцов долго шагал из угла в угол, потом сел на кровать, подпер голову кулаками и задумался. Не шевелясь и не издав ни одного звука, просидел он таким образом до двух часов другого дня, когда в его номер вошел комик Сигаев.

— Ты что же это, Шут Иванович, на репетицию не приходил? — набросился на него комик, пересиливая одышку и наполняя номер запахом винного перегара.— Где ты был?

Щипцов ничего не ответил и только взглянул на комика мутными подкрашенными глазами.

— Хоть бы рожу-то вымыл! — продолжал Сигаев.— Стыдно глядеть! Ты натрескался или... болен,

что ли? Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю: ты болен?

Щипцов молчал. Как ни была опачкана его физиономия, но комик, вглядевшись попристальнее, не мог не заметить поразительной бледности, пота и дрожания губ. Руки и ноги тоже дрожали, да и все громадное тело верзилы-простака казалось помятым, приплюснутым. Комик быстро оглядел номер, но не увидел ни штофов, ни бутылок, ни другой какой-либо подозрительной посуды.

— Знаешь, Мишутка, а ведь ты болен! — встревожился он.— Накажи меня бог, ты болен! На тебе лица нет!

Щипцов молчал и уныло глядел в пол.

— Это ты простудился! — продолжал Сигаев, беря его за руку.— Ишь какие руки горячие! Что у тебя болит?

— До... домой хочу,— пробормотал Щипцов.

— А ты нешто сейчас не дома?

— Нет... в Вязьму...

— Эва, куда захотел! До твоей Вязьмы и в три года не доскачешь... Что, к папашеньке и мамашеньке захотелось? Чай, давно уж они у тебя сгнили и могилок их не сыщешь...

— У меня там ро... родина...

— Ну, нечего, нечего мерлехлюндию распускать. Эта психопатия чувств, брат, последнее дело... Выздоравливай, да завтра тебе нужно в «Князе Серебряном» Митьку играть. Больше ведь некому. Выпей-ка чего-нибудь горячего да касторки прими. Есть у тебя деньги на касторку? Или постой, я сбегаю и куплю.

Комик пошарил у себя в карманах, нашел пятиалтынный и побежал в аптеку. Через четверть часа он вернулся.

— На, пей! — сказал он, поднося ко рту благородного отца склянку.— Пей прямо из пузырька... Разом! Вот так... На, теперь гвоздичкой закуси, чтоб душа этой дрянью не провоняла.

Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел. К вечеру забегал к

Щипцову jeune premier[1] Брама-Глинский. Даровитый артист был в прюнелевых полусапожках, имел на левой руке перчатку, курил сигару и даже издавал запах гелиотропа, но тем не менее все-таки сильно напоминал путешественника, заброшенного в страну, где нет ни бань, ни прачек, ни портных...

— Ты, я слышал, заболел? — обратился он к Щипцову, перевернувшись на каблуке.— Что с тобой? Ей-богу, что с тобой?..

Щипцов молчал и не шевелился.

— Что же ты молчишь? Дурнота в голове, что ли? Ну, молчи, не стану приставать... молчи...

Брама-Глинский (так он зовется по театру, в паспорте же он значится Гуськовым) отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу. Перед его глазами расстилалась громадная пустошь, огороженная серым забором, вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то заброшенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая галка. Вся эта скучная, безжизненная картина начинала уже подергиваться вечерними сумерками.

— Домой надо! — услышал jeune premier.

— Куда это домой?

— В Вязьму... на родину...

— До Вязьмы, брат, тысяча пятьсот верст...— вздохнул Брама-Глинский, барабаня по стеклу.— А зачем тебе в Вязьму?

— Там бы помереть...

— Ну, вот еще, выдумал! Помереть... Заболел первый раз в жизни и уж воображает, что смерть пришла... Нет, брат, такого буйвола, как ты, никакая холера не проберет. До ста лет проживешь... Что у тебя болит?

— Ничего не болит, но я... чувствую...

— Ничего ты не чувствуешь, а все это у тебя от лишнего здоровья. Силы в тебе бушуют. Тебе бы теперь дербалызнуть хорошенечко, выпить этак, зна-

---

[1] Театральное амплуа первого любовника *(франц.)*.

ешь, чтобы во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает... Помнишь, как ты в Ростове-на-Дону насвистался? Господи, даже вспомнить страшно! Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли, а ты его один выпил да потом еще за ромом послал... Допился до того, что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить...

Под влиянием таких приятных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось и глаза заблестели.

— А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил? — забормотал он, поднимая голову.— Да что говорить! Бил я на своем веку тридцать трех антрепренеров, а что меньшей братии, то и не упомню. И каких антрепренеров-то бил! Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться! Двух знаменитых писателей бил, одного художника!

— Что ж ты плачешь?

— В Херсоне лошадь кулаком убил. А в Таганроге напали раз на меня ночью жулики, человек пятнадцать. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной да просят: «Дяденька, отдай шапку!» Такие-то дела.

— Что ж ты, дурило, плачешь?

— А теперь шабаш... чувствую. В Вязьму бы ехать!

Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный.

— Прощай! В Вязьму еду! — проговорил он, покачиваясь.

— А деньги на дорогу?

— Гм!.. Я пешком пойду!

— Ты ошалел...

Оба взглянули друг на друга, вероятно потому, что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль — о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах.

— Нет, ты, я вижу, спятил! — решил jeune premier.— Вот что, брат... Первым делом ложись, потом

выпей коньяку с чаем, чтоб в пот ударило. Ну, и касторки, конечно. Постой, где бы коньяку взять?

Брама-Глинский подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой, попытать ее насчет кредита: авось баба сжалится — отпустит в долг! Jeune premier отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с касторкой. Щипцов по-прежнему сидел неподвижно на кровати, молчал и глядел в пол. Предложенную товарищем касторку он выпил, как автомат, без участия сознания. Как автомат, сидел он потом за столом и пил чай с коньяком. Машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Jeune premier укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел.

Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок, потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром, часов в девять, прибежал антрепренер Жуков.

— Что это вы, ангел, хворать вздумали? — закудахтал он, морща нос.— Ай, ай! Нешто при вашей комплекции можно хворать? Стыдно, стыдно! А я, знаете, испугался! Ну, неужели, думаю, на него наш разговор подействовал? Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели! Ведь и вы меня, тово... И к тому же между товарищами не может быть без этого. Вы меня там и ругали и... с кулаками даже лезли, а я вас люблю! Ей-богу, люблю! Уважаю и люблю! Ну, вот объясните, ангел, за что я вас так люблю? Не родня вы мне, не сват, не жена, а как узнал, что вы прихворнули,— словно кто ножом резанул.

Жуков долго объяснялся в любви, потом полез целоваться и в конце концов так расчувствовался, что начал истерически хохотать и хотел даже упасть в обморок, но, спохватившись, вероятно, что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая и уехал.

Вскоре после него явился трагик Адабашев, личность тусклая, подслеповатая и говорящая в нос... Он долго глядел на Щипцова, долго думал и вдруг сделал открытие:

— Знаешь что, Мифа? — спросил он, произнося в нос вместо ш — ф и придавая своему лицу таинственное выражение.— Знаешь что?! Тебе нужно выпить касторки!!

Щипцов молчал. Молчал он и немного погодя, когда трагик вливал ему в рот противное масло. Часа через два после Адабашева пришел в номер театральный парикмахер Евлампий, или, как называли его почему-то актеры, Риголетто. Он тоже, как и трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно, с расстановкой начал развязывать принесенный им узел. В узле было десятка два банок и несколько пузырьков.

— Послали б за мной, и я б вам давно банки поставил! — сказал он нежно, обнажая грудь Щипцова.— Запустить болезнь нетрудно!

Засим Риголетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл ее всю кровососными банками.

— Да-с...— говорил он, увязывая после этой операции свои орудия, обагренные кровью Щипцова.— Прислали бы за мной, я и пришел бы... Насчет денег беспокоиться нечего... Я из жалости... Где вам взять, ежели тот идол платить не хочет? Таперя вот извольте капель этих принять. Вкусные капли! А таперя извольте маслица выпить. Касторка самая настоящая. Вот так! На здоровье! Ну, а таперя прощайте-с...

Риголетто взял свой узел и, довольный, что помог ближнему, удалился.

Утром следующего дня комик Сигаев, зайдя к Щипцову, застал его в ужаснейшем состоянии. Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мял скомканное одеяло.

— В Вязьму! — зашептал он, увидав комика.— В Вязьму!

— Вот это, брат, уж мне и не нравится! — развел руками комик.— Вот... вот... вот это, брат, и нехорошо! Извини, но... даже, брат, глупо...

— В Вязьму надо! Ей-богу, в Вязьму!

— Не... не ожидал от тебя!..— бормотал совсем растерявшийся комик.— Черт знает! Чего ради раскрасился! Э... э... э... и нехорошо! Верзила, с каланчу ростом, а плачешь. Нешто актеру можно плакать?

— Ни жены, ни детей,— бормотал Щипцов.— Не идти бы в актеры, а в Вязьме жить! Пропала, Семен, жизнь! Ох, в Вязьму бы!

— Э... э... э... и нехорошо! Вот и глупо... подло даже!

Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал утешать Щипцова, врать ему, что товарищи порешили его на общий счет в Крым отправить и проч., но тот не слушал и все бормотал про Вязьму... Наконец комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму.

— Хороший город! — утешал он.— Отличный, брат, город! Пряниками прославился. Пряники классические, но — между нами говоря — того... подгуляли. После них у меня целую неделю потом был того... Но что там хорошо, так это купец! Всем купцам купец. Уж коли угостит тебя, так угостит!

Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой.

К вечеру он умер.

ПАНИХИДА

В церкви Одигитриевской Божией Матери, что в селе Верхних Запрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валит из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреич, верхнезапрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства: смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом. На нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки навыпуск и солидные калоши, те самые громадные, неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных.

Его заплывшие, ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дьячка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего ктитору просфору... Все это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев... Несколько, впрочем, странно и необыденно только одно: у северной двери стоит отец Григорий, еще не снимав-

ший облачения, и сердито мигает своими густыми бровями.

«Кому это он мигает, дай бог ему здоровья? — думает лавочник.— А, и пальцем закивал! И ногой топнул, скажи на милость... Что за оказия, мать царица? Кому это он?»

Андрей Андреич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек десять, да и те стоят спиной к алтарю.

— Иди же, когда зовут! Что стоишь, как изваяние? — слышит он сердитый голос отца Григория.— Тебя зову!

Лавочник глядит на красное, разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что миганье бровей и киванье пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю.

— Андрей Андреич, это ты подавал на проскомидию за упокой Марии? — спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное вспотевшее лицо.

— Точно так.

— Так, стало быть, ты это написал? Ты?

И отец Григорий сердито тычет к глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреичем на проскомидию вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами написано:

«За упокой рабы божией блудницы Марии».

— Точно так... я-с написал...— отвечает лавочник.

— Как же ты смел написать это? — протяжно шепчет батюшка, и в его сиплом шепоте слышатся гнев и испуг.

Лавочник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается: отродясь еще отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами! Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавочника так велико, что жирное лицо его расползается во все стороны, как пролитое тесто.

— Как ты смел? — повторяет батюшка.

— Ко... кого-с? — недоумевает Андрей Андреич.

— Ты не понимаешь?! — шепчет отец Григорий, в изумлении делая шаг назад и всплескивая руками.— Что же у тебя на плечах: голова или другой какой предмет? Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно! Что глаза пучишь? Нешто не знаешь, какой смысл имеет это слово?

— Это вы касательно блудницы-с? — бормочет лавочник, краснея и мигая глазами.— Но ведь господь, по благости своей, тово... это самое, простил блудницу... место ей уготовал, да и из жития преподобной Марии Египетской видать, в каких смыслах это самое слово, извините...

Лавочник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом.

— Вот как ты понимаешь! — всплескивает руками отец Григорий.— Но ведь господь простил — понимаешь? — простил, а ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь, да еще кого! Усопшую дочь родную! Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь! Повторяю тебе, Андрей: мудрствовать не нужно! Да, мудрствовать, брат, не нужно! Коли дал тебе бог испытующий разум и ежели ты не можешь управлять им, то лучше уж не вникай... Не вникай и молчи!

— Но ведь она тово... извините, актерка была! — выговаривает ошеломленный Андрей Андреич.

— Актерка! Да кто бы она ни была, ты все после ее смерти забыть должен, а не то что на записках писать!

— Это точно...— соглашается лавочник.

— Наложить бы на тебя эпитимию,— басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреича,— так перестал бы умствовать! Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали. Филозоф!

— Оно, конечно... действительно...— бормочет лавочник,— слово не подходящее, но я не для осуждения, отец Григорий, а хотел по-божественному.., чтоб

вам видней было, за кого молить. Пишут же в поминальницах названия разные, вроде там младенца Иоанна, утопленницы Пелагеи, Егора воина, убиенного Павла и прочее разное. Так и я желал.

— Неразумно, Андрей! Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли по примеру прочих. Положи десять поклонов и ступай.

— Слушаю,— говорит лавочник, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства.— Десять поклонов? Очень хорошо-с, понимаю. А теперь, батюшка, дозвольте к вам с просьбой... Потому, как я все-таки отец ей... сами знаете, а она мне, какая там ни на есть, все-таки дочь, то я тово... извините, собираюсь просить вас сегодня отслужить панихиду. И вас дозвольте просить, отец дьякон!

— Вот это хорошо! — говорит отец Григорий разоблачаясь.— За это хвалю. Можно одобрить... Ну, ступай! Мы сейчас выйдем.

Андрей Андреич солидно шагает от алтаря и красный, с торжественно-панихидным выражением лица останавливается посреди церкви. Сторож Матвей ставит перед ним столик с коливом, и немного погодя панихида начинается.

В церкви тишина. Слышен только металлический звук кадила да протяжное пение... Возле Андрея Андреича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукий Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо, неприятным глухим басом, но напев и слова так печальны, что лавочник мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою Машутку... Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрудских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов-лакеев, в белом теле, около барышень. Господа от нечего делать выучили ее читать, писать, танце-

вать, он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка разве, случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворот или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. О, и тогда еще он слыл за знатока уставов и священного писания! Девочка, как ни хмуро и ни солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним зевая, но зато, когда он, заикаясь и стараясь выражаться пофигуристее, начинал рассказывать ей истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исава, казнь Содома и бедствия маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза.

Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву...

За три года до своей смерти она приезжала к отцу. Он едва узнал ее. Это была молодая стройная женщина, с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса!» Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не глядя друг на друга, они прожили недели две, до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца пойти погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было гулять среди бела дня, на глазах всего честного народа с дочкой актрисой, но он уступил ее просьбам...

— Какие чудные у вас места! — восхищалась она гуляя.— Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!

И она заплакала.

«Эти места только место занимают...— думал Андрей Андреич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери.— От них корысти, как от козла молока».

А она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать...

Андрей Андреич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтоб заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься...

— Помяни, господи,—бормочет он,— усопшую рабу твою блудницу Марию и прости ей вольная и невольная...

Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого: что прочно засело в сознании, того, знать, не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь! Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух, сухорукий Митька о чем-то задумался...

— «...идеже несть болезни, печалей и воздыхания...» — гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку.

Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.

ГЛУПЫЙ ФРАНЦУЗ

Клоун из цирка братьев Гинц, Генри Пуркуа, зашел в московский трактир Тестова позавтракать.

— Дайте мне консоме! — приказал он половому.

— Прикажете с пашотом или без пашота?

— Нет, с пашотом слишком сытно... Две-три гренки, пожалуй, дайте...

В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный, благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины.

«Как, однако, много подают в русских ресторанах! — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом.— Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»

Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в пять минут...

— Челаэк! — обернулся он к половому.— Подай еще порцию! Да что у вас за порции такие? Подай сразу штук десять или пятнадцать! Дай балыка... семги, что ли!

«Странно...— подумал Пуркуа, рассматривая соседа.— Съел пять кусков теста и еще просит! Впрочем, такие феномены не составляют редкости... У меня у самого в Бретани был дядя Франсуа, который на пари съедал две тарелки супу и пять бараньих

котлет... Говорят, что есть также болезни, когда много едят...»

Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа, ел он их спеша, едва разжевывая, как голодный...

«Очевидно, болен...— подумал француз.— И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и трех кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору!»

— Дай еще икры! — крикнул сосед, утирая салфеткой масленые губы.— Не забудь зеленого луку!

«Но... однако, уж половины горы нет! — ужаснулся клоун.— Боже мой, он и всю семгу съел? Это даже неестественно... Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть! Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота... Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги... Боже, уже нет горы!»

— Подашь бутылку Нюи...— сказал сосед, принимая от полового икру и лук.— Только погрей сначала... Что еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов... Поскорей только...

— Слушаю... А на после блинов что прикажете?

— Что-нибудь полегче... Закажи порцию селянки из осетрины по-русски и... и... Я подумаю, ступай!

«Может быть, это мне снится? — изумился клоун, откидываясь на спинку стула.— Этот человек хочет умереть. Нельзя безнаказанно съесть такую массу. Да, да, он хочет умереть! Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть!»

Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом:

— Послушайте, зачем вы так много ему подаете?

— То есть, э... э... они требуют-с! Как же не подавать-с? — удивился половой.

— Странно, но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать! Если у вас у самих

не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрдотелю, пригласите полицию!

Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.

«Дикари! — возмутился про себя француз.— Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль! Ничего, что умрет человек, была бы только выручка!»

— Порядки, нечего сказать! — проворчал сосед, обращаясь к французу.— Меня ужасно раздражают эти длинные антракты! От порции до порции изволь ждать полчаса! Этак и аппетит пропадет к черту и опоздаешь... Сейчас три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде.

— Pardon, monsieur [1],— побледнел Пуркуа,— ведь вы уж обедаете!

— Не-ет... Какой же это обед? Это завтрак... блины...

Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и стал хлебать...

«Бедняга...— продолжал ужасаться француз.— Или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает все это нарочно... с целью самоубийства... Боже мой, знай я, что наткнусь здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда! Мои нервы не выносят таких сцен!»

И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари...

«По-видимому, человек интеллигентный, молодой... полный сил...— думал он, глядя на соседа.— Быть может, приносит пользу своему отечеству... и весьма возможно, что имеет молодую жену, детей... Судя по одежде, он должен быть богат, доволен... но что же заставляет его решаться на такой шаг?.. И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Черт знает, как дешево ценится жизнь! И как низок,

[1] Извините, сударь *(франц.)*.

бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь! Быть может, его еще можно спасти!»

Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу.

— Послушайте, monsieur,— обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом.— Я не имею чести быть знаком с вами, но тем не менее, верьте, я друг ваш... Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды... у вас жена, дети...

— Я вас не понимаю! — замотал головой сосед, тараща на француза глаза.

— Ах, зачем скрытничать, monsieur? Ведь я отлично вижу! Вы так много едите, что... трудно не подозревать...

— Я много ем?! — удивился сосед.— Я?! Полноте... Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?

— Но вы ужасно много едите!

— Да ведь не вам платить! Что вы беспокоитесь? И вовсе я не много ем! Поглядите, ем, как все!

Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов... За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру... с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин.

«О, страна чудес! — думал Пуркуа, выходя из ресторана.— Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О, страна, чудная страна!»

АНЮТА

В самом дешевом номерке меблированных комнат «Лисабон» из угла в угол ходил студент-медик 3-го курса, Степан Клочков, и усердно зубрил свою медицину. От неустанной напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот.

У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица Анюта, маленькая, худенькая брюнетка лет двадцати пяти, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная... Коридорные часы сипло пробили два пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу — все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано...

— Правое легкое состоит из трех долей...— зубрил Клочков.— Границы! Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четырех-пяти ребер, на боковой поверхности до четвертого ребра... назади до spina scapulae...

Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра.

— Эти ребра похожи на рояльные клавиши,— сказал он.— Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке... А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь!

Анюта оставила вышиванье, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра.

— Гм... Первое ребро не прощупывается... Оно за ключицей... Вот это будет второе ребро... Так-с... Это вот третье... Это вот четвертое... Гм... Так-с... Что ты жмешься?

— У вас пальцы холодные!

— Ну, ну... не умрешь, не вертись. Стало быть, это третье ребро, а это четвертое... Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются... Это второе... это третье... Нет, этак спутаешься и не представишь себе ясно... Придется нарисовать... Где мой уголек?

Клочков взял уголек и начертал им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам.

— Превосходно. Всё, как на ладони... Ну-с, а теперь и постучать можно. Встань-ка!

Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен.

— Теперь все ясно,— сказал Клочков, перестав стучать.— Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко.

И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и все думала, думала...

За все шесть-семь лет ее шатания по меблированным комнатам таких, как Клочков, знала она человек пять. Теперь все они уже покончали курсы,

вышли в люди и, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, два докторами, четвертый художник, а пятый даже, говорят, уже профессор. Клочков — шестой... Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно, и из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плохо: у Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахару осталось четыре кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышиванье, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю и табаку.

— Можно войти? — послышалось за дверью.

Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов.

— А я к вам с просьбой,— начал он, обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших на лоб волос.— Сделайте одолжение, одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два! Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя!

— Ах, с удовольствием! — согласился Клочков.— Ступай, Анюта.

— Чего я там не видела! — тихо проговорила Анюта.

— Ну, полно! Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?

Анюта стала одеваться.

— А что вы пишете? — спросил Клочков.

— Психею. Хороший сюжет, да все как-то не выходит, приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги? Это, говорит, чулки линяют. А вы все зубрите! Счастливый человек, терпение есть.

— Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки.

— Гм... Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете! Черт знает, как живете!

— То есть как? Иначе нельзя жить... От батьки я получаю только двенадцать в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно.

— Так-то так...— сказал художник и брезгливо поморщился,— но можно все-таки лучше жить... Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? А у вас тут черт знает что! Постель не прибрана, помои, сор... вчерашняя каша на тарелке... тьфу!

— Это правда,— сказал медик и сконфузился,— но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята.

Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа, потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой, в обществе жены, порядочной женщины,— и теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой... И он решил расстаться с нею немедля, во что бы то ни стало.

Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно:

— Вот что, моя милая... Садись и выслушай. Нам нужно расстаться! Одним словом, жить с тобою я больше не желаю.

Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали.

— Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться,— сказал медик.— Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь...

Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышиванье в бумагу, собрала нитки, иголки; свер-

ток с четырьмя кусочками сахару нашла на окне и положила на столе возле книг.

— Это ваше... сахар...— тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

— Ну, что же ты плачешь? — спросил Клочков.

Он прошелся по комнате в смущении и сказал:

— Странная ты, право... Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе.

Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало жаль ее.

«Разве пусть еще одну неделю поживет здесь? — подумал он.— В самом деле, пусть еще поживет, а через неделю я велю ей уйти».

И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово:

— Ну, что же стоишь! Уходить так уходить, а не хочешь, так снимай шубу и оставайся! Оставайся!

Анюта сняла шубу молча, потихоньку, потом высморкалась, тоже потихоньку, вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции — к табурету у окна.

Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол.

— Правое легкое состоит из трех долей...— зубрил он.— Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четырех-пяти ребер...

А в коридоре кто-то кричал во все горло:

— Грригорий, самовар!

О БРЕННОСТИ

Масленичная тема для проповеди

Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины... Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина... Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатолароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов-бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч. Подтыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки... Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем...

— Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене.— Скорее, Катя!

Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами... Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки... Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной... Оста-

валось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился... Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот...

Но тут его хватил апоплексический удар.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ ПОВИННОСТЬ

Впервые напечатано в журнале «Развлечение», 1885, № 1, 3 января. Подпись: А. Чехонте.

Сохранились гранки рассказа с текстом, соответствующим журнальному (Центральный государственный архив литературы и искусства СССР — ЦГАЛИ).

Стр. 5. *«...лукавых простяков,*
Старух зловещих, стариков...» — из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), действие четвертое, явление XIV, монолог Чацкого.

КАПИТАНСКИЙ МУНДИР

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 4, 26 января. Подпись: А. Чехонте. С сокращениями и незначительными исправлениями в пунктуации рассказ помещен в сборнике Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; после дальнейших сокращений и стилистической правки вошел во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С небольшими изменениями включен автором в том II собрания сочинений.

На настойчивые требования нового материала, в котором редактор «Осколков» Н. А. Лейкин был особенно заинтересован при проведении подписки в начале и в конце года, Чехов отвечал: «Мелочи уже задуманы, рассказ же пока не наклевывается» (23 декабря 1884 г.). Однако 26 декабря рассказ «Капитанский мундир» был уже у Н. А. Лейкина, о чем он писал Чехову: «Рассказ действительно длинен и неудачен по изложению, но бросать я его не стану, а если позволите, как-нибудь переделаю и сокращу».

Впоследствии Чехов писал брату Александру: «Не позволяй также сокращать и переделывать своих рассказов... Ведь гнусно, если в каждой строке видна лейкинская длань... Не позволить трудно; легче употребить средство, имеющееся под рукой: самому сокращать до nec plus ultra [1] и самому переделывать. Чем больше сокращаешь, тем чаще тебя печатают...» (4 января 1886 г.).

Стр. 10. *...на особ первых четырех классов.*— Согласно табели о рангах, введенной при Петре I в 1722 г., все должности, гражданские и военные, делились на четырнадцать классов: первый (генералы, тайные советники) — высший, четырнадцатый — низший.

Стр. 11. *Арий* — священник из Александрии (IV век); был объявлен еретиком, отлучен от церкви и сослан.

...поносной смертью — позорной смертью.

Стр. 14. *...Лотова жена, обращенная в соляной столб...*— Согласно библейскому преданию, жена Лота во время бегства из горящего Содома, нарушив запрет бога, оглянулась, за что была превращена в соляной столб.

У ПРЕДВОДИТЕЛЬШИ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 6, 9 февраля, с подзаголовком *Рассказ.* Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями в пунктуации и без подзаголовка рассказ включен в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с небольшой стилистической правкой вошел во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). Включен автором в том III собрания сочинений.

М. П. Чехов рассказывает, что его братья любили посещать гостеприимный дом их дяди Митрофана Егоровича. «В этом именно домике и схвачены Антоном Чеховым некоторые моменты, разработанные им впоследствии в таких рассказах, как, например, «У предводительши» («Вокруг Чехова», М.—Л. 1933, стр. 25).

В 1887 г. рассказ запрещен для народных чтений цензором Энгельгартом со следующей мотивировкой: «Автор говорит о панихиде и молебне как-то пренебрежительно и рисует пьяного

[1] крайних пределов *(лат.)*.

священника и дьякона» (Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде — ЦГИАЛ).

В письме к Чехову от 27 августа 1901 г. О. Л. Книппер писала: «Сейчас у нас был Чеховский вечер. Сидела цюрихская знакомая наша с 20-летним сыном, которая много слышала о тебе за границей, но мало читала. И вот дядя Саша просвещал ее. Читал: «У предводительши», «Нервы», «В потемках», «Винт», «Роман с контрабасом», и все умирали со смеху. А я еще больше чувствовала твой тонкий изящный талант» (Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер, т. I, М. 1934, стр. 431).

ЖИВАЯ ХРОНОЛОГИЯ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 8, 23 февраля. Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел во все 14 изданий сборника Чехова «Пестрые рассказы» (Спб. 1886—1899). Включен автором в том II собрания сочинений.

Стр. 21. *...в зелень à la «украинская ночь»...* — В картине А. И. Куинджи «Украинская ночь» (1876) преобладает зеленый колорит.

Стр. 22. *Тамберлик* Энрико (1820—1889) — итальянский певец-тенор, неоднократно гастролировавший в Петербурге.

СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕТКИ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 9, 2 марта. Подпись: Человек без селезенки.

Сохранились гранки рассказа с текстом, соответствующим журнальному (ЦГАЛИ).

РАЗГОВОР ЧЕЛОВЕКА С СОБАКОЙ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 10, 9 марта, с подзаголовком *Сценка*. Подпись: Человек без селезенки. Без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует журнальному.

В первой публикации каждая глава рассказа печаталась как самостоятельное произведение, за подписью А. Чехонте. Глава первая — в журнале «Осколки», 1885, № 10, 9 марта, под заглавием «В бане»; глава вторая — в журнале «Будильник», 1883, № 42 (разр. ценз. 29 октября), под заглавием: «Относительно женихов».

С незначительной правкой первая глава напечатана в сборнике «Памяти В. Г. Белинского» (М. 1899), где были опубликованы также рассказы Чехова: «Оратор» и «Неосторожность».

Сохранился автограф первой главы с сопроводительным письмом одному из редакторов сборника П. А. Ефремову от 24 июня 1898 г., в котором Чехов сообщает: «Посылаю для сборника в память Белинского три рассказа. Если найдете их подходящими, то благоволите напечатать их под общим заглавием «Три рассказа» или «Мелочи», и в таком порядке: 1) «Оратор», 2) «Неосторожность» и 3) «В бане». Не откажите прислать корректуру, по возможности 10 августа; очень меня обяжете».

Объединив обе главы под названием «В бане», Чехов включил рассказ в том I собрания сочинений, которое открывается этим произведением.

Подготавливая рассказ для собрания сочинений, Чехов подверг вторую главу значительным сокращениям и стилистической правке. Так, вместо монолога, начинающегося словами: «Мужчина нынче балованный...», кончая словами: «...и больше ничего» (стр. 33—34 наст. изд.) в «Будильнике» было:

«Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий. Любит он все-то на шерамыжку, да с выгодой! Задаром он тебе и шагу не ступит! В старину люди за все деньги платили, а нынешние сами за все деньги берут. Ты ему удовольствие делаешь, а он с тебя за это деньги требует. Ну, и женится тоже не без мысли в голове. Женюсь, мол, так деньгу зашибу. Задаром не станет он тебе жениться. Ежели денег ему не надо, так он вовсе не женится и до самой своей дохлой смерти пропутается с дрянью разною: с француженками, гризетками — это дешевле. Бить бы их, да некому... Это бы еще ничего, куда ни шло. Лопай мои деньги. Женись только на моем дите! Но бывает и хуже-с... Бывает так, что из-за одного только удовольствия сватается... Все одно как театр или цирк, даже еще лучше... Сватается-сватается, а как дойдет до самой точки, до венца, то и назад оглобли... к другой идет свататься, шут этакий! Женихом хорошо быть...

Его и покормят и пригреют, и денег взаймы дадут — чем не жизнь? Ну, и строит из себя жениха до старости лет, покеда смерть. А то бывает и так, что из либерализма не женятся.. гражданский — тьфу!.. брак и прочее. Есть и такие, что из малодушия не женятся... по недоумению... По глупости... Глупый человек и сам не знает, что ему надобно, ну и перебирает: то ему не хорошо, другое не ладно... Шляется, шляется за благородной девицей, ходит, ходит... сватается, сватается, а потом вдруг ни с того ни с сего такого тебе черта с рогами выкинет, что только рот разинешь и руками разведешь! «Не могу, говорит, на вашей дочери вступить в законный брак, потому что не подходит мне под категорию». Так зачем же ты, собачий хвост тебе в рыло, сватался? «А так... думал, что подходящая».— Чем же она тебе не подходящая? Голова в ней не на месте, что ли? Ум за разум зашел, он и сам не знает, что ему нужно... Глупость и малодушество... Да вот хоть взять к примеру учителя Катавасова, первого Дашиного жениха. Учитель гимназии, титулярный тоже советник, ничего себе, красивый такой, великодушный в обращении... Науки все наизусть выучил, где-то там в Харькове или в Кишиневе в неверситете курс кончил... по-французски, по-немецки... математик одним словом! Математик, а вот... дураком себя показал».

Небольшим сокращениям подвергся также рассказ Пешкина о трех женихах Дашеньки.

Вычеркнута Чеховым фраза, которой заканчивался рассказ в «Будильнике»: «Его живот стал багровым».

Сохранилась журнальная вырезка с текстом первой главы, правленной Чеховым (ЦГАЛИ).

Стр. 31. *Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский...*— церковные деятели, авторы проповедей, поучений и богословских трудов.

ПРАВИЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ АВТОРОВ

Юбилейный подарок вместо почтового ящика

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1885, № 12 (разр. ценз. 20 марта), без подписи, в номере, посвященном 20-летнему юбилею журнала.

После смерти Чехова, под общим заголовком «Чеховские странички», перепечатано в журнале «Будильник», 1904, № 27,

18 июля, вместе с «Тостом в честь прозаиков», произнесенным Ант. Чехонте на юбилее «Будильника» в 1885 году» и некрологом.

«Как «воспоминание» о дорогом сотруднике,— заканчивается некролог,— мы приводим два прекрасных образчика оригинального чеховского юмора, две небольших статьи, появившихся на страницах «Будильника» около двадцати лет назад и затрагивающих жизнь и деятельность русского писателя, звание которого для Чехова было священным».

Сохранились гранки рассказа с текстом, соответствующим журнальному (ЦГАЛИ).

Стр. 38. *Слава есть яркая заплата...*— неточная цитата из стих. А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824). У Пушкина:

Что слава? — Яркая заплата
На ветхом рубище певца.

...раздражив пленную мысль...— перифраз из стих. М. Ю. Лермонтова «Не верь себе». У Лермонтова: «пленной мысли раздраженье».

Стр. 39. *Курочкин* В. С. (1831—1875) — поэт революционно-демократического направления, переводчик.

МЕЛЮЗГА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 12, 23 марта. Подпись: А. Чехонте. Рассказ включен в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с небольшими исправлениями вошел во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С незначительными исправлениями включен автором в том III собрания сочинений.

Стр. 43. *Экзекутор* — чиновник, ведавший хозяйственной частью и наблюдавший за порядком в учреждении.

...Станислава...— орден св. Станислава, один из восьми высших орденов Российской империи, дававших дворянские права.

ПРАЗДНИЧНЫЕ

Из записок провинциального хапуги

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 12, 23 марта. Подпись: Человек без селезенки.

Сохранились гранки рассказа с текстом, соответствующим журнальному (ЦГАЛИ).

ОБА ЛУЧШЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 13, 30 марта, с подзаголовком *Рассказ*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Н. А. Лейкин писал Чехову по поводу этого рассказа: «Рассказ Ваш «Оба лучше» набран, пропущен цензурой и будет помещен после пасхи. Ни перед пасхой, ни на пасхе его, по своему содержанию, помещать неловко, выйдет некстати, а там, после «Красной Горки», когда люди взапуски жениться начнут, он у нас и будет рассказом à propos[1]» (15/16 марта 1885 г.).

Стр. 49. *...старец Серафим в Саровской пустыни медведя кормит...* — лубочная картинка, изображающая монаха Саровской пустыни Серафима (1760—1833).

...Анну имеет — орден св. Анны, один из восьми высших орденов Российской империи.

[ДОНЕСЕНИЕ]

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 13, 30 марта, в отделе «Из копилки курьезов». Подпись: Человек без селезенки.

Сохранились гранки рассказа с текстом, соответствующим журнальному (ЦГАЛИ).

БЕЗНАДЕЖНЫЙ

Эскиз

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1885, № 15 (разр. ценз. 18 апреля). Подпись: А. Чехонте.

---

[1] кстати *(франц.)*.

Н. А. Лейкин упрекал Чехова: «Очень мне прискорбно, что у Вас появился рассказ в «Будильнике». Зачем? Или ему места не нашлось бы в «Осколках»?» (26 апреля 1885 г.). «В «Будильник» нельзя не писать...— отвечал Чехов.— Взял оттуда сторублевый аванс дачных ради расходов... За четыре летних месяца нужно будет отработать... Ну, да ведь я не дам туда того, что годится для «Осколков». Божие — богови, кесарево — кесареви...» (28 апреля 1885 г.).

Стр. 56. *«Дворянское гнездо»* — роман опубликован в январском номере журнала «Современник».

КАНИТЕЛЬ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 17, 27 апреля. Подпись: А. Чехонте. С небольшими исправлениями рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с новыми стилистическими исправлениями включен во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С дополнительными исправлениями включен автором в том II собрания сочинений.

В феврале 1904 г. цензором С. А. Верещагиным был подан рапорт начальнику Главного управления по делам печати: «Рассказ этот предназначен для публичного чтения на общедоступных концертах. Разрешить рассматриваемый рассказ к исполнению мне представляется неудобным, так как он осмеивает церковные порядки, относясь к православным обрядам без должного уважения, о чем имею честь представить на благоусмотрение Вашего превосходительства». На рапорте резолюция: «Согласен. 13.II» (ЦГИАЛ).

«Канитель» включена Л. Н. Толстым в список лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!

Покушающимся на самоубийство

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 17, 27 апреля. Подпись: Человек без селезенки.

Стр. 60. *...получить Белого Орла...*— Белый Орел — один из восьми высших орденов Российской империи.

...коховская «запятая» — бацилла холеры (по имени немецкого микробиолога Роберта Коха (1843—1910), открывшего возбудителя этой болезни).

Стр. 61. *Турба* В. П.— редактор-издатель еженедельного журнала «Иллюстрированный мир», выходившего в Петербурге с 1879 по 1896 г.

«Гражданин» — реакционная газета-журнал (1882—1887) и реакционная политическая и литературная газета (с октября 1887 г. по 1914 г.), выходившие под редакцией публициста и беллетриста князя В. П. Мещерского.

НА ГУЛЯНЬЕ В СОКОЛЬНИКАХ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1885, № 17 (разр. ценз. 2 мая), под заглавием «В Сокольниках», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: Брат моего брата.

В дальнейшем Чехов правил рассказ в гранках для собрания сочинений 1899—1901 гг.— изменил заглавие, некоторые слова.

В Полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова (т. 4, М. 1946), по которому печатается рассказ, был воспроизведен текст гранок, правленных Чеховым и хранившихся, как указано в комментарии к т. 4 (стр. 628), в Отд. рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. При подготовке настоящего издания гранки эти не обнаружены.

ПОСЛЕДНЯЯ МОГИКАНША

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 122, 6 мая, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. С незначительной правкой рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; после дополнительной правки включен во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С дополнительной стилистической правкой включен автором в том III собрания сочинений.

Этим рассказом начинается систематическое сотрудничество Чехова в «Петербургской газете». Предложение редактора газеты С. Н. Худекова было сообщено Чехову, в письме от 26 апреля 1885 г., Н. А. Лейкиным: «Есть у меня к Вам предложение Худекова. Не желаете ли Вы писать в «Петербургской газете» рассказы каждый понедельник, то есть в тот день, когда я не пишу?»

28 апреля Чехов ответил: «Насчет «Петербургской газеты» отвечаю согласием и благодарственным молебном по Вашему

адресу. Буду доставлять туда рассказы аккуратнее аккуратного...»

Стр. 69. *Младенец... вифлеемский, Иродом убиенный!* — Согласно евангельскому мифу, по приказу иудейского царя Ирода (I в. до н. э.) были убиты в Вифлееме все младенцы до двухлетнего возраста.

В НОМЕРАХ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 20, 18 мая, под заглавием «Всяк злак...», с подзаголовком *Сценка.* Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том I собрания сочинений.

При включении в собрание сочинений изменено заглавие, снят подзаголовок и проведена стилистическая правка.

ДИПЛОМАТ

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 135, 20 мая, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

9 мая 1885 г. Чехов писал Н. А. Лейкину: «Петербургской газеты» я не получаю и нахожусь в полном неведении относительно посланных туда двух рассказов («Дипломат» и «Последняя могиканша».— *Е. Ш.*). Великое одолжение сделаете мне, если прикажете высылать мне газету».

«Два Ваши рассказа напечатаны в «Петербургской газете»,— отвечал Н. А. Лейкин Чехову 19 мая,— но я хотел даже остановить их и очень жалел, что рекомендовал Вас в газету. Да и теперь жалею, потому что уверен, что Вы будете неисправны к «Осколкам» из-за «Петербургской газеты». В «Осколках» непременно должен лежать один из Ваших рассказов, так Вы и знайте».

КУЛАЧЬЕ ГНЕЗДО

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 139, 24 мая, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

УПРАЗДНИЛИ!

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 21, 25 мая, с подзаголовком *Рассказ.* Подпись: А. Чехонте. С не-

большой стилистической правкой и без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. Включен автором в том II собрания сочинений.

Для собрания сочинений рассказ снова подвергся стилистической правке; вычеркнуты, например, такие ремарки: «...почесал себе затылок так сильно, что соскреб ногтями пучок волос», «В голове Вывертова стало темно, как в погребе», «...инстинктивно стукнул кулаком по спине возницу». Сняты также вульгаризмы: «Да, не баран начихал», «Совсем обалдел». Фамилия Подкидышев заменена на Ягодышев, село Блины-съедены — на Ипатьево.

Отослав рассказ в «Осколки», Чехов беспокоился о его судьбе и 28 апреля 1885 г. писал Н. А. Лейкину: «В воскресенье 21 апреля я послал Вам заказным большой рассказ «Упразднили!..» Разве не получили? Если не получили, то уведомьте 2—3 строчками... Или адрес я перепутал по рассеянности, или же почта утеряла... Послал, повторяю, заказным... Всех моих рассказов у Вас имеется два: «Всяк злак» и «Упразднили!..»... Шлите все в Воскресенск, кроме письма о судьбе рассказа «Упразднили!..» ...Так уведомьте же насчет «Упразднили».

Рассказ был запрещен С.-Петербургским цензурным комитетом по докладу цензора Сватковского: «В рассказе Чехова осмеиваются распоряжения правительства (от мая 1888 г.— *Е. Ш.*) по поводу отмены чинов майора и прапорщика и запрещения духовенству носить ордена во время церковной службы, а также слухи о том, что чин действительного статского советника не имеет титула превосходительства. Для этого выводятся деревенские жители, отставные прапорщики и майор, остающиеся, по их понятиям, без звания и по поводу титула превосходительства — предводитель дворянства. Цензор полагает подобную насмешку неудобной к появлению с разрешения цензуры и рассказ полагает запретить по неуместной шутке над правительственными распоряжениями...» Резолюция Комитета от 1 мая: «Статью «Упразднили» к напечатанию не дозволять» (ЦГИАЛ).

Н. А. Лейкин известил Чехова о запрещении рассказа в письме от 2 мая 1885 г.: «Вы спрашиваете меня о судьбе Вашего рассказа «Упразднили», но я уже сообщал Вам о судьбе его. Очевидно, письмо мое пропало. В нем я... сообщал о страшном цензурном погроме, случившемся с «Осколками»... Для очищения совести буду жаловаться на цензора и на Комитет в Главное управление печати, но только для очищения совести, ибо навер-

ное удовлетворения не получу». «Чуть не разревелся я,— писал в ответ Чехов,— прочитав в Вашем письме о судьбе рассказа «Упразднили»... Нельзя ли сдать его в «Петербургскую газету»? Там, быть может, он сгодится». (Письмо от 9 мая 1885 г.)

Рассказ был разрешен цензурой после усиленных хлопот Н. А. Лейкина, о чем он сообщал Чехову в письме от 19 мая: «Ваш рассказ «Упразднили» дозволен цензурою в третьей инстанции. Цензуровал его сам начальник Главного управления по делам печати Феоктистов, правая рука Каткова, и, сверх всякого ожидания, дозволил к печати».

Стр. 86. *«Новое время»* — газета, издававшаяся в Петербурге в 1868—1917 гг., вначале умеренно-либеральная, с 1876 г. (редактор-издатель А. С. Суворин) — реакционная.

КОЕ-ЧТО ОБ А. С. ДАРГОМЫЖСКОМ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1885, № 20 (разр. ценз. 24 мая). Подпись: А. Ч.

По воспоминаниям М. П. Чехова, о Даргомыжском Чехову рассказывала М. В. Киселева, дочь заведующего репертуарной частью московских императорских театров В. П. Бегичева, в доме которого бывал композитор: «...все Чеховы усаживались вокруг Марии Владимировны и слушали ее рассказы о Чайковском, Даргомыжском...» («Вокруг Чехова», М.— Л. 1933, стр. 133).

Стр. 88. *Даргомыжский* А. С. (1813—1869) — композитор, член музыкально-творческого содружества «Могучая кучка».

Рубинштейн Н. Г. (1835—1881) — музыкальный деятель, пианист, дирижер, композитор и педагог. Н. Г. Рубинштейн возглавлял московское отделение организованного по его инициативе в 1860 г. Русского музыкального общества; был директором Московской консерватории.

БУМАЖНИК

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1885, № 20 (разр. ценз. 24 мая), с подзаголовком *Басня в прозе.* Подпись: Брат моего брата.

В дальнейшем Чехов правил рассказ в гранках, очевидно, для собрания сочинений 1899—1901 гг. Текст гранок несколько

расширен по сравнению с журнальной редакцией, снят подзаголовок.

В Полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова (т. 4, М. 1946), по которому печатается рассказ, был воспроизведен текст гранок, правленных Чеховым и хранившихся, как указано в комментарии к т. 4 (стр. 629), в Отд. рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. При подготовке настоящего издания гранки эти не обнаружены.

В «Будильнике» рассказ кончался фразой: «Мораль: идучи втроем, старайтесь избегать находок».

Стр. 90. *...шей ты мне, братец, гардероб... Не хочу пейзанов играть, перейду на амплуа фатов да хлыщей.*— В дореволюционной театральной антрепризе для ролей, требующих дорогих костюмов, актеру полагалось иметь собственный гардероб.

Стр. 91. *...цель оправдывает средства...*— формула английского философа Гоббса (1588—1679), заимствованная иезуитами.

Мак-Магон (1808—1893) — французский реакционный политический и военный деятель, в 1873—1879 гг. президент Франции.

ВОРОНА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 22, 1 июня, под заглавием «Павлин в вороньих перьях», с подзаголовком *Рассказ.* Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том II собрания сочинений.

Для собрания сочинений рассказ переработан стилистически, изменено название, снят подзаголовок.

Наиболее значительным изменениям и сокращениям подвергся конец рассказа, от слов: «Лицо его было сумрачно» (стр. 97 наст. изд.). В «Осколках» читаем:

«Лицо его было сумрачно, как мостовые в осеннюю непогоду, щетинистые волосы глядели в разные стороны, глаза слипались... Увидев поручика, он тяжело поднялся, вздохнул и вытянулся во фронт. Поручик, злой и неопохмелившийся, подошел к нему и, нахмурясь, разинул рот, чтобы начать головомойку, но... когда глаза его встретились с мутными глазами писаря, слово замерло на его губах... В этих глазах прочел он всё: красные занавесочки, раздирательный танец, «Аркадию», профиль Сюзетты (в собрании сочинений — Бланш)...

— А Сюзетта, брат, тютю! — прошептал он.— Из коляски спрыгнула!

И, спохватившись, поручик нахмурился и возвысил голос:

— Как ты смел, я тебя спра-ши-ваю?

— При всеобщей повинной военности...— забормотал Филенков,— когда даже... профессоров в солдаты берут... когда всех уравняли... и даже свобода гласности...

Минуту длилось молчание...

— А зачем вы ее, ваше благородие, отпустили? Купец из Костромы не отпустил бы... Фокус, известно.

— Довольно...— сухо сказал поручик и отошел в сторону...»

9 мая 1885 г., посылая рассказ в «Осколки», Чехов писал Н. А. Лейкину: «Шлю Вам из дачи первый транспорт. Благоволите в рассказе «Павлин» в пробелах написать имена соответствующих петербургских увеселительных мест, которых я не знаю и назвал через N и Z».

В ответном письме от 19 мая Н. А. Лейкин сообщал, что послал рассказ в типографию «скрепя сердце» и выражал надежду, что «он и цензурою не будет пропущен. Судите сами: ведь Вы публичный дом описываете».

Стр. 93. *Оффенбах* Жак (1819—1880) — французский композитор, виолончелист, дирижер; один из основоположников классической оперетты.

ФИНТИФЛЮШКИ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 22, 1 июня, и № 23, 8 июня. Подпись: Человек без селезенки.

Сохранились гранки рассказа с текстом, соответствующим журнальному (ЦГАЛИ).

САПОГИ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 149, 3 июня, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений рассказ подвергся стилистической правке: изменены отдельные фразы, из речи коридорного вычерк-

нуты характерные для юмористической литературы 80-х гг. «простонародные» обороты вроде: «ахтеры», «киатр», «кажинный» (заменено на «актеры», «театр», «каждый»).

Стр. 102. *«Синяя борода»* (1866) — оперетта Ж. Оффенбаха по мотивам сказки Ш. Перро «Семь жен Синей бороды».

МОЯ «ОНА»

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1885, № 22 (разр. ценз. 6 июня), в отделе «Звонки». Подпись: Брат моего брата.

Сохранились гранки рассказа с текстом, соответствующим журнальному (ЦГАЛИ).

Стр. 105. *...как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу.*— Римский полководец и политический деятель Марк Антоний женился на египетской царице Клеопатре (I век до н. э.).

НЕРВЫ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 23, 8 июня, с подзаголовком *Рассказ.* Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями и без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887. Включен автором в том I собрания сочинений.

При включении в собрание сочинений рассказ подвергся исправлениям: помимо замены отдельных слов, опущено несколько строк в середине рассказа.

После слов: «Я еще что-нибудь надумаю...» (стр. 108 наст. изд.) было: «Ваксин начал думать, о чем бы еще спросить, но, как назло, все по хозяйству было уже приказано и изобрести какое-нибудь новое приказание было не легко. Минута прошла в молчании.

— Вечер был сегодня великолепный, знаете ли... Если во всё лето... тово... будет такая погода, то... очень приятно... Розалия Карловна, вы не ушли?

— Was wollen Sie doch? Ich will schlafen...[1]

[1] Что же вам угодно? Я хочу спать... *(нем.)*

— Шлафен вы еще успеете, а пока... тово... Да вы садитесь!»

Л. Н. Толстой считал «Нервы» одним из лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

ДАЧНИКИ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 24, 15 июня, под заглавием «Обратите, наконец, внимание!», с подзаголовком *Ужасное происшествие.* Подпись: Человек без селезенки. Включено автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений изменено название, снят подзаголовок, произведены небольшие сокращения, рассказ стилистически исправлен; в конце, после слов: «...баронесса фон Финтих...» (стр. 112 наст. изд.) было: «И недолго думая, Саша схватил себя за волосы, простонал и бросился под поезд. Варя тут же сошла с ума. Из-за кружевного облака показалась луна... Она улыбалась; ей было приятно, что у нее нет родственников».

РЫБЬЕ ДЕЛО

Густой трактат по жидкому вопросу

Впервые напечатано в журнале «Будильник», в отделе «Будильник» на даче», 1885, № 23 (разр. ценз. 14 июня), без подписи; № 25 (разр. ценз. 27 июня). Подпись: Брат моего брата.

Рассказ этот был отправлен Чеховым в «Будильник», в ответ на просьбу сотрудника журнала А. Д. Курепина о присылке «дачных материалов». (Письмо от 19 мая 1855 г.)

Сохранились гранки рассказа и правленная Чеховым рукописная копия второй части (воспроизводящая журнальный текст) с его автографом: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Предположение, что часть текста принадлежит редакции «Будильника» (см. Полное собрание сочинений и писем А. П. Чехова, т. 4, М. 1946, стр. 630—631) не подтверждено. В настоящем издании текст «Будильника» печатается полностью.

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 24, 15 июня. Подпись: Человек без селезенки.

СТРАЖА ПОД СТРАЖЕЙ

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 163, 17 июня, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

МОИ ЖЕНЫ

Письмо в редакцию Рауля Синей Бороды

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1885, № 24 (разр. ценз. 20 июня). Подпись: А. Чехонте.

Рассказ написан по просьбе фактического редактора журнала В. Д. Левинского; 6 июня 1885 г., по получении рассказа, он писал Чехову: «За «Мои жены» спасибо. Дайте еще что-нибудь в этом роде».

Сохранилась рукописная копия рассказа с текстом, соответствующим журнальному и автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Стр. 125. *Оперетка «Синяя борода»* — см. прим. к стр. 102. *Лодий* П. А., *Чернов* А. Я.— артисты оперетты из труппы московского антрепренера и режиссера, арендатора сада «Эрмитаж» М. В. Лентовского.

Стр. 128. *Габорио* Эмиль (1835—1873) — французский писатель, автор уголовных романов.

Стр. 129. *Бобеш* — персонаж из оперетты «Синяя борода».

Стр. 130. *...проглотила всех Боклей и Миллей...*— «История цивилизации в Англии» (1857—1861) английского либерально-буржуазного историка Г. Бокля и «Основания политической экономии» (1848) английского буржуазного философа Д.-С. Милля входили в круг чтения интеллигентного читателя 70—80-х гг.

ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ БРЕВНО

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 169, 23 июня, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИДЕАЛИСТА

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1885, № 26 (разр. ценз. 27 июня), под заглавием «Дачный казус», с подзаголовком *Из воспоминаний идеалиста.* Подпись: Брат моего брата.

Под названием «Из воспоминаний идеалиста» рассказ значится в списке произведений (написанном рукой Чехова), предназначенных для собрания сочинений 1899—1901 гг. Однако в собрании сочинений этот рассказ напечатан не был.

В дальнейшем Чехов правил рассказ в гранках, очевидно для собрания сочинений — изменено заглавие, проведена стилистическая правка.

В Полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова (т. 4, М. 1946), по которому печатается рассказ, был воспроизведен текст гранок, правленных Чеховым и хранившихся, как указано в комментарии к т. 4 (стр. 632), в Отд. рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. При подготовке настоящего издания гранки эти не обнаружены.

Стр. 140. *«Спасите нас, о неба херувимы!» — как сказал Гамлет...* — из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1603), пер. А. Кронеберга, Спб. 1844, действие первое, сцена четвертая.

СИМУЛЯНТЫ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 26, 29 июня, с подзаголовком *Рассказ.* Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. Включен автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений рассказ стилистически выправлен; сняты злободневные детали («лечебник Соколова, несколько номеров «Ребуса») и название села Битые Холуйки.

НАЛИМ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 177, 1 июля, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка.* Подпись: А. Чехонте. С незначительными исправлениями в пунктуации и без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с новой стилистической правкой напечатан во 2-м издании этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). Рассказ включен автором в том II собрания сочинений.

В книге «Антон Чехов и его сюжеты» (М. 1923, стр. 33) М. П. Чехов писал: «Я отлично помню, как плотники в Бабкине ставили купальню и как во время работы наткнулись в воде на налима». В подмосковной усадьбе Бабкино, принадлежавшей А. С. Киселеву, А. П. Чехов жил летом 1885, 1886, 1887 гг.

В АПТЕКЕ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 182, 6 июля, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка.* Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями и без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 183, 7 июля, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка.* Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том II собрания сочинений.

Перерабатывая рассказ для собрания сочинений, Чехов снял подзаголовок, рассказ стилистически исправлен и сокращен.

Наиболее значительной переработке подверглась середина рассказа — поиски «лошадиной фамилии». Вместо текста: «Ступай отсюда вон!», кончая словами: «...и, почесывая лбы, искали фамилию...» (стр. 161 наст. изд.), в газетной редакции было:

«Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и зашагал по комнатам.

— Одна мелькнула надежда,— завопил он,— и та пропала! Угораздило же его, черта, на мое несчастье, забыть фамилию! Ну, как того фамилия? Как? Подите спросите у Ивана Евсеича, не Коньков ли? Очень может быть, что Коньков!

Приказчик между тем вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский... Тьфу!

— Не Коньков? — спросил его посланный генерала.

— Нет... Коньков... Конский... Конюхов...

Произведя несколько фамилий от «конюшня», приказчик плюнул, пошел к себе во флигель, разлегся на кровати и стал думать. Во время обеда его позвали к господам.

— Не вспомнил? — встретил его генерал, наклоняя голову набок и стараясь, чтобы горячие щи не попали на больной зуб...— Скорее говори!

— Не вспомнил, ваше-ство...

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет? Тьфу!

— Лошадинчиков? — придумала гувернантка.

Обедающие все наперерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, перечислили всю сбрую, но не напали на настоящую фамилию. После обеда вся усадьба была занята фамилией...»

В статье, написанной к пятидесятилетию со дня рождения Чехова, писатель В. Г. Богораз (Н. А. Тан) рассказывает: «Лошадиная фамилия» — тоже таганрогский анекдот, хотя и измененный. В таганрогском округе были два обывателя, довольно зажиточных и видных, Жеребцов и Кобылин. Им как-то случилось заехать одновременно в ту же гостиницу, и их записали на доску рядом особенно крупными буквами. Я помню, над этим смеялись во всем Таганроге» (Тан, На родине Чехова, «Чеховский юбилейный сборник», М. 1910, стр. 486).

НЕ СУДЬБА!

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 28, 13 июля. Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

По получении рассказа Н. А. Лейкин писал Чехову 11 июля

1885 г.: «Рассказ Ваш о помещиках и попе Анисиме был помаран цензором в нескольких местах, но, вследствие подачи мной жалобы, прошел целиком во второй инстанции, то есть в Цензурном комитете».

Сохранилась вырезка из журнала «Осколки» с текстом рассказа и автографом писателя: «В полное собрание не войдет, А. Чехов» (ЦГАЛИ).

ЗАБЛУДШИЕ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 191, 15 июля, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями и без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. Включен автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений рассказ был вновь стилистически переработан.

ЕГЕРЬ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 194, 18 июля, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886, а также во 2-е издание этого сборника (1891) с исключением одной фразы. После слов «...ловит взглядом каждый его шаг» (стр. 178 наст. изд.) было: «Долго видит она его». Перепечатан в последующих, 3—14, изданиях сборника (1892—1899). Рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

В начале 1886 г. Чехов получил письмо от Д. В. Григоровича (от 25 марта), высоко оценившего произведения молодого писателя, в частности рассказ «Егерь». «Около года тому назад,— писал Григорович,— я случайно прочел в «Петербургской газете» Ваш рассказ; названия его теперь не припомню; помню только, что меня поразили в нем черты особенной своеобразности, а главное — замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. ...Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений... Бросьте срочную работу...» («Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 199).

Отвечая Д. В. Григоровичу (28 марта 1886 г.), Чехов пишет: «Чтоб быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства. А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно... Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я *ни одного* своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а «Егеря», который Вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом...»

Через две недели, 11 апреля, Чехов писал своему дяде, М. Е. Чехову: «В России есть большой писатель Д. В. Григорович, портрет которого Вы найдете у себя в книге «Современные деятели». Не так давно, нежданно-негаданно, не будучи с ним знаком, я получил от него письмо в полтора листа. Личность Григоровича настолько почтенна и популярна, что Вы можете представить мое приятное изумление! ...Письмо велико, и нет времени переписать его; при свидании прочту Вам его. Оно очень симпатично. Если музеи ценят письма таких людей, то как же мне не ценить их?

...Ответ мой растрогал старика. Я получил от него другое большое письмо и карточку. Второе письмо его великолепно».

В своих воспоминаниях А. С. Лазарев-Грузинский приводит слова Чехова: «Когда в «Петербургской газете» появился мой «Егерь», рассказывают, что Григорович поехал к Суворину и начал говорить: «Алексей Сергеевич, пригласите же Чехова! Прочтите его «Егеря». Грех не пригласить!» Суворин написал Курепину, Курепин пригласил меня и торжественно объявил мне, что меня зовут в «Новое время» («Русская правда», 1904, № 99).

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 29, 20 июля. Подпись: Человек без селезенки.

ЗЛОУМЫШЛЕННИК

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 200, 24 июля, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка рассказ вошел в сбор-

ник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с небольшой правкой напечатан во 2-м издании этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). Включен автором в том III собрания сочинений.

По воспоминаниям В. А. Гиляровского, прообразом Дениса Григорьева послужил крестьянин Никита Пантюхин из подмосковной деревни Красково (Вл. Гиляровский, Москва и москвичи, М. 1959, стр. 354).

«Антон Павлович,— писал Гиляровский,— старался объяснить Никите, что отвинчивать гайки нельзя, что от этого может произойти крушение, но Никите это было совершенно непонятно... Из этой встречи впоследствии и родился рассказ «Злоумышленник». В него вошли и подлинные выражения Никиты, занесенные Чеховым в свою знаменитую записную книжку» (там же).

Л. Н. Толстой отнес «Злоумышленника» к лучшим рассказам Чехова (см. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.).

М. Горький пишет: «Толстой... любил Антона Павловича и как человека, милой любовью отца, любил его и как литератора, часто сравнивая с Мопассаном, восхищаясь изящной правдою приемов его письма и ставя в пример молодым литераторам такие превосходные и глубокие вещи Чехова, каковы: «Тиф», «Душечка», «Припадок», «Злоумышленник», «Дуэль» и еще многие другие» (М. Горький и А. Чехов, Переписка, статьи, высказывания, М. 1951, стр. 161).

В ВАГОНЕ

Разговорная перестрелка

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 30, 27 июля. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 185. *Жена моя читает «Новости» и «Новое время»*...— ежедневные петербургские газеты; либеральные «Новости» (редактор-издатель О. К. Нотович) и консервативное «Новое время» (редактор-издатель А. С. Суворин).

«Русская старина» — ежемесячный исторический журнал, выходивший в Петербурге с 1870 по 1918 г.

Стр. 186. *«Вестник Европы»* — ежемесячный «исторический, политический и литературный журнал» буржуазно-либерального направления, выходивший в Петербурге с 1866 по 1918 г.

«Нива» — «еженедельный иллюстрированный журнал для семейного чтения», издавался в Петербурге А. Ф. Марксом с 1870 по 1918 г.

«Всемирная» — «Всемирная иллюстрация», еженедельный иллюстрированный журнал, выходил в Петербурге с 1869 по 1898 г.

Стр. 187. *...в нашей судьбе что-то лежит роковое...* — из стихотворения Н. А. Некрасова «В больнице» (1855).

Слава... яркая заплата на грязном рубище слепца... — См. прим. к стр. 38.

«Луч» — иллюстрированный еженедельник, черносотенный журнал, выходивший в Петербурге с 1880 по 1890 г., под редакцией С. С. Окрейца.

ЖЕНИХ И ПАПЕНЬКА

Нечто современное
Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 207, 31 июля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

ГОСТЬ

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 212, 5 августа, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

Стр. 194. *Затихли ветерки... и прилегли стада...* — из басни И. А. Крылова «Осел и соловей» (1811).

МЫСЛИТЕЛЬ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 32, 10 августа. Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел во все 14 изда-

ний сборника Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886—1899. Включен автором в том II собрания сочинений.

Для собрания сочинений произведены небольшие стилистические исправления.

Как видно из письма к Чехову Н. А. Лейкина (от 11 июля 1885 г.), рассказ первоначально назывался «Философ».

КОНЬ И ТРЕПЕТНАЯ ЛАНЬ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 219, 12 августа, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. С небольшой стилистической правкой и без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

Стр. 203. *Конь и трепетная лань* — из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828—1829), песнь вторая:

> В одну телегу впрячь неможно
> Коня и трепетную лань.

ДЕЛЕЦ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 33, 17 августа. Подпись: Человек без селезенки.

Стр. 208. *...причесан à la Капуль.*— Модная прическа, названная по имени французского певца-тенора Жозефа Капуля (1839—1924).

УТОПЛЕННИК

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 226, 19 августа, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

Стр. 211. *...сам Ной не сумел бы отделить чистых от нечистых.*— По библейской легенде, патриарх Ной спас от потопа в своем ковчеге по семи пар чистых и по паре нечистых всяких животных и птиц.

...представлен к чину четырнадцатого класса — то есть коллежского регистратора — низшему чину по табели о рангах. (См. прим. к стр. 10.)

СВИСТУНЫ

Сценка

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 34, 24 августа, с подзаголовком *Рассказ.* Подпись: А. Чехонте. С исключением двух фраз и без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Сохранилась журнальная вырезка с текстом рассказа и с автографом писателя «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 233, 26 августа, в отделе «Летучие заметки», под заглавием «Козлы отпущения», с подзаголовком *Посвящается многим папашам.* Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. Включен автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений изменено название, снят подзаголовок, произведена стилистическая правка, сделаны сокращения. Так, несколько сокращен разговор Жилина (прежде Крутикова) с женой; кроме того, в описании обеда, после слов «все его домочадцы» (стр. 219 наст. изд.) вычеркнуто: «Тут он выкладывает все, что накопилось в нем за короткое время трезвости, диеты и счастливой игры. Когда он садится за стол и покрывает свою грудь салфеткой, домашние, предчувствуя ураган, притаивают дыхание и опускают глаза в тарелки».

В сборнике «Пестрые рассказы», начиная от слов: «Ему совестно жены, сына, Анфисы Ивановны...» (стр. 221 наст. изд.), конец читался так: «Ему совестно жены, сына, Анфисы Ива-

новны, до того совестно, что становится невыносимо от воспоминаний о сцене за обедом, но... чтобы не потерять в глазах семьи реноме «правдивого» человека, он продолжает дуться и ворчать до другого дня...»

Для собрания сочинений Чехов переделал эту фразу и написал заново последние три абзаца.

Стр. 218. *Виши* — здесь: минеральная вода (от города Виши во Франции).

СТАРОСТА

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 240, 2 сентября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 223. *Бисмарк* Отто (1815—1898) — государственный деятель и дипломат, реакционер, руководивший внешней и внутренней политикой Германии в 70-х—80-х гг.

Скопинское дело — судебный процесс 1884 г., связанный с громким делом о крахе банка в г. Скопине. Чехов присутствовал на процессе в качестве корреспондента «Петербургской газеты».

...за Сарру Беккер не возьмусь... — См. прим. к рассказу «Психопаты».

Стр. 224. *Плевако* Ф. Н. (1843—1908) — юрист, выдающийся судебный оратор.

Стр. 227. *Ларчик просто открывается* — перифраз из басни И. А. Крылова «Ларчик» (1808). У Крылова: «А ларчик просто открывался».

МЕРТВОЕ ТЕЛО

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 247, 9 сентября, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Картинка*. Подпись: А. Чехонте. С небольшими изменениями и без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с небольшой правкой вошел во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С новыми небольшими сокращениями включен автором в том III собрания сочинений.

Рассказ написан в Звенигороде, где Чехов летом 1884 г. работал в больнице, заменяя уехавшего в отпуск врача С. П. Успенского.

«Он здесь и принимал больных,— вспоминает М. П. Чехов,— и в качестве уездного врача, тоже уехавшего в отпуск, должен был исполнять поручения местной администрации, ездить на вскрытия и быть экспертом в суде... Звенигородские впечатления дали Чехову тему для рассказов «Мертвое тело», «На вскрытии», «Сирена» («Вокруг Чехова», М. 1933, стр. 123). Об одном из эпизодов своей медицинской практики Чехов рассказывал в письме к Н. А. Лейкину от 27 июня 1884 г.: «Встревоженная деревушка, понятые, десятский с бляшкой, баба-вдова, голосящая в 200 шагах от места вскрытия, и два мужика в роли кустодиев[1] около трупа... Около молчащих кустодиев тухнет маленький костер... Стеречь труп днем и ночью до прибытия начальства — мужицкая, никем не оплачиваемая повинность... Труп в красной рубахе, новых портах, прикрыт простыней... На простыне полотенце с образком».

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 37, 14 сентября. Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений рассказ стилистически переработан.

В письме от 5/6 сентября 1885 г. Н. А. Лейкин жалуется на отсутствие «запасных» рассказов Чехова, необходимых в связи с цензурными гонениями на «Осколки» и, в частности, как можно видеть из его писем, на рассказы Чехова: «Что прикажете помещать в «Осколках», если постоянные сотрудники журнала, вместо того чтоб измышлять и писать, предпочитают удить рыбу, бродить по лесам, или благодушествовать, лежа на траве кверху брюхом и созерцая небеса?.. Вы возразите мне, что у меня лежали Ваши рассказы, а я не помещал их, но я не могу быть без запаса, я издаю журнал подцензурный, где часто по капризу цензора, живущего летом на даче, не подписывается целый корректурный лист, назначенный к текущему номеру... Вот из запаса-то, заранее пропущенного цензором и лежащего уже в типографском наборе, я и составлял часто номер... Ваши

[1] сторожей (от *лат.* custos — страж).

рассказы я оставлял в запас. Как появлялся Ваш второй рассказ, я сейчас пускал в печать Ваш первый рассказ, а второй шел в запас. Только так и может вестись дело подцензурного журнала... Подцензурность вещь ужасная. Критерия не может быть никакого. Сегодня это пропускается цензурой, завтра не пропускается и наоборот. Все зависит от настроения цензора...»

«Женское счастье» Л. Н. Толстой отнес к лучшим рассказам Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

Стр. 235. *...Анну первой степени...*— Орден св. Анны имел четыре степени (первая — высшая).

Стр. 236. *Белого Орла имеет...*— См. прим. к стр 60.

КУХАРКА ЖЕНИТСЯ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 254, 16 сентября, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Рассказ*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка рассказ вошел во все 14 изданий сборника Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886—1899. С небольшой стилистической правкой вошел во все издания сборника «Детвора», Спб. 1889, 1890, 1895. С незначительными исправлениями включен автором в том II собрания сочинений.

Рассказ «Кухарка женится» отнесен Л. Н. Толстым к лучшим рассказам Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

СТЕНА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 38, 21 сентября. Подпись: А. Чехонте. Рассказ включен в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Сохранилась вырезка из журнала «Осколки» с текстом рассказа и автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Стр. 244. *Расплюев* — персонаж из пьес А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1855) и «Смерть Тарелкина» (1868).

ПОСЛЕ БЕНЕФИСА

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 261, 23 сентября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

Стр. 247. *«Блуждающие огни»* (1873) — мелодрама Л. Н. Антропова.

В крыловских пьесах... — Крылов В. А. (псевдоним: Виктор Александров, 1838—1906) — драматург, автор многочисленных пьес и переделок.

Стр. 250. *«Бедный Йорик!»* — слова Гамлета (В. Шекспир, Гамлет, акт пятый, сцена 1).

К СВАДЕБНОМУ СЕЗОНУ

Из записной книжки комиссионера

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 39, 28 сентября. Подпись: Человек без селезенки.

В письме от 10 октября 1885 г. Н. А. Лейкин сообщает Чехову, что цензору «был нагоняй за то, что он пропускает слишком резкие статьи в «Осколках» и именно за № 39... Сам журнал еле уцелел... Председатель... объявил... что начальник Главн. упр. по делам печати вообще против сатирических журналов и не находит, чтобы они были необходимы для публики... Мне приказано, чтобы весь запас каждую неделю посылаем был в Комитет на новое рассмотрение, и мотивировано это тем, что что́ неделю раньше могло быть дозволено, то неделю позже вследствие некоторых циркуляров не может быть уже дозволено».

Сохранились гранки рассказа с текстом, соответствующим журнальному (ЦГАЛИ).

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Последние выводы зубоврачебной науки

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 268, 30 сентября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

Стр. 256. *Боткин* С. П. (1832—1889) — врач-терапевт, выдающийся ученый, крупный общественный деятель.

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 273, 5 октября, в отделе «Летучие заметки», под заглавием «Кляузник», с подзаголовком *Сценка.* Подпись: А. Чехонте.

С измененным названием, без подзаголовка, стилистически исправленный и сокращенный, рассказ включен автором в том II собрания сочинений.

Наиболее существенным исправлениям подверглись показания унтера, в частности, сокращен монолог от слов: «Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять» (стр. 259 наст. изд.), кончая словами: «и урядника» (стр. 261 наст. изд.). В газетной редакции читаем: «Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ расталкивать. Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы они безобразили? Что из этого выйдет, ежели народу волю дать? Они должны еще мне спасибо сказать, потому я для них дорогой человек. А кроме меня, на деревне никто настоящих порядков не знает. Я не мужик сиволапый, ваше высокородие, я в Питинбурге служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, год целый в пожарных состоял. А когда по слабости нездоровья ушел из пожарных, то два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил-с... Все порядки знаю-с... Ежели сами мужики обхождения не понимают, то должны слушаться, потому я для их же пользы... К примеру, взять хоть это дело... Разгоняю я народ и вижу на берегу в песке утоплый труп мертвого человека. По какому полному праву, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Чего урядник глядит? Что же ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет? Так ведь? Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин смеется и говорит: «Что это, говорит, у вас за ферт такой? Нешто мы без него не знаем?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакий, коли тут стоишь без внима-

ния. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому? Нешто в мертвых случаях становой имеет касательство? Тут, говорю, дело уголовное, судебное... Тут, говорю, судьям надо давать знать... Перво-наперво ты должен, говорю, отписать господину мировому судье. Ведь так, ваше высокородие? Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся.— Чего, говорю, рожу кривишь? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? — обращается унтер к Жигину.

— Сказывал.

— Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе сказал.

— Говорите «вы», а не «ты»,— учит мировой.

— Все слыхали, как вы... ты это самое при всем простом народе сказал. Только ежели я на тебя выкаю, то и ты со мной благородно обращайся. Нуте-с, меня, ваше высокородие, так и ошпарило от этих слов. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он повторяет... Я к нему. Как же, говорю, ты смеешь, харя, власть унижать? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя по всем статьям закона в тартарары упечь? А старшина смеется и говорит: «Накося, выкуси! Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны, а которые крупные, до тех он еще не дослужился...» Ей-богу-с... все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ты, говорю, старшина, должен пример подавать, твое дело страх внушать, а ты словно сбесился... власть уничтожаешь! Вместо того чтобы слушать и понимать, они рожу кривят... Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся, возмечтал и о властях рассуждает, размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, полегоньку... чтоб не смел про ваше высокородие такие идеи говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Конечно, ваше высокородие, я виноват, что погорячился... Надо было только по начальству донести, а я бить стал».

Для собрания сочинений конец написан заново, от слов:

«— По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился...» (стр. 262 наст. изд.).

До появления рассказа в «Петербургской газете» Чехов посылал его Н. А. Лейкину для журнала «Осколки», под назва-

нием «Сверхштатный блюститель». В своем ответе от 5/6 сентября 1885 г. Лейкин писал: «Сократил немножко и рассказ «Сверхштатный блюститель». Не удался он Вам и длинен. Да длинен-то бы еще ничего, а сух очень, так уж пусть будет сухота покороче. Впрочем, я сократил очень немного».

Рассказ не был пропущен цензурой. Цензор Сватковский в докладе от 18 сентября 1885 г. писал: «Статья эта принадлежит к числу тех, в которых описываются уродливые общественные формы, явившиеся вследствие усиленного наблюдения полиции. По резкости преувеличения вреда от такого наблюдения статья не может быть дозволена». Согласно заключению цензора, Комитет определил: «Статью к напечатанию не дозволять» (ЦГИАЛ).

В связи с этим Лейкин извещал Чехова 16 сентября: «Цензор не разрешил к печати Ваш рассказ «Сверхштатный блюститель». Что он нашел в нем либерального — не понимаю. Представил рассказ во вторую инстанцию — в Ценз. комитет. Если и там не дозволят к печати, то рассказ возвращу Вам в корректурном оттиске».

Хлопоты Н. А. Лейкина в Цензурном комитете оказались безрезультатными, о чем он сообщил Чехову 26 сентября: «Рассказ не прошел в двух инстанциях. Что узрила в нем такого опасного цензура — просто руками развожу. Не поняла ли она выставляемого Вами ундера как деревенского шпиона, назначенного на эту должность? Но ведь это совсем не похоже. Тут просто, по-моему, кляузник con amore[1]. Рассказ этот у Вас непременно уйдет в «Петербургской газете». Не посылайте только туда его в корректуре, а перепишите. Худеков страшный трус. Узнает, что рассказ не пропущен цензурой для «Осколков», и ни за что не поместит».

«Получил Ваше письмо,— писал в ответ Чехов,— с корректурой моего злополучного рассказа... Судьбы цензорские неисповедимы! Покорный Вашему совету, шлю изгнанника в «Петербургскую газету» (30 сентября 1885 г.). Посылая рассказ в «Петербургскую газету», Чехов озаглавил его «Кляузник».

В письме от 1 или 2 октября 1885 г. Чехов сообщал Лейкину, что не пропущенный цензурой рассказ «пошел в «Петербургской газете» под другим названием».

---

[1] по призванию *(итал.)*.

ДВА ГАЗЕТЧИКА

Неправдоподобный рассказ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 40, 5 октября. Подпись: А. Чехонте. Вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Стр. 264. *Цукки* Вирджиния (1847—1930) — итальянская балерина, выступала в Мариинском театре в 1885—1887 гг.

Бисмарк — см. прим. к стр. 223.

Стр. 265. *Нотович О. К.*— см. прим. к стр. 185.

Стр. 266. *Румелия* — так называли часть территории Балканского полуострова, насильственно присоединенную к Турции в XIV—XVI вв. В XIX в. в состав Румелии входили: Болгария, Герцеговина, Албания.

ПСИХОПАТЫ

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 275, 7 октября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст соответствует газетному.

30 сентября 1885 г. Чехов писал Н. А. Лейкину: «Отчего Вы для передовицы не хотите воспользоваться процессом Мироновича? Почему не посмеяться над следствием, над экспертами, фатящими, допрашивающими свидетелей, требующими эффекта ради вырытия покойницы, над защитой и ее претензиями (водолазы, наприм.) и проч.».

Процесс Мироновича нашел отражение в рассказе «Психопаты».

Стр. 267. *Румелия* — см. прим. к стр. 266.

Стр. 268. *Бисмарк* — см. прим. к стр. 223.

Чемерица — ядовитое растение.

Стр. 269. *Миронович, Семенова, Безак* — подсудимые в нашумевшем уголовном процессе об убийстве тринадцатилетней Сарры Беккер, служившей в ссудной кассе Мироновича. Процесс,

происходивший в 1884 г., по протесту прокурора был возобновлен в 1885 г.

Карабчевский Н. П. (1851—1925) — адвокат-криминалист, защищавший Мироновича.

Ашанин — судебный следователь по особо важным делам, вел «Дело Сарры Беккер».

Стр. 270. *Эргард, Сорокин* — профессора медицины, выступавшие на процессе в качестве судебных экспертов.

Шарко Жан-Мартен (1825—1893) — французский врач-невропатолог.

Монбазон — французская опереточная актриса, гастролировавшая в Москве в 1885 г.

Ивановский И. И. (1807—1886) — юрист, профессор международного права Петербургского университета.

НА ЧУЖБИНЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 41, 12 октября. Подпись: А. Чехонте. С небольшой стилистической правкой рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887. С исправлениями включен во 2-е издание сборника Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1891, и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С небольшими стилистическими изменениями включен автором в том II собрания сочинений.

Как и во многих рассказах «осколочного» периода, сняты вульгарные обороты: «стрескать», «харкает» (заменено на «съесть», «плюет»), фамилия помещика Какишев заменена на Камышев.

Н. А. Лейкин писал Чехову 10 октября 1885 г.: «На чужбине» пропущено по определению Комитета и ушло в № 41». Видимо, в первой инстанции рассказ не был пропущен цензором, в связи с чем и понадобилась апелляция в Цензурный комитет.

В этом же письме Н. А. Лейкин сообщал Чехову о цензурных гонениях на «Осколки», в частности, на рассказы Чехова «Звери» (опубликовано под названием «Циник»), «На чужбине» и заметки «Осколки московской жизни». В ответном письме Чехов писал: «Придется подождать, потерпеть... Но думаю, что придется сокращаться бесконечно» (12 октября 1885 г.).

Л. Н. Толстой отнес «На чужбине» к числу лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

Стр. 274. *Спасибо немцам за то, что побили...* — Имеется в виду поражение французов во франко-прусской войне 1870—1871 гг.

Наполеон — Наполеон III Бонапарт (1808—1873).

Гамбетта Леон (1838—1882) — французский политический деятель, один из лидеров буржуазных республиканцев.

ИНДЕЙСКИЙ ПЕТУХ

Маленькое недоразумение

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 282, 14 октября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

Стр. 277. *Румелия* — см. прим. к стр. 266.

СОННАЯ ОДУРЬ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 289, 21 октября, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. Включен автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений рассказ значительно переработан: сделаны сокращения, проведена стилистическая правка.

При переработке размышления героя освобождены от некоторой грубоватости, более мрачный характер приобретают картины, встающие в его воображении. Так, вычеркнуто Чеховым после слов: «Если бы у людей были носы подлиннее...» (стр. 281 наст. изд.) следующее: «...так, чтобы мне, например, можно было проткнуть носом глаз тому рыжему присяжному заседателю. И так в зале тесно, а с длинными носами было бы еще тесней. Впрочем, зала просторная, хорошая. Чай, можно кадриль в двадцать пар плясать. Посадить туда, где судейский стол, оркестр, наканифолить полы, и жарь. Зала дышит холодом, сухой канцелярщиной, но если к потолку прицепить люстру, повесить на окна

портьеры, наставить кругом бархатной мебели, то лучше и не надо. А сколько примерно в этой зале поместится таких маленьких комнаток, как мой кабинет?» После слов: «...мамка с третьим произведением» (стр. 282 наст. изд.) было: «Вообще, противны мне эти кормилицы. Тупы, глупы, животны, но чванны, капризны, напичканы собственным достоинством, словно иметь молоко и в самом деле мудреная, великая штука». Значительным сокращениям подверглись размышления о жене, теще; так, например, лаконичная фраза: «Считают, записывают и находят в конце концов, что расходы безобразно велики» (стр. 283 наст. изд.) заменила следующее: «Берут в руки карандаш и считают... Орфография не входит в программу хорошего тона, и потому ѣ и е ужасно невежничают. Надя пишет: «Кирасину на 15 копе, черного хлеба для людей на 30 ко, пратчка 1 ру.» А теща прибавляет: «Извожчику 40 кап, дитям леденцов от кашля 15 кап». Обе в конце концов находят, что расходы безобразно велики.

— Еще бы! — фыркает теща.— Если бы он заработанные проедал, а то на твое приданое живет! Шутка ли, не успела замуж выйти, как уже нет трех тысяч... Где они! Нет, Надин, права я была, когда не советовала тебе за адвоката выходить...

Засим приглашается кухарка, и начинается брань... Экономия великая штука, но у тещи и жены в их экономии не хватает джентльменства. Из-за пятака поднимут такой визг и скажут столько ядовитых слов, что даже от кухарки совестно... Вслед за сокращением расходов начинается приборка комнаты, перестановка стульев, варварское поломойство...»

Вычеркнуты иностранные слова, а также вульгаризмы «рыло», «подлая» и др.

СРЕДСТВО ОТ ЗАПОЯ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 43, 26 октября, под названием «Битая знаменитость, или Средство от запоя», с подзаголовком *Из актерской жизни.* Подпись: А. Чехонте. С небольшими сокращениями, под названием «Битая знаменитость», рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887. Включен автором в том I собрания сочинений.

При включении в собрание сочинений изменено заглавие, рассказ подвергся незначительным стилистическим исправлениям.

12 октября 1885 г., посылая рассказ в журнал «Осколки», Чехов писал Н. А. Лейкину: «Ныне, получив Ваше письмо и

узнав про судьбу моих 3-х вещей (см. прим. к рассказу «На чужбине».— *Е. Ш.*), я шлю Вам рассказ, который писал не для «Осколков», а для «вообще», куда сгодится. Рассказ немножко длинен, но он трактует об актерах, что ввиду открытия сезона весьма кстати, и, как мне кажется, юмористичен».

В ответном письме от 17/18 октября Н. А. Лейкин сообщает Чехову: «Рассказ Ваш «Битая знаменитость» набран и пропущен цензурой, но как ни старался я его втиснуть в № 42 — никак не мог и оставил в запас». Далее Н. А. Лейкин пишет: «Прочел Ваше письмо и вижу Ваше безвыходное положение. Писать надо больше, одно скажу. Надо выгнать из себя ленивого человека и нахлыстать себя... Вы говорите, надо читать, заниматься наукой. Ничего не значит... Вот, например, что у Вас много отнимает времени: зачем Вы перебеливаете Ваши рассказы? Кто это нынче делает? Пишите прямо набело. Написал, прочел и посылаю, исправив кое-что — вот как все журнальные работники делают».

КОНТРАБАС И ФЛЕЙТА

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 296, 28 октября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЖЕНИТЬСЯ

Секретно

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 44, 2 ноября. Подпись: Человек без селезенки.

Посылая рукопись в «Осколки», Чехов, в ответ на советы Н. А. Лейкина «не перебеливать» рассказы (см. прим. к рассказу «Средство от запоя»), писал: «Рукописей я не перебеляю. Чаще всего я отсылаю черновики, перебеляю же только для «Осколков» и то иногда, когда кажется мне, что начало рассказа длинно, когда во время письма вдруг явится желание изменить что-нибудь in согроге[1] и проч. Всегда перебеляю моск. жизнь, ибо пишу ее с потугами. Такие же вещи, как посылаемая, я пишу обыкновенно начисто» (20 октября 1885 г.).

---

[1] в целом (*лат.*).

Сохранились гранки рассказа с текстом, соответствующим журнальному (ЦГАЛИ).

Стр. 300. *Мессалина* Валерия (I в.) — жена римского императора Клавдия, известная своим распутством.

Нана — героиня романа французского писателя Э. Золя «Нана» (1880), кокотка.

НИНОЧКА

Роман

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 303, 4 ноября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

ДОРОГАЯ СОБАКА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 45, 9 ноября. Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887. Без разрешения автора перепечатан в журнале «Сверчок», 1889, № 1, 5 января. Включен в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений рассказ стилистически переработан.

ПИСАТЕЛЬ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 310, 11 ноября, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка.* Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том II собрания сочинений.

Для собрания сочинений рассказ подвергся правке: снят подзаголовок, сделаны сокращения в речи писателя, в тексте рекламы.

В рассказе использована тема одного из чеховских фельетонов в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1884, № 33, 18 августа).

Стр. 313. *...капулю...* — См. прим. к стр. 208.

ТАПЕР

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1885, № 45 (разр. ценз. 14 ноября). Подпись: А. Чехонте. Рассказ включен в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Вслед за появлением рассказа в журнале «Будильник» Чехов получил письмо от Н. А. Лейкина (от 20/21 ноября) с нареканиями по поводу того, что рассказ «Тапер» не был прислан в «Осколки».

«...сегодня,— писал Н. А. Лейкин,— получив № 45 «Будильника», к несказанному моему удивлению и прискорбию, увидел за Вашей подписью рассказ «Тапер». Целый год Вы не писали в «Буд.» или по крайней мере не выставляли Вашей подписи, а перед самой подпиской Вас словно прорвало! ...Своим появлением перед самой подпиской и во время подписки (в декабре и январе) в «Будильнике» и «Развлечении» Вы и Пальмин сделали то, что в 1885 году я утерял против 1884 года около четырехсот подписчиков (это между нами), так по крайней мере мне думается... Скажите, отчего Вам было не прислать этого «Тапера» в «Осколки»? Он тотчас же был в них напечатан без очереди, если бы Вы об этом попросили, был бы напечатан даже вместе с другим рассказом «Старость»...» («Новый мир», 1940, № 2—3).

«Знай я, что этот мой «Тапер» послужит достаточным поводом для обвинения меня в злокачественности,— отвечал 23 ноября 1885 г. Чехов,— я, конечно, не написал бы его... Знай я, что «Осколки» держатся таких-то и таких правил, я не стал бы в чужой монастырь со своим уставом ходить и или вовсе бы не дал «Будильнику» рассказ, или попросил бы напечатать его с другой подписью... Но беда в том, что я не знал еще до сих пор тех журнально-дипломатических тонкостей, которые Вы перечисляете... Черт возьми, почем я знаю, что «Будильник» печатает меня теперь только потому, что теперь время подписки? Попросил он у меня рассказа, как всегда просит, я и дал, ничего не подозревая и не желая подозревать, тем более что и летом я давал им рассказы,— летом, когда подписка и не снится... Печатает меня «Будильник», правда, редко, ибо я для него дорог, но не думаю, что последние номера его стараются теперь казаться более дорогими, чем они были в июле. То же самое могу сказать и о «Развлечении»...

«Тапера» я дал в октябре... Не дать чего-нибудь не мог, ибо «Будильнику» я должен с самого лета. Должен пустяки, но все-таки отдать надо...»

Стр. 320. *Мудрый Эдип, разреши!* — Эдип — мифический древнегреческий царь города Фив, разгадавший загадку сфинкса, которую до него никто разрешить не мог.

«Боккачио» — оперетта австрийского композитора Ф. Зуппе (1819—1895).

ПЕРЕСОЛИЛ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 46, 16 ноября. Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с небольшими исправлениями вошел во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С заменой отдельных слов включен автором в том II собрания сочинений.

БЕЗ МЕСТА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 317, 18 ноября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

БРАК ЧЕРЕЗ 10—15 ЛЕТ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1885, № 46 (разр. ценз. 21 ноября). Подпись: Брат моего брата.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

Стр. 336. *...так же несвоевременно, как... похищать сабинянок.*— Согласно легенде, римляне похищали женщин из племени сабинян, поселившихся на одном из холмов древнего Рима.

СТАРОСТЬ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 47, 23 ноября. Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с новыми исправлениями

(опущено название города «Цирульск», сокращена характеристика стряпчего Шапкина) вошел во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). Включен автором в том III собрания сочинений.

При подготовке рассказа для собрания сочинений Чеховым вычеркнут конец: «Старость! — думал он.— Одно удовольствие — слезы, да и те не текут!»

ГОРЕ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 324, 25 ноября, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Зимняя картинка*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка включен в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с исключением отдельных фраз вошел во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). Издан И. Д. Сытиным в 1894, 1895 и 1897 гг. вместе со стихотворением французского писателя Эж. Манюэля «Дележ».

С сокращениями рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

Критик Звенигородцев (псевдоним В. И. Покровского) вспоминает: «В двух верстах от Воскресенска была Чикинская земская больница, которой заведовал известный тогда земский врач П. А. Архангельский... Скоро он (А. П. Чехов.— *Е. Ш.*) близко сошелся с П. А. Архангельским, часто принимал у него больных, и вообще любил бывать в Чикине. Больница эта дала ему темы для многих его рассказов: «Хирургия», «Пашка», «Горе», «Беглец». (Сб. «Антон Павлович Чехов. Его жизнь и сочинения», М. 1907, стр. 7.)

«Вернувшись домой вчера,— писал Чехову 27 ноября 1887 г. поэт Л. И. Пальмин, сотрудник «Осколков»,— прочел Ваш рассказ «Горе». По-моему, это лучшее, что когда-нибудь Вы до сих пор писали. Странное впечатление производит этот полный жизненной правды очерк: становится и смешно и грустно. Тут, как и в народной жизни, смешное переплетается с мрачным. Жаль, что этот блестяще удавшийся Вам рассказец не поместили Вы в «Осколках».

Л. Н. Толстой считал «Горе» одним из лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

НУ, ПУБЛИКА!

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 48, 30 ноября. Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886, во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С небольшими исправлениями включен автором в том II собрания сочинений.

«Ну, публика!» отнесено Л. Н. Толстым к лучшим рассказам Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

ТРЯПКА

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 331, 2 декабря, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст соответствует газетному, за исключением одной фразы: «Он норовит пройти мимо» исправлено автором на «Он будет норовить пройти мимо».

Стр. 359. *...à la Генрих в Каноссе...*— Германский император Генрих IV (1050—1106), отлученный папой римским от церкви, явился к нему в замок на севере Италии (Каносса) и три дня в одежде кающегося грешника простоял у ворот, чтобы заслужить прощение.

Стр. 360. *...живую картину «Юдифь и Олоферн»...*— согласно библейскому преданию, Юдифь убила вавилонского полководца Олоферна и тем спасла иудеев, осажденных войсками царя Навуходоносора.

СВЯТАЯ ПРОСТОТА

Рассказ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 338, 9 декабря, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

ШИЛО В МЕШКЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 50, 14 декабря, с подзаголовком *Рассказ*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка и с стилистической правкой рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с новой правкой включен во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С небольшими стилистическими исправлениями включен автором в том II собрания сочинений.

Стр. 368. *«А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!»* — «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!» — слова городничего из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», действие первое, явление I.

ЦИНИК

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 345, 16 декабря, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Первоначально рассказ, под названием «Звери», был послан Чеховым в журнал «Осколки».

Рассказ не был пропущен цензурой «по тенденциозности, неуместности, обличительному характеру и неприличию». В докладе цензора Сватковского С.-Петербургскому Цензурному комитету от 9 октября 1885 г. сказано: «Имея в виду неопределенность тенденции и возможность понимать ее в дурную сторону, цензор полагает не дозволять этой статьи» (ЦГИАЛ). В связи с цензурным запрещением Н. А. Лейкин писал Чехову 10 октября 1885 г.: «Случилась беда. Не будь запасного набора, я не мог бы составить и номера. Целый погром. Цензор все захерил: и Ваших «Зверей»... Я просил пропустить «Зверей» и утверждал, что это невинный рассказ, но в комитете мне сказали: «Неужели мы не понимаем, что тут идет речь не о зверях!..» Корректуру «Зверей» посылаю при сем. Рассказ у Вас не пропадет. Перепишите его (непременно перепишите) и пошлите в «Петербургскую газету». Там напечатают. Рассказ невинен».

«Погром на «Осколки»,— писал в ответ Чехов (12 октября),— подействовал на меня, как удар обухом... С одной стороны, трудов своих жалко, с другой — как-то душно, жутко... Что дозволено сегодня, из-за того придется съездить в комитет

завтра, и близко время, когда даже чин «купец» станет недозволенным фруктом».

Посылая рассказ в «Петербургскую газету», Чехов озаглавил его «Циник», произвел стилистическую правку.

Стр. 374. *...оставьте всякую надежду!* — из первой части «Божественной комедии» итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321) «Ад», песнь 3, строка 9; надпись у входа в ад: «Оставь надежду навсегда».

MARI D'ELLE

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 347, 18 декабря, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

Стр. 380. *Лентовский* — см. прим. к стр. 125.

АНТРЕПРЕНЕР ПОД ДИВАНОМ

Закулисная история

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 51, 21 декабря. Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том I собрания сочинений.

При подготовке рассказа для собрания сочинений была проведена стилистическая правка.

СОН

Святочный рассказ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 354, 25 декабря. Подпись: А. Чехонте.

В письме от 20/21 ноября 1885 г. Н. А. Лейкин сообщал Чехову: «У меня хранится с прошлого года Ваш святочный рассказ «Сон». Он несколько мистичен, но я попробую исправить его несколько, и он все-таки пойдет на святках. Вы, может быть,

забыли об этом рассказе, но рассказ этот большой» («Новый мир», 1940, № 2—3). «Спасибо за открытие, что у Вас имеется «Сон»,— отвечал Чехов (23 ноября 1885 г.).— Если это что-нибудь путевое и достойное праздничного номера, то пришлите его мне. Я подвергну его переделке и вышлю немедленно».

В ответном письме от 27 ноября Н. А. Лейкин пишет: «Святочный рассказ, о котором писал, вышлю на днях страховым письмом. Действительно, Вам самому лучше его исправить». 7/8 декабря Лейкин отсылает рассказ Чехову для переделки. Упрощая чеховский замысел, Н. А. Лейкин дает ему многочисленные советы, которые должны «улучшить» рассказ. «Мне кажется, надо переделать весь конец и выяснить для читателя, почему оценщик попал в арестантские роты, почему он свое преступление считает сном, а не действительностию. Сделайте оценщика больным человеком, что ли, страдающим галлюцинациями, лунатизмом, что ли, хотя последняя болезнь и отрицается. Возьмите Гризингера[1], почитайте и найдете оценщику какую-нибудь подходящую болезнь, в припадке которой могло бы быть им совершено бессознательное расхищение вещей и отдача их нищим и настоящим ворам, которые фигурируют в рассказе. Мне кажется, что именно надо так сделать, чтобы рассказ был ясен и реален, а впрочем Вам как автору с горы виднее».

Однако, как явствует из текста, Чехов не воспользовался советами Лейкина. После переработки Чехов послал рассказ в «Петербургскую газету», где он и был опубликован.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Святочный рассказ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1885, № 52, 28 декабря. Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с исправлением отдельных фраз включен во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). Включен автором в том II собрания сочинений.

Исправляя рассказ для собрания сочинений, Чехов вычеркнул шутливые обороты, характерные для «осколочного» периода.

---

[1] Гризингер Вильгельм — профессор медицины Берлинского университета, автор книги «Душевные болезни», вышедшей на русском языке в 1867 г.

Так, снят конец фразы о бедном чиноше; после слов: «холодно, неуютно, точно он заболел тифом» было «или только что получил повестку следователя» (стр. 398 наст. изд.).

В размышлениях коллежского секретаря о значении восклицательных знаков, выражающих «восторг, негодование... и прочие чувства» (стр. 397 наст. изд.), вычеркнута фраза: «Гм... никогда отродясь этого в наших бумагах не видывал...», возможно в связи с тем, что об этом же (в следующем абзаце) более развернуто сказано в авторской ремарке.

Стр. 395. *...сын статского советника и сам имел право на чин X класса...*— Статский советник, согласно табели о рангах, чин V класса; чин X класса — коллежский секретарь (см. прим. к стр. 10).

ЗЕРКАЛО

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1885, № 358, 30 декабря, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с исправлениями включен во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). Включен автором в том III собрания сочинений.

Включая рассказ во 2-е издание сборника «Пестрые рассказы», Чехов подверг его правке. Описанию будущего, которое видит в зеркале Нелли (фамилия Ходаковская опущена), предшествовали размышления о браке, снятые Чеховым, вероятно, как слишком зрелые для молоденькой девушки. После слов: «...и Нелли отчетливо, во всех подробностях, видит свое будущее» (стр. 400) вычеркнуто: «По щеке Нелли ползет слеза. Чувство невыразимого наслаждения уступает место ощущению давящей боли. Девушка видит, что за сладкой иллюзией кроется что-то похожее на жестокий и чудовищный обман. На сером фоне проходит пять-шесть лет. *Он* по-прежнему красив, умен, кротко улыбается, но... Она уже привыкла к нему, как к своим глазам, ушам, носу, и чувствует мужа только тогда, когда грозит потеря его. Нет его — она не нужна, есть он — счастье не чувствуется. Далее серый фон говорит, что природа нагло лжет, что *он* не составляет все, будь он хоть ангел, семи пядей во лбу. Для личного счастья недостаточно согласного дуэта. Тут нужно согласное трио, где третьим лицом была бы сама жизнь. Но жизнь никогда

не вступит в союз. Она всегда идет особняком. И Нелли не видит счастья. Как *он* ни идеален, но жизнь с ним кажется ей бременем, горечью, тяжелым багажом».

Вычеркнута и последняя фраза: «Идя спать, она уже не мечтает о замужестве».

НОВОГОДНИЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 1, 4 января. Подпись: А. Чехонте.

28 декабря 1885 г. Чехов писал Н. А. Лейкину: «Сегодня послан Вам не совсем удавшийся новогодний рассказ. Хотел написать покороче и испортил».

Стр. 404. *...ухвати жена Пентефрия какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду...*— В библии рассказывается, что сын патриарха Иакова, Иосиф Прекрасный, проданный братьями в рабство, отверг любовные притязания жены египетского царедворца Пентефрия, которая, удерживая его, ухватилась за его одежды.

...Станислава третьей степени.— Орден св. Станислава имел три степени, третья — низшая.

ХУДОЖЕСТВО

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 5, 6 января, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Рассказ.* Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. Со стилистической правкой и сокращениями опубликован в «Нашем времени» (бесплатное приложение к «Петербургской газете»), 1899, № 52, с иллюстрациями Ф. Казачинского. С небольшими сокращениями включен автором в том II собрания сочинений.

При подготовке рассказа для «Нашего времени» переработано следующее место (стр. 411 наст. изд.): «Он спотыкается, бранится, клянется, что сейчас пойдет на реку и сломает всю свою работу. Это он ищет подходящих красок. Вот он, сваливая на пути мешки и бочонки, вбегает в лавку.

— Сурику поскорей! — задыхается он.— Брось там, черт, баранки нанизывать, сурику давай. А синька есть?

Переворочав все товары и напихав карманы охрой, синькой, суриком и медянкой, он, не заплатив ни копейки, опрометью выбегает из лавки. Из лавки рукой подать в кабак. Тут выпьет, мах-

нет рукой и, не заплатив, летит дальше. В одной избе берет он квасу из свекловичных бураков, в другой требует, чтобы ему приготовили отвару из луковичной шелухи, который употребляет он вместо желтой краски. Он бранится, привередничает, не платит и... хоть бы одна живая душа огрызнулась!»

Кроме того, после слов: «теперь остается только колоть лед» (стр. 408 наст. изд.) было: «но Сережа недоволен своим чертежом.

— Кажись, не ровно...— бормочет он, почесывая затылок.— И левей бы надо взять... А? Да, левей. А то пущай этот остается. Мне все равно. Плевать я хотел. Не обязан я за вас делать...»

Упоминаемый в рассказе Сережки Степка Заикин изменен на Степка Гульков.

В письме к брату Александру Павловичу Чехов сообщает, что, будучи в Петербурге, «познакомился с редакцией «Петербургской газеты», где был принят, как шах персидский», и добавляет: «Я был поражен приемом, который оказали мне питерцы». (Письмо от 4 января 1886 г.)

НОЧЬ НА КЛАДБИЩЕ

Святочный рассказ

Впервые напечатано в журнале «Сверчок», 1886, № 1, 8 января. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 415. *Депре, Бауэр, Арабажи* — марки вин.

НЕУДАЧА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 2, 11 января, под заглавием «Сорвалось!». Подпись: А. Чехонте. В переработанном виде включено автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений изменено заглавие и конец, произведена стилистическая правка; имя матери Егоза Петровна изменено на Клеопатра Петровна.

В журнальной публикации рассказ оканчивался так: «Да нешто это образ? — Щупкин поднял глаза и... возликовал: мамаша впопыхах сняла со стены портрет писателя Лажечникова. Все погибло! Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал».

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

Рассказ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 12, 13 января, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась рукописная копия рассказа с автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

ДЕТВОРА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 19, 20 января, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка.* Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с незначительными исправлениями включен во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). Этим рассказом открывается сборник Чехова «Детвора», Спб. 1889; вошел в его последующие издания (1890, 1895). Включен автором в том III собрания сочинений.

По воспоминаниям М. П. Чехова («Вокруг Чехова», М.— Л. 1933, стр. 114), летом 1885 г. Чехов бывал в семье полковника Маевского, с которой познакомился в Воскресенске: «Жили в Воскресенске еще две-три интересные семьи, но центром всей воскресенской жизни была все-таки семья Маевских. У них были очаровательные дети — Аня, Соня и Алеша, с которыми сдружился мой брат Антон Павлович и описал их в рассказе «Детвора».

Л. Н. Толстой отнес «Детвору» к числу лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

ОТКРЫТИЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 4, 25 января. Подпись: А. Чехонте.

19 января 1886 г. Чехов извещает Н. А. Лейкина, что послал в «Осколки» рассказ «Открытие»: «Как ни старался, добрейший Николай Александрович, попасть Вам в жилку — послать рассказ к понедельнику, но не успел. Много всякой работы, да и не клеилось писанье. Шлю сейчас рассказ».

Стр. 433. *«Навозну кучу разрывая...»* — из басни И. А. Крылова «Петух и жемчужное зерно» (1809).

Стр. 436. *Фидий* (нач. V в. до н. э.— ок. 432—431 до н. э.) — древнегреческий скульптор.

Гомер (между XII и VIII вв. до н. э.) — легендарный древнегреческий поэт, которому приписывают поэмы «Илиада» и «Одиссея».

На что плох Тредьяковский, и того помнят...— Тредиаковский В. К. (1703—1769) — поэт, переводчик, ученый, автор труда «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) и др.; ироническое отношение вызывали его тяжеловесные стихи, написанные архаическим языком.

...нет Анны и Станислава...— См. прим. к стр. 43 и 49.

ТОСКА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 26, 27 января, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. С заменой отдельных слов рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; после правки включен во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). Перепечатан в сборнике «Проблески», изд. «Посредник», М. 1895. С новыми исправлениями включен автором в том III собрания сочинений.

Во втором издании «Пестрых рассказов» вычеркнута фраза: «Ничего ведь нет легче, как выслушать человека...» (после слов: «...хоть один, который выслушал бы его?» (стр. 440 наст. изд.).

Говоря об Ионе, Чехов заменяет литературные обороты более простыми, разговорными. Так, в фразе: «Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и, больше по традиции чем по необходимости, машет кнутом», Чехов заменяет «по традиции» на «по привычке», «по необходимости» на «по нужде» (стр. 438 наст. изд.). Для собрания сочинений исправлена фраза: «...и гул уличной суматохи достигает своего «forte» — «уличная суматоха становится шумнее» (стр. 437 наст. изд.).

Брат писателя Ал. П. Чехов писал ему 4 апреля 1892 г.: «...вспоминаются слова твоего рассказа, где Иона говорит кобыле: «Был у тебя, скажем, жеребеночек и помер, и ты ему, скажем,— мать... Ведь жалко?»... Я, конечно, привираю, но в этом месте твоего рассказа ты — бессмертен». («Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова», М. 1939, стр. 258.)

Л. Н. Толстой включил «Тоску» в список лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

Стр. 437. *«Кому повем печаль мою?..»* — слова из псалтыри, книги псалмов.

НОЧЬ ПЕРЕД СУДОМ

Рассказ подсудимого

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 5, 1 февраля, с подзаголовком *Случай из моей медицинско-шарлатанской практики.* Подпись: А. Чехонте. С измененным подзаголовком и незначительными исправлениями рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887. С новыми стилистическими исправлениями (замена слов) включен автором в том I собрания сочинений.

Включая рассказ в сборник «Невинные речи», Чехов изменил последнюю фразу. Вместо: «Эх, лучше бы мне на свет не родиться, чем видеть себя в этаком положении!» — в новой редакции читаем: «Что-то будет?»

Еще в ноябре 1884 г. Чехов посылал этот рассказ в журнал «Стрекоза» (за подписью: Дяденька), о чем он 17 декабря писал сотруднику журнала П. А. Сергеенко (печатавшемуся под псевдонимом «Эмиль Пуп»), которому был посвящен рассказ в первоначальной редакции. Рассказ не был опубликован, так как редакция журнала сочла его слишком большим для «Стрекозы».

В связи с цензурными придирками к чеховским рассказам, Н. А. Лейкин писал 6/7 февраля 1886 г.: «Решительно не понимаю, добрейший Антон Павлович, что со мной делает цензура. Ваш рассказ, назначенный в № 6 («Анюта».— *Е. Ш.*), не пропущен...» Далее Н. А. Лейкин сообщает, что и в предшествовавшем рассказе («Ночь перед судом») «какие-то строчки о «внебрачносожительственных намеках» были вычеркнуты цензором».

Впоследствии Чехов сделал попытку использовать этот рассказ для водевиля, но работа не была им закончена. Сохранилась черновая рукопись незаконченного водевиля (ЦГАЛИ).

ПЕРЕПОЛОХ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 33, 3 февраля, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Отрывок из романа.* Подпись: А. Чехонте. В переработанном виде включено автором в том II собрания сочинений.

При включении в собрание сочинений были сделаны многочисленные сокращения и исправления, снят подзаголовок, добавлена последняя фраза.

Перерабатывая рассказ, Чехов, как и при всех исправлениях, добивался предельного лаконизма. Так, вместо «Отворявший ей швейцар Михайло был красен как рак и, злобно глядя на маленькую дверь своей швейцарской, ворчал:

— Хорошо! Великолепно! Даже очень прекрасно! Пущай хоть тыщу раз обыскивают! Пущай!

Сверху несся шум, какой бывает, когда несут покойника или выталкивают шулера... Золоченое и устланное коврами антре глядело внушительно, сурово»,— в окончательной редакции читаем:

«Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен как рак.

Сверху доносился шум» (стр. 449 наст. изд.).

Сокращены описания переживаний и размышлений Машеньки Павлецкой (в первой редакции — Поплавской), снят налет вульгарности в размышлениях героини, несколько ироническое отношение автора к ее наивным мечтам. Например, вместо фразы: «О, если бы получить большое наследство... чтобы она позавидовала!» (стр. 453) — было: «Хорошо бы выиграть двести тысяч, купить коляску и прокатить с шиком мимо ее окон: знать тебя не хочу!» Не забыла Машенька в мечтах и благодетельную гласность. Хорошо написать большой роман и осмеять, осрамить в нем на весь свет это бессердечное, глупое бревно, помешанное на нервах, деньгах и на своем мнимом аристократизме.— Ах, как хорошо! — думала Машенька». Сокращена также беседа Николая Сергеевича с Машенькой: вычеркнут его рассказ о прошлом, не имеющий существенного значения для повествования.

Последняя, добавленная Чеховым фраза: «Через полчаса она была уже в дороге» — завершает рассказ сюжетно.

Л. Н. Толстой считал «Переполох» одним из лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

Стр. 451. *...камеру с мышами и мокрицами... в какой сидела княжна Тараканова.*— Имеется в виду популярная в 60—80-х гг. картина К. Д. Флавицкого «Княжна Тараканова» (1864).

БЕСЕДА ПЬЯНОГО С ТРЕЗВЫМ ЧЕРТОМ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 6, 8 февраля. Подпись: Человек без селезенки.

Сохранилась вырезка из «Осколков» с текстом рассказа и автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

«Вместо «Анюты» (см. стр. 543—544 наст. изд.— *Е. Ш.*) в № 6 «Оск.» я поставил Ваш рассказ «Разговор пьяного с трезвым чертом»,— писал Н. А. Лейкин Чехову 6/7 февраля.

Стр. 457. *Прическа à la Капуль* — см. прим. к стр. 208.

Стр. 458. *«Ребус»* — еженедельный «популярно-научный журнал по вопросам спиритуализма, психизма и медиумизма», выходил в Петербурге с 1881 по 1917 г., под редакцией П. А. Чистякова.

Стр. 459. *Цукки* — см. прим. к стр. 264.

АКТЕРСКАЯ ГИБЕЛЬ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 40, 10 февраля, в отделе «Летучие заметки» Подпись: А. Чехонте. Рассказ включен в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с незначительными стилистическими исправлениями вошел во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатан в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С новой небольшой стилистической правкой включен автором в том III собрания сочинений.

Стр. 461. *...в «Князе Серебряном» Митьку играть.*— Добродушный увалень и силач Митька — один из персонажей неоднократно инсценированной повести «Князь Серебряный» (1862) А. К. Толстого.

Стр. 465. *Риголетто* — придворный шут герцога из оперы итальянского композитора Д. Верди «Риголетто», по драме В. Гюго «Король забавляется» (1832).

ПАНИХИДА

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3581, 15 февраля, в отделе «Субботники». Подпись: Ан. Чехов. С небольшими изменениями рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887; перепечатан в последующих, 2—13, его из-

даниях (1888—1899). С новыми незначительными исправлениями включен автором в том III собрания сочинений.

В собрании сочинений вычеркнуто: «шлендой актеркой» (заменено на «актрисой»).

Посылая рассказ в «Новое время», где Чехов печатался впервые, он подписал его своим обычным псевдонимом: А. Чехонте. Однако из редакции журнала, телеграммой от 14 февраля, запросили разрешения печатать рассказ под настоящей фамилией. «Чехов дал разрешение,— вспоминает А. С. Лазарев-Грузинский,— но пожалел, что так вышло, так как думал напечатать кое-что в медицинских журналах и оставить свою фамилию для серьезных статей» (А. Грузинский, О Чехове, «Русская правда», 1904, № 99).

Отвечая на письмо А. С. Суворина, Чехов писал 21 февраля 1886 г.: «Благодарю Вас за лестный отзыв о моих работах и за скорое напечатание рассказа... Ваше мнение о выброшенном конце моего рассказа я разделяю и благодарю за полезное указание. Работаю я уже шесть лет, но Вы первый, который не затруднились указанием и мотивировкой».

О том, что конец был изменен и сокращен (возможно, Сувориным), свидетельствует и В. Билибин в письме к Чехову от 16 февраля: «Прочитал с удовольствием Ваш рассказ в «Новом времени», только не нашел там старой девы, о которой Вы сообщали. Жду: верно, будет еще». Восстановить конец рассказа не представляется возможным, так как рукопись, посланная Суворину, не сохранилась.

«В 1886 году,— писал Звенигородцев (псевдоним В. И. Покровского),— ...Суворин отличил Чехова в сонме литературных собратий... 15 февраля... помещен был в «Новом времени» его рассказ «Панихида». С этого времени по субботам стали появляться миниатюры Чехова — эти акварельки будничной жизни, преимущественно провинциальной». (Сб. «Антон Павлович Чехов. Его жизнь и сочинения», М. 1907, стр. 11.)

Стр. 471. *Чечевица Исава, казнь Содома и бедствия маленького мальчика Иосифа...*— Имеются в виду библейские сказания о старшем сыне патриарха Исаака, Исаве, уступившем за чечевичную похлебку свои права первородства младшему брату Иакову; об уничтожении города Содома в наказание за неправедную жизнь его жителей; о любимом сыне патриарха Иакова, Иосифе Прекрасном, проданном братьями в рабство.

ГЛУПЫЙ ФРАНЦУЗ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 7, 15 февраля. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из «Осколков» с текстом рассказа и автографом писателя: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

АНЮТА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 8, 22 февраля. Подпись: А. Чехонте. С небольшими исправлениями рассказ вошел в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. После переработки включен автором в том II собрания сочинений.

Включая рассказ в собрание сочинений, Чехов сократил его и стилистически исправил, некоторые места были написаны заново.

Существенно переработана Чеховым вторая половина рассказа. Клочков беседует не с юристом Кликушиным (как было в «Осколках»), а с тем же художником Фетистовым (ранее Флюсовым) в присутствии Анюты. Разговор их сокращен; так, например, после слов: «Отчего не помочь, если можешь?» (стр. 479 наст. изд.) — вычеркнуто: «Анюта еще сильнее замигала глазами, но протестовать уже не посмела, и... и живой манекен безропотно последовал за хрипевшим Флюсовым.

Клочков остался один и утонул в зубрячке. Но не успел он прочесть и двух страниц — как опять отворилась дверь и в номерок вошел юрист Кликушин.

— Обедать пора идти...— сказал он, растягиваясь на диване и оглядывая номерок». Снято и далее, после слов: «Все время занята» (стр. 480 наст. изд.): «Хоть даже эту самую Анюту взять... Ну, что за эстетика? Ни кожи, ни рожи, глупа... грязна! Развитой человек! Эх!

— Это я сам отлично понимаю,— махнул рукой Клочков,— но куда я ее дену? Ведь если я ее прогоню, так она без куска хлеба останется, поймите! Она работает и зарабатывает, пока у нее есть привязанность, а как только у подлой бабенки нет идола, которому она могла бы приносить в жертву четверки табаку и куски сахару, так и валяется без дела.

— Чепуха, не бойтесь, не умрет с голода...»

Вычеркнут и следующий затем разговор Клочкова с Анютой. После «Нам нужно расстаться» (стр. 480 наст. изд.) было: «Анюта раскрыла рот и замигала глазами, носом, щеками. Верхняя губа ее покривилась направо, нижняя налево...

— Зачем плакать! — встревожился Клочков.— Согласись, что рано или поздно это должно же кончиться! Ведь должно?

— Я... Я не бу... буду...— всхлипнула Анюта.

— Что ты не будешь?

— Я бу... буду слушаться.

— Эх, да не в этом дело! Ты хорошая, добрая, но... пойми, что вместе нам жить неудобно, нельзя! Не будь дурой и пойми!

Лицо Анюты стало мокро, как окно после дождя. Не вытирая слез и гримасничая, словно от боли, она всхлипывала и вдруг зарыдала.— На... на кого я вас оставлю? — услышал Клочков.— Не... нешто кто без меня да... даст вам папирос? А... а... а... сахар? Нешто без са... сахару мо... можно пить чай? Я... я буду слушаться.

— Ччерт знает что...— проворчал медик.— Ну, ладно,— махнул он рукой.— Не реви, оставайся!»

Всеми этими исправлениями Чехов освободил текст рассказа от некоторого налета вульгаризма, углубил образ Анюты — кроткой, безропотной жертвы, бесчеловечно эксплуатируемой Клочковым и Фетисовым, одалживающими друг другу «девицу» и рассуждающими об эстетике.

Последние строки, начиная с фразы: «Студент потянул к себе учебник и снова зашагал из угла в угол» (стр. 481 наст. изд.), написаны заново. Радикально переработав и дописав конец, Чехов показал, как замкнулся круг безысходной судьбы Анюты, и, возвращаясь к тяжелой атмосфере начала рассказа, усугубил ее новой деталью:

«А в коридоре кто-то кричал во все горло:

— Грригорий, самовар!»

3 февраля 1886 г. Чехов сообщал Н. А. Лейкину: «Шлю рассказ... В нем тронуты студиозы, но нелиберального ничего нет. Да и пора уже бросить церемониться».

Рассказ подвергся цензурным сокращениям. «Анюта» оставлена цензором до комитета, но это равносильно уже, что рассказ погиб для «Осколков»,— писал Чехову Н. А. Лейкин 6/7 февраля 1886 г.— Пуританство какое-то, непременно хотят, чтобы в рассказах не были люди, состоящие в внебрачном сожительстве, что ли! Черт знает что! Ужасно взбешен... Корректурку

«Анюты» пока не прилагаю. Завтра днем поеду к цензору и переговорю с ним. Может быть, что-нибудь и выйдет из этого визита. О результате визита сообщу». В следующем письме (13/14 февраля) Н. А. Лейкин сообщал: «Сейчас получил из Цензурного комитета пакет с Вашим рассказом «Анюта». Комитет пропустил его, но с помарками. Помарки заключаются в том, что затуманено внебрачное сожитие с Анютой студента, затуманено, что и раньше она жила с другими студентами. На мой взгляд, рассказ не очень испорчен и все-таки остался хорош. Корректурку рассказа «Анюта» в неиспорченном виде при сем прилагаю». «Помарки в «Анюте» действительно неважны,— отвечал Чехов, получив корректуру.— Благодарю, что выручили этот мой рассказ...» (16 февраля 1886 г.)

Стр. 479. *Психею. Хороший сюжет...*— Имеется в виду древнегреческий миф о любви юной Психеи, олицетворяющей человеческую душу, и бога любви Эрота.

О БРЕННОСТИ

Масленичная тема для проповеди

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 8, 22 февраля. Подпись: Человек без селезенки.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. П. Чехов. 1885.

«Капитанский мундир». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 32—33.

«Каникель». Художник В. Бескаравайный. 1959. Стр. 96—97.

«Налим». Художники Кукрыниксы. 1953. Стр. 160—161.

«Лошадиная фамилия». Художники Кукрыниксы. 1953. Стр. 224—225.

«Злоумышленник». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 288—289.

«Унтер Пришибеев». Художник В. Бескаравайный. 1959. Стр. 352—353.

«Тоска». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 416—417.

Антон Павлович

ЧЕХОВ

Собрание сочинений, т. 3

Редактор *М. Гордон*
Художественный редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *Э. Зайчикова*

*

Сдано в набор 16/XI 1959 г. Подписано к печати 28/I 1960 г.
Бумага 84 × 108¹/₃₂—17,25 печ. л.,
23,29 усл.-печ. л., 23,27
уч.-изд. л. + 8 вкл. = 23,67 л.
Заказ № 3765.
Тираж 625 000 экз. (300 001—500 000).
Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Первая Образцовая типография
им. А. А. Жданова Московского
городского совнархоза
Москва, Ж-54, Валовая, 28

304 5 1

СОДЕРЖАНИЕ

Праздничная повинность 5
Капитанский мундир 9
У предводительши 16
Живая хронология 21
Служебные пометки 24
Разговор человека с собакой 26
В бане 29
Правила для начинающих авторов. *Юбилейный подарок — вместо почтового ящика* 37
Мелюзга 41
Праздничные. *Из записок провинциального хапуги* 45
Оба лучше 47
[Донесение] 52
Безнадежный. *Эскиз* 53
Канитель 57
Жизнь прекрасна! *Покушающимся на самоубийство* 60
На гулянье в Сокольниках 62
Последняя могиканша 65
В номерах 70
Дипломат. *Сценка* 73
Кулачье гнездо 78
Упразднили! 82

Актерская гибель 460
Панихида 467
Глупый француз 473
Анюта 477
О бренности. *Масленичная тема для проповеди* . 482

Примечания 487
Перечень иллюстраций 545